

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ • ВОКЗАЛ

ГЛЕБ
ГОРБОВСКИЙ
ВОКЗАЛ





ГЛЕБ
ГОРБОВСКИЙ

ВОКЗАЛ

Повести



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ленинградское отделение

1980

Р 2
Г 67

Глеб Горбовский — известный ленинградский поэт. В последние годы он обратился к прозе. «Вокзал» — первый сборник его повестей.

Художник М. Новиков

Г $\frac{70302-019}{083(02)-80}$ 18-80 4702010200

© Издательство
«Советский писатель», 1980 г.

ОРЛОВ



Спустя восемь или девять лет после окончания войны на одной из станций московского метрополитена в людской толчее встретились два человека.

Молодой мужчина лет тридцати, светловолосый крепыш, на пиджаке орденские планки, и стройный, отмеченный сединой, рослый атлет в ватнике.

— Товарищ Орлов! Это же я... Я — Воробьев! Лейтенант с аэродрома! Неужто не помните?! Сорок первый?!

Высокий в стеганке и в грубых кирзовых сапогах не стал вырываться из шумных объятий малого. Он молча и грустно улыбался сверху вниз. А потом все-таки не выдержал напора, отстранился:

— Вы обознались, молодой человек. Я не Орлов.

— Ну как же! Да я же вас хорошо знаю... Вот и глаза, и нос, и волосы... И размер обуви солидный... Все сходится! Живы, значит! А я, грешным делом, подумал, что накрылись вы тогда...

— Прошу меня извинить, но вы ошиблись. Мне лучше знать, кто я на самом деле есть. А вас понимаю: война... Кто на ней побывал, тот от нее никогда не отмоется. С ее клеймом и в могилу сойдет... Прощай... Воробышек! — и, резко отвернувшись, проскочил в вагон отходящего поезда метрополитена.

Приглушенные расстоянием шорохи войны, ее утробное урчание немолчно висели в воздухе, как тяжелые обложные тучи. От земли тянуло холодом. Несколько рань-

ше, чем обычно, еще до покрова, выпал снег. Тот первый, непрочный, который как правило истаявал к концу повлажневшего, размякшего дня. Правда, нынешний снег продержался до ночи, когда вновь основательно подморозило. И вот — утро. Черно-белое. Знобкое. Незнакомое. Военное.

Снег выпал и на асфальт пустынной столбовой дороги. Еще недавно оживленное и многоголосое, шоссе теперь лежало мертвой лентой, и не было на нем ни одного отпечатка — ни человеческого, ни звериного.

И когда на этой чистой плоскости, простроченной с двух сторон телеграфными проводами, как бы в конце немыслимо длинного коридора, появилась четкая фигурка размеренно идущего человека, притерпевшаяся к тишине сорока радостно сорвалась с вершинки столба и, суматошно стрекоча, полетела в придорожные кусты.

По дороге шел человек в длинной кавалерийской шинели. Голова его была не покрыта, и темные волосы шевелились на ветру. Шинель застегнута не на все крючки: из расхристанного ворота выглядывала комсоставская гимнастерка. Знаков различия на петлицах гимнастерки не имелось. Крепкие, в отметилах дальней дороги, сапоги яловой кожи оставляли на белом асфальте отчетливые, до черноты камня следы.

Человек шел уверенно, давно устоявшейся походкой путника. Плечи развернуты. Голова на стройной и сильной шее чуть запрокинута. Глубоко упрятанные в глазницах зрачки глаз смотрели на простиравшуюся заснеженную землю с некоторым, едва уловимым, превосходством.

Когда человек вошел в город и поравнялся с первой встречной бабушкой, обметавшей от снега порожек деревянного домика, выяснилось, что путник в кавалерийской шинели был отменного роста (чуть ли не вдвое больше обыкновенной бабушки). Лицо имел нежирное. Рельефные скулы, губы, надбровья. Нос прямой, но короткий. Как бы спиленный снизу вверх.

Бабушка, подняв глаза, не удержала равновесия, мягко плюхнулась на приступок, прикрыв лицо голым венчиком, будто от солнца заслонилась.

— Здравствуй, мать! — сверкнул чистейшими, сочными зубами прохожий.

И то, что он заговорил с незнакомой бабушкой на «ты», и вся его здоровая, спортивная стать, уверенный, несуетливый взгляд — все это располагало и вместе с тем отпугивало в нем. «Не юноша, но и не матерый мужик...» — определила бабушка и кряхтя стала отрывать от крылечка отяжелевшее за годы жизни туловище. Большой мужчина ловко подсобил ей подняться. Перекинул с плеча на плечо полупустой брезентовый вещмешок и еще раз очаровательно улыбнулся старушке:

— Райком партии по какому адресу будет?

— Рай-ко-ом?! — старушка испуганно сморщилась. — Да кто ж его теперича знает... Не ведаю, гражданин хороший, про такое. А ты, что же, партийный?

— Военная тайна, бабушка... Главное — свой я, русский.

— И куда ж ты, сердешный, направляисси?

— В Москву, мать. Куда же еще... А там видно будет.

— А пришел-то откуда?

— Оттуда... — показал рукой на запад. — От немцев.

— Да неужто?! И ты что же... видел их?

— Видел, бабушка. И руками трогал.

— И они тебя... живым оставили? Как же ты убрался-то от них?

— Как сквозь масло! Даже не поцарапали. У меня, бабушка, шапка-невидимка в котомке.

Бабушка сразу погрустнела, заскребла веником, отвернулась от кавалериста. А тот, сообразив, что сказал лишнее, что старушке не до шуток, пояснил:

— Если с умом, так и с того света выбраться можно. Ладно, мать. Стало быть, не знаешь, где райком?

— Да каки теперь райкомы, каки райкомы?! Пусто в городе. Уехали твои райкомы в Москву.

— А жители?

— И жители уехали. Правда, все больше пешком...

— И никого не осталось?

— Не знаю, не считала. Не моего ума дело.

— А попить дашь?

— Чего тебе? Водички? Или молочка?

— Молочка. А ночеватьпустишь? — посмотрел он на бабу строго, и та заерзала, закрывала, завздыхала:

— Да куда ж от тебя денешься... От такого сокола... Ночуй, отдыхай. До Москвы теперь далеко. Поезда не

ходят. Располагайся. Одни мы с Ленюшкой. Внушек мне. Тоже намердись в Москву собрался. На лисапед. Да не проехал. Военные люди назад поворотили.

— Я у тебя заплечник оставляю, мать. А сейчас городом прогуляюсь. Любопытно, как люди без милиции живут. Значит, договорились? Ночевать постучусь. Звать-то как величать?

— А Гавриловна.

— Ну, спасибо, Гавриловна. Жди гостей. Фамилия моя Орлов.

— Ты вот что, гражданин Орлов... Райком твой на Советской улице. Поближе к площади. Вот как к монастырю идти. По леву руку. Вывеска така красненькая...

Гавриловна посмотрела вослед уходящему, на его могучую спину, на лохматую, буйную голову, на спокойную раскачку походки, — посмотрела и как бы что-то вспомнила из оттуда, из молодости своей. Чем-то светлым и сильным пахнуло от этого ладного парня. Какая-то прочность, надежность излучалась от его белозубой улыбки, от проникающего, увесистого взгляда карих, с медным отливом, глаз.

И чем он ее уговорил, какими чарами овеял? И на постой пустила, и крынку свежего молочка почала — не пожалела... Попил, губы обтер шинелкой. Улыбнулся, а во рту, словно и не сглотнул молока, — белые зубы сливочные...

Утро. А на улице — никого. Вот она, примета беды. Народ, если и остался в городке, явно не знает еще, как себя вести. Выжидает, закрыв ставни или, по крайней мере, задернув занавески на окнах.

Подмосковный городок, в котором произошли события этой повести, перед самой зимой сорок первого года оказался в странном положении: десять дней в нем царил безвластие...

Все административные и хозяйственные организации к тому времени в приказном порядке уже эвакуировались.

Наши войска на этом участке фронта после мучительных подвижных боев отошли плотнее к столице, где и заняли долговременную оборону.

Командование вражеской армии, памятуя из уроков истории, что городок сей, сопротивляясь еще Наполеону,

восемь раз переходил из рук в руки, решило пустить свои дивизии широко в обход городка.

Про создавшийся вакуум немецкое командование узнало спустя несколько дней. Однако с занятием городка не спешило (манила Москва!), перепроверив слухи путем засылки в городок сперва группы профессиональных разведчиков, а затем и небольшого десанта парашютистов.

Три дня после отхода наших войск еще поддерживалась телефонная связь со столицей. На четвертый день на линии вышло как бы повреждение. Аппарат замолчал. Но вскоре из него горохом посыпалась сухая, трескучая немецкая речь. Но об этом чуть позже...

На углу Советской и Первомайской Орлов уловил человеческие голоса. Из неплотно прикрытых дверей полуподвального помещения на улицу просачивалась незлобивая, вялая брань.

«Не иначе — магазин оформляют... Интересно, кто такие?»

В помещении стоял полумрак. Сквозь неплотные ставни пробивались жидкие лучики света. Магазинчик был смешанным, промтоварно-продовольственным. Зубная паста, одеколон, ремешки для брюк. В продовольственном отделе — остатки ячменного кофе в голубых пачках, на которых изображен парус и волны; стеклянный бочонок из-под красной икры, объедки которой на дне бочонка, видимо, уже испортились, так как икра в темноте фосфоресцировала, светясь таинственным, неживым светом. Пахло махоркой от раздавленных на полу пачек.

Два нетрезвых мужика стояли за прилавком, держа друг друга за рукава телогреек и переругиваясь.

— Не дозволю хапаты! Потому как — государственное! Отлипни, Генка... Для чего я тут сторожем приставлен?! Восемь лет караулил...

— За это тебе, дураку, почет и уважение... Отскочь, Миколка!

— Не дозволю, хоть убей!

— Убьют... И без моей помощи. Отскочь, говорю, моя повидла!

— А я говорю — государственная! Поставь банку, во-рюга!

— Дурак ты, Миколка. Жалко мне тебя в лоб бить. Инвалида гражданской войны. Давай-ка лучше «трой-

няшки» разведем... Советскую власть помянем... — дернул затылком в сторону одеколона мужчина в кепочке по имени Генка.

И тут из тени к прилавку подступил Орлов:

— Не рано ли?

Мужики разняли объятия. Тот, который в кепочке, даже под прилавок нацелился сигануть. Сторож Миколка поскреб пальцем у себя под заячьей шапкой.

— Какое — рано... Поздно уже. Тута до нас не одне побывали. Это я ему из принципа не позволяю хапать. А так оно, конечно... Немцы вот-вот придут. Не оставлять же им повидлу. Однако по справедливости требуется. Всем поровну. Жителям этой улицы. Извиняюсь... Не знаю, как вас зовут-величают...

— Я говорю: не рано ли Советскую власть поминать собрались?

— Да это он к слову... Больше из озорства. Нанюхался дикалону и чумит...

Как ни странно, Миколка почему-то теперь защищал Генку, перед которым на прилавке мерцала блестящая жестяная банка повидла.

— Кто такие?

— Инвалиды... Лично я сторожем. А это — Мартышкин. Душевнобольной. Из больницы выпустили.

Парень в кепочке вылез из-под прилавка. Распрямился. Взял с полки пузырек с одеколоном. Отвинтил пробочку, раскрыл рот и стал выливать в него содержимое пузырька. Текло из узкого горлышка медленно. Мартышкин тяжело отдышался, запустил руку в бочонок со светящейся икрой, что-то слизал с пальца.

В глубине помещения магазина, где-то в подсобке, зазвонил телефон. Все трое насторожились. Орлов сосредоточенно щелкнул Мартышкина по козырьку кепочки:

— Вот, пожалуйста! И телефон работает. А некоторые уже Советскую власть отпевают. Язык откушу... — прошептал напоследок Орлов Генке, презрительно потянув его за козырек вниз.

— Лично я за Советскую власть... ногу потерял. Не знаю, как вас звать-величать... — отважился на разговор Миколка. Отважился и чуть за живот не схватился от страху: а что как перед ним немец переодетый?

— Хватит митинговать. Кто-нибудь в городе есть? Из полноценных людей?

Мартышкин от прилавка душисто рыгнул в сторону Орлова. Цветочным одеколоном. Нервно дернул себя за ухо, просипев:

— Одне адивоты в городе, гражданин начальник... Одне адивоты глупые. А кто поумней, тот смылся давно.

Раздвинув полы шинели, Орлов резким изящным движением перемахнул через прилавок. Открыл дверь в подсобку. Там на стене висел старинный, с блестящими чашечками звонков, телефонный аппарат. Орлов повертел рукоятку вызова. Затем со вниманием прижался ухом к трубке.

— Алло, девушка! Здравствуйте, миленькая! Рад вас слышать... Почему это — «треплюсь»? Совершенно трезвый. Просто отвык... соскучился. По телефонному голосу. Да еще такому приятному. Связь с Москвой имеется? Да, да, серьезно! Красный командир! Приказано — не соединять? Каким таким Воробьевым? Лейтенантом? А я, девушка, генерал. Генерал Орлов! Вот так, девушка. Сам Орлов будет говорить. — Орлов назвал номер абонента, переложил телефонную трубку из руки в руку, звонко, голосом некурящего, кашлянул для прочистки звука. — Как вы сказали? Повесить трубку? Позвоните сами? Хорошо.

Ждать пришлось долго. Минут десять. Орлов нашел в кладовке пучок макарон, продул, обтер, решил пожевать немного. Потом позвонила девушка. Пообещала Москву. И Москва — отозвалась!

— Здравия желаю! Орлов у аппарата! Из Энска я! А вот так! К Москве отхожу. Пусто в городе... То есть — никого! Алло, алло! Девушка, дайте договорить. Москва вырубилась? А можно я к вам приду? На станцию? Мне все положено. Я самый главный. Да, да. Генерал Орлов. Соедините меня с райкомом партии. Отключаетесь? Току нет? Девушка, не нужно со мной в прятки играть. Иначе мы поссоримся. А кто с Орловым не дружит, тот после — ой как тужит! Алло! Райком? Кто у аппарата? С кем имею честь? Орлов! Генерал! Кто, кто? Истопник Бархударов? И никого больше? Сейчас я прибуду. Необходимо побеседовать. У камелька...

Вернувшись из подсобки в торговый зал магазина, Орлов обнаружил сторожа Миколку плачущим. Старик

сидел на ящике из-под махорки. Негнушаяся деревянная нога высывалась из полосатой штанины, как белая кость. Миколка сжимал себе лицо пятерней. Плечи его вздрагивали... Мартышкина в помещении не было.

Орлов хотел пройти мимо инвалида. «Докатились, граждане... Парфюмерию едят. Пир во время чумы, понимаешь! А чума пока что стороной прошла, в обход. За дело нужно браться, рукава закатывать! А они тут следами умываются...»

— Послушайте... Вот вы в гражданскую воевали. Если не сочиняете...

— Во-во-евал...

— А раскисли почему так? Бывалый солдат, стреляный. Кстати, на чьей стороне воевали-то?

— Сы-пер-ва на той... Потом — на этой... Да я от радости. Сы-пасибо вам, товарищ генерал! За хорошие слова. Я уж думал, не услышу таких слов... Более. За Советскую власть...

Орлов поднял с пола заячий трех сторожа. Прикрыл им сиротливо торчащую лысину инвалида. Нет, что ни говори, а перед ним живая душа! Сейчас и такой дедок — находка. Народу в городе — кот наплакал. А мужиков небось и по пальцам пересчитать можно...

— Разве годится пьянствовать в такое время?

— Да тверезый я вовсе! Зря наговариваете...

— А плачете...

— А плачу, потому как больно! Больно, тошно! Не ускакать мне было отсель... На одной-то ноге.

И опять Орлов про себя улыбнулся: «Живая душенька... Теплая!»

— А вы — молодец! Государственную собственность защищаете. От проходимцев. И правильно. Пока в городе есть хоть один честный человек, власть будет принадлежать нам!

— Кому, если не секрет?

— А нам с вами. Русским людям.

Миколка недоверчиво поднял на Орлова заплаканные глаза. Жалко улыбнулся.

— А ежели немцы придут?

— А хоть папуасы! Земля-то под ними останется русская! Землю-то не переставишь с места на место. Тем более такую громадную, как наша.

— Это уж точно — не сдвинешь земельку!

— Скажите мне... Николай, как вас по батюшке?

— Николаич! — просиял Миколка от уважительного к себе обращения.

— Скажите... Мартышкин этот... Он что, действительно душевнобольной или прикидывается?

— Исключительно прикидывается! Для маскировки. Время пока что, сами понимаете, ни то ни се... Не устоялось. Вот он и чудит. А так вопче — натуральный уголовник. Зловредный. Навязался на мою шею...

— Каким же образом?

— Племянник он мне. Брательника чадо. Я ведь тоже Мартышкин. По пачпорту. И смотри-ка, паскуда! Веселый сделался... Приструнить его некому теперича. Я ему: «Генка, немцы не сегодня-завтра придут. Что делать намерен?» — «Буду, говорит, придурком работаты! При любой погоде такая специальность нарасхват!»

— А вы, Николай Николаевич, кем вы собираетесь при немцах жить? Тоже придурком?

Миколка, опираясь на клюшку, с трудом поднялся. Фанерный ящик под ним жалобно заскулил. Бесстрашно и в то же время тактично, без истерического пыла, ухватился Миколка правой рукой за шинель Орлова. Приподнялся на единственной ноге. Приблизил горячие глаза к лицу незнакомца. Выдохнул:

— Человеком жить собираюсь... Меня запугать невозможно. Я смерть вот, как тебя, видел. Носом к носу. Как совесть прикажет, так и буду жить... Нету надо мной командиров, окромя земли родной. По принципу буду жить! А не по ветру...

И тогда Орлов тихонько, боясь оскорбить пожилого человека излишним к нему вниманием, прижал его к себе. На одно мгновение. А затем развернулся четко, по-военному и вышел на улицу.

Несколько дней улицы городка не подметались. Постепенно скапливался мусор в складках канав и других неровностях. Но упал снег и аккуратно замаскировал изъяны. С ночи слегка подморозило. И вот теперь, когда Орлов выбрался из полуподвала-магазинчика, снег все еще продолжал идти, хотя и не зимний, а как бы случайный, ненастоящий. И если на его поверхности неожиданно появлялось живое существо — черный озябший кот или деловая проголодавшаяся дворняга, а то и упавший

камнем с дерева воробей, — любое их движение на снегу моментально фиксировалось взглядом.

И вдруг на Орлова из проулка вышел молодой, здоровый человек. Не сгорбленный дедушка или мальчик верхом на палочке — нет. Возник плечистый, короткошей малый в стеганке и сером солдатском треухе с упавшим на глаза цигейковым козырьком. На ногах у неизвестного имелись добротные, окиданные грязью русские... нет, вот именно — нерусские сапоги.

Человек этот хотел обогнуть высокую фигуру Орлова, миновать его, как статую, не задерживаясь и не разговаривая с ним. Верткий Орлов качнулся влево, подставив на ход незнакомца твердое плечо.

Незнакомец в стеганке ткнулся мягким козырьком в кавалерийскую шинель Орлова. Хотел было отпрянуть моментально. Однако Орлов успел поймать руки встречного и стал трясти эти руки, как бы здороваясь.

Внешне человек не испугался. Метаться из стороны в сторону не стал. Подделываясь под Орлова, устроил на своем лице подобие улыбки. Рук из рук не вырывал. От Орлова не отворачивался. Но Орлов под козырек заглянул. А там взгляд затрепетавший, растерянный! И даже остатки ужаса во взгляде.

Но это еще ни о чем таком не говорило. Все-таки неожиданно встретились, из-за угла. А время военное. Нервы у всех на пределе...

— Кто такой?! Почему вибрируем?

Незнакомец не ответил. Он с ожесточением высвободил одну из своих рук. Полез к себе в ватник за пазуху. Тогда Орлов повернул ему вторую руку так, что сделал больно.

— Документы имею... — заявил пойманный шепотом. — Паспорт! — добавил он затем, обнаружив высокий резкий голос.

Орлов моментально ошупал у незнакомца ватник под мышками. Прижал его спиной к стене домика. Скользнул ему в глубь, за пазуху. Нашупал рукоятку висящего в лямке оружия. Мужчина забрыкался, оскалил зубы, кусать изготавился. Тогда Орлов посильней закрутил ему предплечье руки, и дядя заскулил. Орлов потянул револьвер. Малый не утерпел, впился зубами в руку Орлова. И тогда указательный палец Орлова нашарил спусковой

крючок, раздался выстрел. Под полой у чужака. Пуля прошла сквозь стеганку в мягкий тротуар, опущенный снегом.

— А теперь документы! — выдохнул Орлов.

— Есть, есть! В порядке документы... Сейчас предъявлю!

Орлов стоял, наведя на незнакомца два парабеллума: свой и только что позаимствованный.

— А ну, повторяй за мной: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит...»

Неизвестный так и заголубел глазами, вытаращился, челюсть нижняя чуть осела.

— Продолжай... Или повторяй за мной. Если ты русский, тогда должен знать эти стихи. И не думай, что на пьяного нарвался. Я абсолютно трезв. А ну, читай!

— Не помню я...

— Повторяй за мной: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит».

— «Ночь тиха... Пустыня...» Ей-богу, не помню! Не могу. Зачем такое издевательство? У меня документы. Зачем насилие?

— Что такое «внемлет»?

— Неизвестно... Не учили.

— А кто написал эти стихи?

— Не могу знать. Пушкин? Или Геголь?

— Сам ты «геголь»! А ну, пошли в райком. И что-бы — без никаких! Иначе в канаве уснешь.

После выстрела, который произвел Орлов, на белой пустынной улице не стало даже собак и кошек. Воробьи и те перемахнули на соседний проулок, в старые яблони, где все еще болтались, защищенные от сквозных ветров, листья на ветках.

Вдали, там, где заканчивалась улица, переходящая в центральную площадь городка, маячила колокольня монастыря, белый известняк стен которого ничем сейчас не отличался от снега.

На противоположной стороне улицы Орлов разглядел здание, столь упорно разыскиваемое им.

Какой-то сморщенный бритый человечек в брезентовом плаще занимался тем, что бережно отрывал топором прямоугольник красной таблички на здании. Одноэтажный каменный особнячок, побеленный не так давно в не-

что розовое, аккуратно и радостно торчал в сером ряду заурядных застроек.

Орлов приказал задержанному перейти улицу. Оба приблизились к человеку в защитной брезентухе. Путааясь в полах длинного плаща, человек занимался своим делом.

— Почему снимаете вывеску?! Кто разрешил? Приказал кто?! — Орлов не скрывал возмущения. Гневная дрожь в его голосе моментально как бы разбудила сморчка в необъятном плаще.

— Указание было... Снять. Снять и спрятать. А что... разве не так? — уставился мужичонка на Орлова и на субъекта в треухе.

— Не рановато ли?

— Ну, знаете ли...

— Не ну! На каком основании?! Или у вас взамен другая дощечка имеется?

— Ну, знаете ли, смех смехом, а город оставлен...

— Кем оставлен?! — налился кровью голос Орлова. — В городе Советская власть! Зарубите вот этим топором на своем носу! Как была, так и есть! Кто вам дал разрешение отменять ее? Живо забейте гвозди обратно. Чтобы все, как было. Вы кто такой, собственно?

— Я... истопник. Здешний. Фамилия — Бархударов.

Внезапно задержанный, растопырив руки, пустился наутек. Козырек его шапки на ветру приподнялся. Тип этот в два прыжка очутился у ближайшего забора, хотел было перемахнуть через него, но пуля, пущенная вдогонку, впиалась ему в ногу, как собака.

Орлов выстрелил почти не целясь. Из своего, правого. Который знал наизусть. Как лермонтовское стихотворение.

Он подошел к раненому, повисшему на заборе тряпичным манекеном. Ткнул ему в спину револьвер:

— Слезайте! И скачите в здание. Обопритесь об меня.

Человек соскользнул с забора и, видимо, сделал это недостаточно ловко. От боли он взвыл. И вдруг, заскрежетав зубами, едва уловимо, скороговоркой выругался по-немецки: «Ферфлюхтен шайз дрек!»

— Ага! Ну вот и порядок! — возликовал Орлов. — Что и требовалось доказать. Вот тебе, дорогуша, и «шайзе»! Давно бы так. Заходи, побеседуем. Истопник Бархударов нам чайку вскипятит.

В помещении пахло краской. Недавний ремонт делал нутро этого домика некстати нарядным, праздничным.

Истопник Бархударов с топором в руке, путаясь в тяжелой ткани плаща, смотрел на Орлова восхищенным взглядом.

Провели задержанного в комнату, где стоял незапертый сейф. Туда, где раньше помещалась касса или нечто в этом роде.

— Садитесь в кресло и слушайте меня внимательно.

Мужчина в треухе рухнул в черное, обитое дерматином, квадратное кресло и осторожно распрямил раненую ногу.

— А вы, Бархударов, ступайте, приготовьте чайку. Если вы действительно истопник. А не замком по морде. Была такая должность на заре Советской власти.

Бархударов, все так же восторженно глядя в глаза Орлову, окончательно сморщился, пытаясь улыбнуться.

— Неужели диверсанта обнаружили? Тогда его прикончить необходимо. Иначе... когда эти придут... Сами понимаете: хорошего не жди. За простреленную ногу. Так что, смех смехом, а порешить придется. Проверили документки?

— Документы поддельные.

— Неправда! Настоящие у меня документы! Я знаю...

— Документы настоящие. В смысле бумаги... Подлинные. Только не ваши. По паспорту вам пятьдесят лет. А выглядите на тридцать пять. Пусть. Предположим, хорошо сохранились. Набальзамированы заживо. Бывает, и камень летает. А вот зачем, для чего гражданское лицо под мышкой парабеллум носит?

— Чтобы защищаться! От бандитов... Война. Перевяжите мне рану. Из меня кровь... уходит.

— Вот что, Бархударов. Принесите ему какую-нибудь веревку. Мы пленных не убиваем. Пусть он перетянет себе ногу. А еще лучше — горло. Своими руками.

— Веревочку?.. — Бархударов даже громоздкий плащ с себя скинул. — Это мы предоставим. Это мы сообразим. Смех смехом, а что-то нужно делать с гражданином.

Бархударов принес мотушку электрического провода в белой нитяной оплетке. Положил на стол возле раненого:

— Битте, стало быть... Пользуйтесь.

Орлов внимательно окинул взглядом комнату. На единственном окне, замазанная в кирпич стены, перекрещивала дневной свет металлическая решетка.

— По паспорту вы Голубев Иван. А настоящее имя?

— Голубев я. Иван Лукич.

— А настоящее имя? — Орлов тяжело улыбнулся. — Учтите, у вас все ненастоящее, все не ваше. Ватник чужой. И сапоги чужие. Только кровь была вашей... Была. Прежде. Потому что теперь она вылилась из вас. И никогда больше принадлежать вам не будет.

— Вы еще пожалеете... Что пролили эту кровь! Я умираю за идею как солдат! А вы умрете, как свиньи!

— А вот это уже другой разговор. И какая ж у вас идея?

— Не нужно его слушать, — вмешался Бархударов. — Только зря время на него тратим. В любую минуту немцы могут прийти. Ясно, какая там идея! Растоптать весь мир сапожищами, — посмотрел Бархударов на добротную обувь обреченного. — Растоптать и усесться поверх всего. Задницей своей свиньячей! Кончайте его, товарищ командир. Мой вам совет. Иначе хлопот не оберешься. Смех смехом, а времечко в данный момент на него работает...

— Время работает на тех, кто прав. А прав тот, кто справедлив.

— Прав тот, кто сильный! — проскандировал, дергаясь, Голубев.

— Слушайте меня внимательно, — приказал Орлов. — Сейчас вы сделаете себе петлю из провода. И повеситесь на этой вот решетке. Сами. Вы сильный. Вы умрете добровольно. У вас нет выхода. Повторяйте за мной: «У меня нет выхода». Ну! У меня нет выхода, у меня нет выхода, у меня нет выхода...

Орлов весь напрягся. По стойке «смирно» вытянулся. Лицо его как бы тоже удлинилось. Глаза, не мигая, смотрели на Голубева. Голосом монотонным, тяжким, словно кирпичи клал, Орлов вытверживал одну и ту же фразу:

— У меня нет выхода, у меня нет выхода, у меня...

И Голубев повторил. Смирился. Едва слышно, но повторил. Тем самым обрекая себя на смерть.

Орлов поднялся и, ни слова больше не говоря, легонько подтолкнул к двери опешившего Бархударова.

Перед тем как окончательно захлопнуть дверь, Орлов просунул в щель свою неумолимую голову и еще раз напомнил Голубеву: «У меня нет выхода...» И повернул ключ в замочной скважине. Дважды.

Бархударов тем временем затопил на кухне плиту. Поставил на огонь электрический, зеркального блеска, чайник.

— Электростанцию мы взорвали. Так что придется подождать с кипятком. Покуда печка нагреется...

— Кто это «мы взорвали»? Секретничаете? Вы, что же, взрывник по профессии? Ко всему прочему?

— Я — истопник Бархударов. Смех смехом, а документики пока что предъявить не могу. По причине их временного уничтожения.

— А мне, что же, доверяете без документов?

— Вполне. Вон у вас какие документики... Из шинели торчат. Да вас и невозможно под сомнение брать. Все налицо! Вот уж истинно силушка у вас нашенская... — повел крошечными плечами Бархударов и для солидности вновь набросил на себя могучий плащ. — Случайно не тверские будете?

— Орловские.

— Про должность не спрашиваю...

— И правильно делаете. Все равно — не скажу.

— Понимаю, как есть! А что же... товарищ Орлов, смех смехом, а думаете, повесится лазутчик? Наложит ручки?

— Умрет. У него теперь... нету выхода. Я же сказал.

— Мда-а... Этак бы со всеми врагами человечества. Умри, мол, любезный. И глядь — умер взаправду. Без траты боекомплекта.

Орлов прошел в кабинет, где было много стульев и несколько столов, составленных буквой «Т». Поднял машинально телефонную трубку. Дунул в нее. Послушал. Кашлянул. Опять послушал. «Алло!» — крикнул. Не получив ответа, бросил трубку на рычаг аппарата.

— Испарилась девушка... Такой хорошенький голосок.

— Лена! Если хорошенький. У Раи, напарницы, голос грубый, навроде мужицкого, — пояснил Бархударов.

— Час тому назад разговаривал. И уже упорхнула! Безобразие. Объявляю ей выговор. Заочно. Пришла на работу — работай.

— Оно, конечно, так... Работать необходимо. Однако теперь току нету. А значит, и звонить невозможно. Удивляюсь, как вы могли разговаривать час назад без току... Может, Лена движок завела?

Прошли на кухню. На плите, подернутый копотью, поблескивал чайник. Вода в нем почему-то все еще не закипала.

— Чем это вы топите, Бархударов?

— Документами... Бумагами. Указание было. — Бархударов, вытянув шею, прислушался. — И чего это он вдруг успокоился? Враг, а смирился. Не логично. Может, заглянем? Смех смехом, а как-никак диверсант! Такие отлёты из любого положения выход имеют.

— У этого нет выхода.

Открыли комнату с решеткой. Человек валялся в кресле. Голову он уронил затылком к стене. Ноги вытянул, руки разбросал. Из левого сапога кровь выливалась через край — за голенище. Наверное, пуля перебила ему вену. Белый, как растение, никогда не видевшее света, человек полулежал в черном кресле. Казалось, он уснул после долгой борьбы с бессонницей. Уснул неловко, не сладко, мучительно.

— Так и есть... — наклонился над ним Орлов. — Воротничок покусал. Сам себя ужалил.

— Это что же... Отравился, выходит?

— Послушайте, Бархударов. Его необходимо зарыть. В землю. Есть у вас надежный человек? Пригласите на обряд погребения сильного человека. Тайна захоронения немца свяжет вас надежнее родственных уз. Хотя бы на время оккупации.

— Где же сильного взять? Сильные на фронте, танки удерживают. Сильней вас нынче вряд ли сыскать... Да и зачем третьего посвящать? Смех смехом, а вдвоем с вами и зароем...

— Отставить. Закопаете без меня. Я не могильщик. И вообще, когда человека в землю опускают, слезы наворачиваются. А этот не достоин... моих слез. Так что — без меня. Повторите приказание!

— Закопаете, закопаете! Не волнуйтесь, товарищ Ор-

лов. В лучшем виде оформим. У меня тут Герасим. Работник... Остался для таких дел. И закопает кого хочешь... И место запомнят навсегда. И сам потом исчезнет, как в воду...

— По моим соображениям, немцев не будет в городе еще несколько дней. Они уверены, что здесь сильный гарнизон.

— А здесь — никого... То есть, на аэродроме лейтенант Воробьев ждет указаний. У него там автоколонна составила... Смех смехом, а целый взвод народу. Вы их непременно на заметку себе возьмите, товарищ Орлов.

— Необходимо на подступах к городу наблюдателей выставить. С полевой телефонной связью. Центральная наша точка пока что здесь, в райкоме... Однако обосновываться здесь нельзя. Подыщите что-нибудь потаенное... Наша цель — ни минуты безвластия, пока их нет. Нет их — значит, есть мы! Никакой анархии, никакого разгуляйства, а также последних дней Помпеи. Диверсантов вылавливать и уничтожать. Нарушителей соцзакононости изолировать. Постараться сегодня же выпустить газету, или полгазеты хотя бы. И распространить ее по городу. В школе ребятишкам урок прочесть... Магазины и склады взять под контроль, чтобы остатки провианта всем поровну. Активистам, в том числе и вам, Бархударов, в спешном порядке вооружиться, опираясь на лейтенанта Воробьева. Главная забота, Бархударов, — оживить, подготовить людей к сопротивлению. Не обязательно всем из пушек по немцам палить. Важно, чтобы человек внутри себя вооружился... А вечером, в девятнадцать ноль-ноль, назначаю заседание городского актива. Все. Место собрания сами определите.

— Дозвольте справочку? То есть — с какого года в компартии большевиков состоите, товарищ Орлов? Смех смехом, а у нас тут подпольный райком получается. Хорошее дело. Так что первым то есть секретарем станете.

— Не нужно темнить, Бархударов. Я человек случайный. У вас тут и без меня давно решение принято, кому первым, кому вторым... Я прохожий. У меня свой маршрут. Свои заботы. Я мог бы и сегодня уйти. Да непорядок у вас тут. Тишина кромешная... А что — Лена? Телефонистка?

— А Лена племянницей нам будет... — повеселел Бархударов.

Задребезжали стекла в рамах. Грохот канонады наплывал с востока. Над городком в сторону столицы прошли немецкие бомбардировщики. Одно звено. Второе. Третье. Внезапно в воздухе родился до кишок пробирающий, истошный вой падающей бомбы.

Через несколько мгновений земля вздрогнула, воздух распороло тяжким взрывом. Послышался веселый звон разбитого стекла.

Глянули в окно. Туда, дальше к монастырю, в центре площади бомба взрыхлила и разметала черную мокрую землю — культурный слой, веками втоптаный в основание старинного городка.

Странно, что сбросили только одну бомбу. То ли из озорства, то ли по ошибке, то ли безо всякой мысли оторвалась она от самолета, будто птичка капельку потеряла...

Во многих домах, прилегающих к площади, в окнах были выбиты стекла. Осколками порезаны ветви ближайших деревьев. Над неглубокой воронкой еще курился желто-синий дымок. Черное дыхание копоти окрасило комки грунта.

В здании райкома пострадало только одно — боковое — окошко, смотрящее в сторону взрыва. Остальных стекол взрывная волна коснулась вскользь.

Истопник Бархударов внимательно прислушивался к небу, ожидая повторных ударов. Тогда как Орлов заваривал чай. На кухне имелась заварка и фаянсовый чайник. Белый, в красный горошек.

В наружную дверь несильно постучали. Скорее всего — костяшками пальцев.

Орлов, перед этим снявший с себя шинель, быстро прошел к вешалке, забрал из карманов оба револьвера. Бархударов вопросительно посмотрел на Орлова. Самым неожиданным было то, что в дверь именно постучали. Не пнули ее ногой, не вломились, как бог на душу положит, а надо же — культурненько известили о себе. И когда? Сразу же после взрыва бомбы на городской площади.

Орлов кивнул, разрешая откликнуться на стук.

— Войдите! — закричал Бархударов и тут же вспо-

мнил, что дверь закрыта на засов. Сам и закрывал периодически. Из предосторожности.

В разбитое взрывом боковое окно просматривалось крыльцо. Бархударов из глубины помещения увидел на кирпичном крыльце перед дверью человека в белой соломенной шляпе, из-под которой во все стороны лезли мелко вьющиеся черные волосы. Клетчатый прорезиненный макинтош на плечах. Бросающийся в глаза. В руках красный в черную полоску саквояж. За спиной охотничий рюкзак с множеством карманов.

— Попугай какой-то... — зашептал в сторону Орлова Бархударов. — Не по-нашему одет. Хотя и в гражданском. Вообще-то, руки у него заняты, так что можно и отворить. Ну как, впускать, товарищ Орлов?

Гость в соломенной шляпе вновь постучал. Поставив на крыльцо саквояж, подергал металлическую дверную ручку.

Бархударов отодвинул засов. Впустил человека. Мясистый, как бы из пористой резины, нос прищельца делал его похожим на клоуна. Несерьезная шляпа только усиливала это впечатление.

— Приветствую! Скажите, драгоценный, может, я помешал? Сегодня вторник, рабочий день. И вот я стучу. Необходимо сориентироваться. Куда я попал, в какую обстановку? И какая в городе власть? Рад буду представиться: работник Госцирка Вениамин Туберозов! Нас, то есть цирковой обоз, четыре автобуса, разбомбили. И вот мы достигаем Москвы кто как может.

— Вещички оставьте в коридоре. Никто их теперь у вас не возьмет, потому что никому они теперь не нужны. Смех смехом, а вы, что же, действительно клоун? Работник искусства?

— Я, драгоценнейший, укротитель змей. Но мои змеи все расползлись, когда разбомбило автобус. Нельзя ли мне переночевать у вас? Я очень устал.

— Вы хотите переночевать в... этом здании? — вышел из кабинета Орлов. — А если немцы придут и застанут вас спящим в этом доме? Как-никак — не гостиница.

— И все-таки, драгоценнейший, позвольте мне с вами. Заодно... На дорогах такие растерянные люди кругом. А у вас тут тишина. И, вообще, вы производите впечатление солидных людей. Не считите за лесть.

— А документы? — сморщился Бархударов.

— А ради бога! Сию минуту, драго... — и полез, зарылся с головой сперва в саквояж, потом в рюкзак запырнул. — Вот, прошу! Убедиться... Никто прежде моими бумагами не интересовался. Вы первые. За время войны. Меня всюду без бумаг пропускали. Посмотрят, улыбнутся и пропускают.

Бархударов протянул Орлову бумаги Туберозова.

— Ладно. Идите, ложитесь на диван, — не сдержал улыбки и Орлов. — Да нет же, не сюда, в следующую дверь, товарищ артист! — оттеснил он Туберозова от комматки с решеткой, где сейчас находился труп.

Укротителя положили на диванчик в кабинете поменьше. Бархударов угостил укротителя стаканом крепкого чая. В кабинетик со своей чашкой на блюдечке вошел Орлов. Пили чай все вместе. Бархударов открыл банку мясных консервов. Туберозов, как заправский фокусник, пошарив у себя в рюкзаке, «изобрел» пачку настоящего печенья «Лето».

После чая укротитель разжег здоровенную трубку. Едкий дым мгновенно заполнил комнатное пространство.

— В целях экономии табака, драгоценнейший, приходится его мешать с полевыми травами, — пояснил Туберозов.

— И куда же вы направляетесь? — поинтересовался спеленатый дымом Бархударов.

— Все в данный момент, драгоценнейший, направляются к Москве, к столице нашей родины. И я в том числе. Миссия моя окончена. Змеи, которых я укрощал, разбежались. Укрощать что-либо другое я не умею. Я иду к людям. К своим людям. Знаете, раньше я думал, что смогу прожить, ни от кого не завися. Были бы змеи, которых можно укрощать. И только теперь, когда пришла беда, когда люди стали убивать друг друга по приказу таких же людей, когда загорелась наша планета, словно ее керосином окатили, — понял я, что как умирать, так и жить на земле самому по себе, отдельно от всех невозможно. Да и не нужна такая роскошь. И вот я иду. И меня пропускают. Я иду к Москве, потому что она крепость, вершина, и волны потопа не накроют ее никогда.

— Итак, если я вас правильно понял, вы спасаетесь? — Орлов отодвинул пустую чашку на середину

письменного стола, на котором, как танк, стояло массивное мраморное пресс-папье и две пустые башенки-чернильницы.

— Совершенно верно. Спасаясь. От чумы фашизма.

— А спасают пусть другие?

— Это пока не входит в мои функции, драгоценнейший...

— Забыть нужно себя, товарищ артист. Напрочь. Задуть в себе все личное. И спасти родину от нашествия. Убивать, изводить...

— К такому — не причастен...

— Вы... вы тогда ничтожество! Только земля наша — истинна во веки веков... А все ваши таланты — дешевка!

— Не таланты, драгоценнейший, а профессия у меня иного рода.

— Для того чтобы человеком сделаться, нету таких курсов, институтов таких нету.

— Я стрелять не умею... К тому же мне пятьдесят один год. И тридцать из них я укрощал змей. Безобидных рептилий. А курсы я, драгоценнейший, пройду. В порядке самообразования. Не все сразу. Я укрощал...

— Укротите прежде всего себя! Не обязательно всем стрелять. Хотя сегодня все-таки лучше стрелять. Можно просто думать, дышать... в защиту отечества. И это теперь — сила. А, черт с вами, отдыхайте! Но чутко. Потому как в любое время на город вражеские десантники могут свалиться. И тогда вас самих незамедлительно укротят.

Орлов опустил взгляд на Туберозова. Обнажив золотые зубы искусственной челюсти, тот мирно спал, угнездившись в казенном дермати́не дивана.

Бархударов собрал со стола посуду. В свою очередь пристально понаблюдал за спящим. И, обращаясь то ли к Орлову, то ли к самому себе, сказал:

— Одно ясно: с таким веселым носом диверсантов не бывает. Смех смехом, а наш это дяденька. Хоть и клоун.

— Послушайте, Бархударов, далеко ли до аэродрома?

— Три километра.

— А что лейтенант Воробьев? Небось мальчишка? Паникер? Растерялся, поди? Почему не отходит к Москве? Чего ждет?

— Воробьев молод. А насчет растерялся — не думаю. Ему приказ: аэродром не покидать до соприкосновения с противником. А так как соприкосновения пока еще не было, вот он и сидит, склад с боекомплексом охраняет. Самолеты все до единого еще вчера снялись и поближе к Москве перелетели. А Воробьеву приказ: до соприкосновения.

— Пойду к нему. Поднимать их надо. Не пожарники. На подступах к городу рассредоточить. Не для обороны... Хотя бы — для оповещения. Чтобы сонных не похватили нас. Значит, вы, Бархударов, остаетесь в райкоме. Ждете меня. Соблюдаете военный порядок. Налажу связь — позвоню. А мертвеца захоронить. Берите заступ и приступайте. Хоть с Туберозовым. Когда проснется. И вот что еще... Из работников типографии никого не осталось в городе? Узнайте. Ваша районная газета как называлась?

— «Заря коммунизма».

— Замечательно. Так что непременно стоит выпустить хотя бы один номер. И расклеить по городу. Где помещалась типография?

— А в монастыре. Один типчик там печатником... Этот наверняка остался. Слюсарев фамилия. Отец его до революции печатное дело имел. При Священном Синоде. Молитвенники тискал. И книжицы разные божественные... Потом листовки стряпал. Против Советской власти. А потом его чуть не расстреляли за это. Но пожалели. По старости... Сын в отца. И по печатному делу и по злему умыслу. В коллективе особняком держался. Работал за страх... На пропитание желудка. А не по совести. А теперь его непременно следует за жабры взять: смех смехом, а пусть поможет нам газетку напечатать.

— Вот и берите. А заартачится, будет иметь дело со мной. Так и передайте: генерал Орлов приказал! В тринадцать ноль-ноль набираем передовицу. Под мою диктовку. По-хорошему не захочет, заставлю силой: под дулом!

С неба продолжал осыпаться снежок. Черная воронка на площади еще долго после горячего взрыва плавилась на своих рваных краях снег. Но вот земля остыла, и снег запорошил неприглядные комья.

Бархударов объяснил Орлову, как выйти на дорогу к аэродрому. От площади перед воротами монастыря Орлов взял вправо мощеной шоссейкой. И тут он услышал отчаянную трель милицейского свистка. Вот те раз... Или дети забавляются, или... Но послышались взволнованные голоса и речь скорее нечленораздельная, состоящая из одних междометий: «И-их! Ет-трри! Уты! Так!»

Затем с той стороны, где возникли голоса, хлопнул выстрел. Натуральный. Скорее всего — пистолетный.

С улицы, покрытой булыжником, Орлов метнулся в проулок. Далее тропкой, проложенной среди сараюшек и дощатых уборных, вышел к белой монастырской стене.

Людей было трое. Высокий мосластый милиционер размахивал наганом перед носом у рыжего человека в полупальто темно-зеленого сукна с лисьим желтым воротником. На голове рыжего мужчины кепка с наушниками, на ногах белые фетровые бурки. Лицо круглое, щекастое. Словно сырой свеклой натертое. Такие физиономии в народе будками называют. Третий — в хулиганской кепочке и демисезонном бобриковом пальто — торчал на пеньке чуть поодаль. Возле ящика с водкой. Сидящий на пеньке тип, в котором Орлов, присмотревшись, признал «умалишенного» Мартышкина, извлек из кармана бутылку и, выбив пробку, здесь же на пеньке стал употреблять спиртное.

— А я, гыхм, знаю, почему стреляю. Потому что грабеж, гыхм, и безобразие, — отвечал на молчаливый вопрос Орлова милиционер. — И я те, Слюсарев, категорически при всех заявляю: не позволю!

— Да почему, дурья голова, не позволишь-то? Ты, что же, ее для немцев бережешь? Банкет им устраивать будешь?

— Не твое, Слюсарев, дело. Водка — ценный продукт. Его распределить надо. А не растаскивать, не потрошить. Вот, гыхм, какое распоряжение.

— А кто тебе такое распоряжение дал? Где они, эти распределители?

— Власть дала. Не тебе обсуждать. Ты завсегда, гыхм, супротив власти пер, Слюсарев...

— Нет сейчас никакой власти. Сам знаешь...

— А я говорю, есть! И я представитель этой власти!

— Ты? Нет уж... Какая ты власть. Теперь ты — Бочкин Герасим. И только. А власть переехала.

— Врете, Слюсарев... — спокойно произнес из-за плетня Орлов и твердым шагом пошел-поехал, не вынимая рук из оттопыренных карманов шинели, прямо на честную компанию.

Мартышкин от неожиданности с пенька скovyрнулся. Однако бутылку из рук не выпустил. Более того, упав на спину, ухитрился не пролить из вздетой бутылки ни единой капли.

Слюсарев завертел головой. Взгляд его заметался. Не обнаружив больше никого, стал медленно успокаиваться.

Герасим с появлением Орлова перетрухал не менее других. Он даже наган свой в сторону Орлова развернул.

— Так что, Слюсарев, есть в городе власть. Прав Бочкин, законный ее представитель. Это немцев никаких нету. И никогда, никогда — зарубите на носу, Слюсарев, — никогда их на этой земле не будет! Даже если они появятся тут... Вот как этот снег. Чтобы растаять... Чтобы в землю потом, в песок навсегда уйти... Прошу это учесть и соблюдать порядок. Товарищ Бочкин, несите ящик в помещение райкома. А вас, Слюсарев, я мобилизую на работу по вашей специальности. Необходимо набрать и отпечатать хотя бы одну полосу газеты «Заря коммунизма». Товарищ Бочкин, выдайте товарищу Слюсареву бутылку на типографские нужды. Для промывки шрифта. В тринадцать ноль-ноль ждите меня в типографии, Слюсарев. А к вам, Мартышкин, такое будет обращение: если не прекратите придуриваться, посажу в холодную. Нашли время пьянствовать! Брысь отсюда!

Мартышкин, встав на четвереньки, побежал вокруг монастырской стены. А Слюсарев, пробормотав что-то невнятное, с бутылкой в рукаве, заскрипел бурками по снегу в сторону монастырских ворот.

— Поняли меня, Слюсарев?! — бросил ему вдогонку Орлов.

— Поняли... — обернулся печатник и поспешно вильнул в калитку, исчезнув с глаз.

— А вы, Бочкин, молодец. Идите. В райкоме вас ожидают. Истопник Бархударов. И не смотрите на меня с подозрением. Я — Орлов. Поняли?

— Понял, товарищ Орлов! — радостно козырнул Бочкин и, хотя по глазам было видно, что ничего он не понял, не пряча счастливой улыбки, словно повышение по службе получил, взвалил на плечо ящик с водкой и весело зашагал по площади, давя сапогами разбросанные взрывом комочки земли.

Орлов вынул из кармана металлическую расческу, начал причесывать голову. Лицо его чуть запрокинулось вверх, глаза увидели небо — огромное, невероятное пространство, заслоненное сейчас тучами. Снег над головой Орлова временно перестал идти. Меж двумя проходящими тучами как-то сам собой увеличился просвет. Голубым родничком просияло око чистого бездонного неба. Взгляд сквозь это окошко во вселенную уходил так далеко, так нескончаемо далеко и ни во что определенное не упирался, что Орлову вдруг сделались странными все эти жестокие события, происходящие на маленькой планете Земля. . .

Но он жил на этой Земле. И взгляд его неминуемо возвратился с высот неизмеримых сюда, на эту потревоженную недавним взрывом площадь, на плиты известняка, образующие каменное укрытие, за которым некогда спасались монахи. Спасались, да не спаслись. От жизни не уйдешь. Как и от смерти.

Лицо Орлова на миг расслабила едва уловимая улыбка.

— Ну, что ж. . . Во имя жизни! — поднял он валяющуюся у пенька, не до конца опорожненную Мартышкиным бутылку. — Во имя жизни! — И, как гранатой, хватил вдруг по стене. Только брызги стеклянные от стены в снег. Запахло водкой.

Разбив бутылку, Орлов сразу же и устыдился: обругал себя мальчишкой и шпаной, вспомнил, как до войны рассадил себе ногу на даче вот таким же бутылочным стеклом-донышком, чуть полпятки не стесал. . . А устыдившись — усмехнулся: нашел о чем сожалеть, не такие сейчас денечки, чтобы чистоту соблюдать да по газонам не ходить.

Орлов расстегнул шинель, покопавшись, проделал для парабеллума дырку в холстине кармана, просунул в нее дуло, и таким образом получилась как бы оригинальная кобура. . . Второй револьвер, свой, лежал у него под шинелью на бедре.

Можно было идти дальше. Теперь уже окончательно на аэродром, где, по словам Бархударова, располагался целый взвод красноармейцев.

И Орлов зашпешил по бульжику, осыпанному снегом, скользкому, сбивающему с шага. Сойдя на обочину, пошел твердо, ходко. И через полчаса был уже возле шлагбаума контрольно-пропускного пункта аэродрома.

Из полосатой будочки навстречу вышел красноармеец в короткой шинели и с птичками пропеллеров на голубых петлицах. На плече его висела тяжелая винтовка.

— Стой, кто идет. . . — не крикнул, не спросил, а сугубо машинально, бесстрастно произнес боец.

— Комиссар Орлов идет, — еще спокойнее, чем красноармеец, произнес Орлов. — Давай, показывай, где тут ваш лейтенант прячется? Воробьев, говорю, где?

— А вон диспетчерская. . . Домик с антенной. Там и прячется.

Орлов пригляделся к бойцу, обратил внимание на его не по годам старческое выражение лица.

— Зовут-то как, служивый?

— Так что, красноармеец Лапшин, товарищ комиссар.

На взлетной полосе робкий сырой снег потаял, не уцелел. Бетонка в раме белых полей выделялась, чернея гудронными швами.

Овальная крыша ангара, складские помещения да барачного типа казарма поодаль, а чуть в стороне, ближе к кустарнику, огороженное хозяйство горюче-смазочных материалов. На мачте метеостанции матерчатый сачок, полный встречного ветра. Вот и весь аэродромный пейзаж.

Орлов, срезая расстояние, утрамбованным полем направлялся к диспетчерской. Никто его не остановил. Никто не проверил документов. Это и удивляло, и умиляло, и настораживало одновременно. Похоже, что и здесь он внушает некоторое к себе почтение. Три дня тому назад он даже немецкому часовому зубы заговорил. Вот так же, не торопясь, солидно вышел на расположение какой-то немецкой части второго эшелона. «Хальт!» — крикнул молодой, в деревенских веснушках, немчик. «Пропуск!» Орлов подошел к нему вплотную, посмотрел в заячьи,

несерьезные глаза часового и, мрачно проговорив по-немецки: «К полковнику!» — прошел мимо. Своей дорогой. Туда, куда ему требовалось. А требовалось Орлову — в Москву.

В диспетчерской, стоя перед осколком зеркала, укрепленного в раме окна, посуху, без мыла брился молоденький лейтенант Воробьев. Румяный блондин городского обличия.

Когда под тяжестью Орлова заскрипели доски диспетчерской, лейтенант круто и довольно живо развернулся лицом в сторону вошедшего. В руке беспомощно посверкивал станочек безопасной бритвы. Орлов обратил внимание на широкую грудь малого. Должно быть, физкультурник. Десяток значков облепили гимнастерку лейтенанта. Здесь и «Ворошиловский стрелок», и «ГТО», и «Осоавиахим»...

— Моя фамилия Орлов!

Воробьев на это заявление прореагировал сдержанно. Загнутый на время бритья воротничок, не суетясь, разогнул.

— Извините, товарищ... Не вижу знаков различия.

— Вот мое различие... — Орлов потянул из кармана красную книжечку, оправленную в желтоватый целлулоид. Поднес к самым глазам молодого человека.

— И все же...

— Немцы в городе, лейтенант!

— Нету в городе немцев... Мне бы позвонили.

— Кто? Мама, что ли?

— Телефонистка.

— Ладно. Допустим, нету пока в городе фрицев. Так ведь и наших нету. Почему тогда на пустом аэродроме сидишь, а город, солидный населенный пункт, безо всякого надзора оставлен?

— А потому, товарищ... странный комиссар, сижу, что мне сидеть приказали. Мои непосредственные начальники. У которых непременно знаки различия имеются. Скажем, три шпалы. И... Ни с места! — звонким, мальчишеским тенором пропел вдруг лейтенант.

Сзади Орлова схватили за руки. Каждую руку двумя сильными, горячими ладонями стиснули. А сам Воробьев безопасной бритвой на Орлова замахнулся.

— И чтобы ни с места!

— Забавно... — Орлов движением головы как бы отбросил волосы назад. — Торопишься, лейтенант. Нельзя комиссара Орлова руками трогать. Боюсь, как бы извиняться не пришлось...

С этими словами Орлов еще раз как бы отбросил назад волосы, попутно чуть присев. В следующее мгновение оба красноармейца, что держали Орлова за руки, перелетели вперед, ударили своим весом лейтенанта, который тоже не устоял, и все трое мягко рухнули, как мешки с горохом.

Орлов успел направить на лежавших оба револьвера.

— Вот так, ребята... Я на вас не в обиде. Хотя любая гражданская старушенция безошибочно определит во мне своего, русского человека. Знаки им подавай! Я ему самый... главный документ предъявил, а ему все мало... Знаки его интересуют.

— А вы как думали! — обиженно сопел Воробьев. — Я военный. Для меня знаки прежде всего... Приходят неизвестно откуда. Приемы шпионские применяют...

В наступившей тишине деловито зазуммерил телефон.

— Ага! У вас тут прямая связь... Вот и хорошо. Берите трубку, лейтенант. И попросите свое высокое начальство, которое со знаками различия, попросите справиться вот по этому телефончику... В кадрах РККА! Насчет полковника Орлова Сергея Александровича. А я покуда обожду... Вот здесь на лавочке.

Минут через пять Воробьеву ответила Москва.

— С какого вы года, товарищ полковник? — не отводя трубки от уха, справился у Орлова лейтенант. — Месяц, день рождения?

— Пятое октября тысяча девятьсот одиннадцатого года.

— Ура! — завизжал восторженный юноша, но там, на другом конце провода, его, вероятнее всего, одернули. — Есть, повторить: до соприкосновения с противником! Есть, действовать по усмотрению! — Воробьев положил трубку, виновато улыбнулся Орлову. А затем ринулся на него, порываясь обнять.

— Смирно! — подал команду Орлов. — Садитесь... Вот сюда на лавку.

Лейтенант робко примостился на краешке скамьи, словно и не он здесь хозяин, а этот чернявый кудряш умопомрачительный...

— Вы меня напугали, товарищ комиссар... И никакой вы не комиссар... а комполка! Мне о вас подробно... И про награды... Лихо вы нас побросали! А ведь мы тоже ребята не промах...

Красноармейцы сидели на полу, обняв колени руками, глядя во все глаза на сумасшедшего дядьку в длинной шинели.

— Что предпринимать будешь, лейтенант?

— Дано указание... Взорвать бомбозапас и горючку. У нас тут десять тонн. В стокилограммовых штучках. И — до соприкосновения с противником — держаться... А затем отходить. К Москве. Автоколонной.

— Теперь слушай меня, Воробьев. Потому как я — выше тебя. И по званию, и по сантиметрам... Сейчас ты организуешь заградительные посты. Возле шоссе. На выходе из города. Притом с двух сторон: на западе и востоке. Так как немцы могут появиться отовсюду. И в первую очередь — с неба. А значит, и за небом наблюдать. Транспорт у тебя имеется? Который на ходу?

— Так точно! Две полуторки и три «Зиса».

— «Зисы» поставь под погрузку имущества части. Для отхода. А полуторки — одну мне, другую тебе. И чтобы мелькать, курсировать по городу. Чтобы люди знали: в городе Красная Армия. В городе жизнь! С Москвой связь вот-вот прекратится... Нам здесь самим командовать. И тебе, лейтенант, в первую очередь. Назначаю тебя военным комендантом города!

— Слушаюсь, товарищ... э-э... полковник!

— Теперь — Лена... Рассчитывать на нее можно?

— Лена... золотая девушка. Ей в городе оставаться никак нельзя. Расстреляют ее немцы. Узнают, что комсомолка, и расстреляют! Вы хоть видели ее, товарищ полковник? Красоты неопишущей! Артистка. Мне даже кажется, что я ее где-то в каком-то фильме видел... Она нездешняя. Она уже в войну в этот город переехала. С дядей своим. Который истопником в райкоме.

— А почему станция молчит? Почему твоя неопишущая заткнулась?

— Станция работает в определенное время. Движок теперь у них. Это я им устроил. И бензин, и все осталь-

ное. Да вы не беспокойтесь! У меня свой туда проводок протянут!

Воробьев вызвал станцию. Сказал в трубку:

— Привет, Леночка! С тобой полковник Орлов хочет поговорить. Генерал? Она вас генералом себе представляет почему-то... — протянул Воробьев трубку.

— Алло! Здравствуйте, Лена. Соедините меня с Бархударовым. Товарищ Бархударов? Орлов на проводе. Какие новости? Вот и хорошо, что похоронили. Царствие ему... Хотя, говорят, самоубийц в это царствие не пускают. А Туберозова за помощь поблагодарите. От меня лично. Если пожелает, угол ему в машине устрою до Москвы. Решил в городке отдохнуть? Пусть отдыхает. Кто, кто звонил? Слюсарев? Обещал? Вот это уже дело! Я к нему в тринадцать ноль-ноль.

Красноармейцы, побывавшие в нокдауне, теперь куда-то ушли. Лейтенант Воробьев смотрел на Орлова, как на одного из трех богатырей с картины Васнецова. Восхищение, ужас и полное доверие во взгляде переросло в мальчишеское обожание.

— Ну что, лейтенант? Страшно тебе воевать?

— Непривычно, Сергей Александрович, э-э, товарищ полковник! Да я и не воевал еще. Мы тут от самого начала войны сидим. И еще до войны полгода сидели. Два раза бомбили, правда... Так это разве ж война? А в общем — страшновато... Когда задумаешься.

— А страшно чего? Умереть? Или вот — в плен попасть? Под пята немца-захватчика? Говори, не стесняйся. Мы одни. К тому же я без знаков, которые ты обожашь...

— Вот когда все ушли... Из города. А мы остались. Вот тут страшно сделалось. Мы траншеем отрыли, окопчики. Стали ждать... До соприкосновения. Чтобы затем, значит, вглубь отходить. К Москве. А в город никто не входит. Спать страшно... Уснешь, а тебя как разбудят! Из автомата...

— Короче говоря, неизвестности боишься. А то, что немец прет аж до Москвы, это разве не страшно?! — прошептал Орлов последнюю фразу.

— Да разве ж они возьмут Москву? Да я и не задумывался как-то над этим. А потом, даже если... возьмут... Вы, конечно, извините меня за такие слова... Только ведь и Наполеон далеко к нам забрался... А чем

для него это кончилось? Мы ведь «Войну и мир» совсем недавно проходили. Я эту книгу самостоятельно потом перечитал. Без принуждения классного. . .

— Нельзя, дорогой, отдавать Москву. Ни в коем случае. Гитлер — это не Наполеон. Гитлер хочет истребить не только наше государство, но и наш народ. Амбиции Наполеона были романтичнее алчности фюрера. Конечно, и без Москвы продолжать войну можно и нужно. Только ведь даже размышления о ее сдаче вредны. И тлетворны! И я запрещаю вам, лейтенант, думать об этом. Запрещаю фантазировать подобным образом. Не бывать! И — точка. И вы сами отлично знаете, что не бывать! Повторите.

— Не бывать, товарищ комиссар! Никогда. . .

— Вот так-то, Воробышек. . . Как тебя зовут? Воробышком позволишь тебя величать? Боевая птичка, выносливая!

— Владимир я, Алексеевич.

— Вова! Подходит. . . Не горюй, Вова! Помогать мне будешь до последней возможности, Вова. . .

— Буду, Сергей Александрович! То есть товарищ полковник.

— И не до «первого соприкосновения», как тебе начальник твой приказал. А до последнего! Соприкосновения. . . Понял?

— До последнего.

Позже две полуторки с красноармейцами на малой скорости несколько раз проехали по главным улицам городка. Иногда машины останавливались, бойцы не торопясь закуривали. Однажды, во время очередного перекура, заиграла солдатская гармошка. Серьезно, без озорства, от души заиграла. И сразу в нескольких окнах занавески вздрогнули. И глаза мелькнули. Девичьи, любопытные. Светом жизни вспыхнули.

Расставив посты, одна полуторка возвратилась на аэродром. На другой, полосую шинами снежную целину, носился теперь комиссар Орлов, своими руками вертя черное рулевое колесо.

В тринадцать ноль-ноль грузовик Орлова зафырчал под аркой монастырских ворот.

По обе руки от ворот — вдоль крепостной стены — лепились добротные, древней, серьезной кладки кирпич-

ные службы. Большая пустая церковь высилась в самом центре кремля, на обширной площади, когда-то старательно вымощенной ядреным булыжником, краски которого и всевозможные природные узоры так отчетливо проступали после дождя...

Типография помещалась в правом от входа крыле монастырских застроек. В левом крыле, где прежде одна за другой, как тюремные камеры, располагались кельи отшельников, теперь жили простые смертные.

Право же, не так это плохо: иметь свою келью. Сейчас, когда миром правит война, за трехметровой каменной стеной жилось как у Христа за пазухой.

Например, сегодня утром на площади городка в каких-нибудь тридцати метрах от монастыря взорвалась бомба. И что же? У Слюсарева, который в это время хлебал свой утренний чай, в серебряном подстаканнике лишь слабо задребезжала серебряная ложечка. Правда, в соседней келье у старика Матвея Перги сама собой — очень плотно — закрылась дверь в келью. «Откупоривали» старика Пергу всем этажом.

Нешадно прогазовывая и буксуя на зализанных временах камушках, Орлов объехал церковь, опоясав древнее строение ремешками рифленых следов.

Остановив полуторку возле двери, рядом с которой на стене здания висела голубая табличка: «Типография районной газеты «Заря коммунизма», Орлов, не раздумывая, проник за эту дверь.

Миновав порожнюю застекленную будочку, где до войны типографский вахтер пил индивидуальный чай и курил папиросы «Спорт», Орлов вошел в цех.

Наиболее освещенная часть помещения отводилась под наборное дело. Здесь было рассыпано, раскидано, свалено под ноги множество драгоценного шрифта. В центре помещения, сложив на груди тяжелые руки, медленно вращался на винтовом табурете Слюсарев.

Хитрые глаза этого мужика светились насмешкой и как бы говорили: «Рассыпалась ваша газетка, не соберешь ее теперь ни в жисть».

— Ну, здравствуйте, Слюсарев. Какие соображения будут?

— А какие соображения? Машинки печатные уничтожены, раскурочены. Да и току электрического нету.

— Обойдемся, Слюсарев. Там в углу пресс. Ручной. Соображаешь?

— Соображаю. Это если лепешки из шрифта делать. Тогда в самую плепорцию. Жиманул и поджаривай на здоровье. . .

— А ты поаккуратней, Слюсарев. Не лепешки, а чтобы — газету. Хотя бы несколько экземпляров.

— Допустим, что справимся. . . Напечатаем. А завтра немцы придут и меня под этот пресс уложат. . . Что тогда? Или вы при немцах тоже командовать будете, гражданин хороший?

Орлов нагнулся, поднял с полу обрывок от бумажного рулона, подровнял края листа, положил бумагу на стол, полюбил химический карандаш и размашисто вывел:

ПРИКАЗ

Гражданину Слюсареву под страхом смерти (физического уничтожения) приказываю приступить к исполнению своих обязанностей как работнику местной типографии и всячески содействовать напечатанию очередного номера городской газеты «Заря коммунизма».

Генерал Орлов.

9 октября 1941 г.

— Вот, читай, Слюсарев. Покажешь, кому следует. Если понадобится.

— Не годится. Без печати документик. . .

— Какая сейчас печать, Слюсарев? Вот печать, — Орлов достал из кармана шинели парабеллум. — Вот резолюция, Слюсарев.

Мужик спокойно заслонился ладонью от черной дырочки револьверной. Затем еще спокойнее надел пальто, висевшее на гвозде переборки. Взял с верстака «приказ» Орлова, спрятал его в одежде.

— Ну, ежели так. . . Тогда другой разговор. Тогда я руки вверх задираю. Ежели насилие. . .

— Не насилие, Слюсарев. Борьба.

— За существование?

— За власть, Слюсарев.

— Не все ли теперь равно, какая власть. . . В войнунто? . . И та, и другая — стреляет.

- Ах, вон ты как заговорил!
- Власть не власть, а в могилу влазь... В итоге.
- А вот я тебе итог этот и подобью. Досрочно.
- Не подобьешь. Кто тебе тогда газету напечатает?
- Разве что...
- Ты думаешь, я немцев ожидаю? На другие харчи потянуло? Ни-ни. Мне политика ваша без надобности.
- Ты, что же, анархист? Или верующий? Да ты оглянись! Иноземец пришел. На твою землю. Супостат... Во все времена Россия вся как один подымалась, ежели супостат. А ты — «поли-итика»...
- Не агитируй, гражданин Орлов. Не хрен дедушкин, подымусь. Если потребуется. А для войны мы — списанные, для службы. Вчистую. Потому как на шестом десятке пять лет прожил.
- Вчистую, говоришь? А совесть, Слюсарев? Или и ей у тебя отставка вышла?
- Может, я ее израсходовал всю... За светлые годы жизни.
- Ну и тип ты, Слюсарев. Бывает, такая деревина вырастет: все тело штопором перевито, выгнуто. Ни колуном, ни клином взять невозможно. Ни расщепить, ни расколоть...
- Пусть другие колются, а я погожу.
- Достаточно, Слюсарев. Собрание закрываю. У нас мало времени. В любую минуту нам могут помешать... Нужда заставляет связываться мне с тобой, с...
- Со сволочью?
- Короче, Слюсарев, беритесь за газету. Собирайте буквочки с полу, готовьтесь к набору. Глядишь, и полегчает: все меньше грехов перед народом своим.
- А ты мои грехи не считай! Во-первых, что набирать?
- За «что набирать» — не волнуйтесь. Это моя работа. Вот центральная «Правда» от 4-го октября сего года. Наберете с нее передовицу. И вот это... И это тоже... Что карандашом обведено, то и наберете. Обязательно сообщение Совинформбюро.
- Откуда дровишки? Газетка, говорю, откуда взялась?
- Оттуда, Слюсарев, из Москвы. Из Цека. Вот, читай. Если не разучился. За светлые годы.
- Вы что же... четвертого в Москве были?

— Не имеет значения. Ветром ее принесло, «Правду». Дотошный какой... Летчик мне ее, убитый, подарил... Понятно?! Из его планшетки газета. Все теперь ясно? Набирай передовицу, Слюсарев. И чтобы грамотно. На уровне чтобы...

— Не спешите, гражданин Орлов. Хоть вы и генералом себя величаете, однако набирать газетку — не мое дело. Не умею. Не обучен. Не по моей линии.

Орлов аккуратно разложил «Правду» на верстаке — лицом вверх. Поднял с пола еще один бумажный обрывок. Прилежно сложил его в небольшую тетрадочку и, послунив карандаш, собрался вновь что-то писать.

— Очередной приказ? — усмешливо скосоротился Слюсарев. — Это вы любите... Разные приказы-указы. Только на сей раз и под дулом ничего не выйдет. Говорю: не по моей части. Печатник я. Мое дело — шлепать. А вот набором не владею. Грамоте разучился. В школу-то еще при царе бегал.

— А кто... наборщик?

— Не могу знать, господин генерал!

— Не паясничай, Слюсарев. Кто может сделать набор? Где наборщики?

— Уехали. Их и было-то два.

— Будем сами набирать. По буковке. Строчку за строчкой. Потом шпагатом обвяжем. И под пресс. Я, конечно, отлучаться вынужден. У меня тут забот полон рот. В городишке вашем притихшем. А тебе, Слюсарев, срок даю для исполнения.

Слюсарев, приподняв свою тяжелую кепку с наушниками, поскреб в голове. Раздвинул двумя руками на шее лисий шалевый воротник зеленого полупальто, словно от жары задышался.

— Есть тут один... наборщик. Отставной. Инвалид. С одним глазом.

— Кто такой?

— А сосед мой по келье. Старик Перга.

— Думаешь, сможет? С одним-то глазом?

— А вы ему под этот глаз — дуло. Как мне. Под дулом и слепой наберет.

— Он что, этот Перга... Как его, кстати, по имени-отчеству?

— Матвей Ильич.

— Он что, этот Матвей Ильич, настоящим наборщиком числился?

— Не числился, а работал. Тридцать лет. Пока ему собственный его сын, Миней Перга, глаз не выколол.

— Это как же?

— А самым натуральным способом. В махровое полотенце, которым дед Матвей по утрам лицо вытирал, младший Перга рыболовных крючочков понавтыкал. Чтобы досадить родителю...

— Какой подлец!

— Сынок-то? Он музыкант. На скрипке играет. За границу ездит.

— Мда-а... Дьявол с ним, с сынком. Зовите, Слюсарев, старика. Не будем ему дуло показывать. Если человек страдал в жизни... Тогда он без принуждения поймет, что к чему...

— Что газету нужно выпускать?

— Что со злом нужно бороться! А не прикидываться дурачком. Все! Ведите сюда Пергу... Живо!

Орлов еще раз послюнил карандаш и принялся писать обращение к населению городка, решив опубликовать его на видном месте.

Слюсарев возвратился, толкая впереди себя, как платформу с песком для безопасности, подслеповатого старичка Матвея Пергу.

В теплых байковых штанах, заправленных в черные валенки с галошами, в ситцевой рубаше в мелкий цветочек и стеганой безрукавке, Перга походил на деревенского дедушку. И лишь когда на приплюснутый нос водрузил он круглые очки в металлической оправе, стало ясно, что перед вами мастеровой человек.

Должно быть, Слюсарев поднял его с постели. Седые измятые волосы лежали вокруг лысины в беспорядке. Рыжие прокуренные усы измученно висели вокруг рта. Под одной косматой бровью плескался уцелевший, цвета жиденького, испитого чая, зрачок. Под другой бровью ничего не было, кроме складок поблекшей старческой кожи.

Старик приблизился к верстаку, за которым Орлов писал свое воззвание, и произнес невнятно:

— Пегга! — Оказывается, он ко всему еще и картавил. Затем дед довольно трогательно сложил на животе

небольшие, но жилистые ладошки и стал ждать реакции Орлова.

— Матвей Ильич... Я прочитаю вам воззвание.

— К кому воззвание, глостите? Ко мне? Тогда позвольте закутить?

— Курите. А воззвание к населению города. Стало быть, и к вам тоже.

Старик Перга принялся неторопливо сворачивать козью ножку из довоенного экземпляра «Зари». Орлов подождал, покуда Матвей Ильич запалит свой заряд, а затем встал во весь рост и громко прочел воззвание.

— Это необходимо срочно набрать и отпечатать. А также передовицу из «Правды» и все остальное.

— Значит, в гооде Советская власть, как я понял? — уточнил для себя Перга.

— Как видите. И вот что еще, Матвей Ильич. Не бойтесь. Вы и товарищ Слюсарев официально мобилизуетесь как бы... на трудовой фронт. По специальности. Никто вас не упрекнет за это. Даже враги.

— А Слюсагев тиснет?

— Тиснет. Есть уговор.

Старик Перга, что-то для себя уясняя, позволил, перед тем как согласиться набирать газету, задать Орлову еще несколько вопросов.

— Любопытствую. Вот вы подписали свое воззвание «генегал Оглово». Вы что же... Так оно и есть — натуральный генегал? Где же ваши гомбы, звезды генегальские где? Пгавда, может, вы цивильный генегал? Как в стагину: действительный статский советник?

— Не городите чепухи, Матвей Ильич. Коли я говорю: генерал — значит, генерал! Мне лучше знать, кто я! Не звезды спасают положение, а присутствие духа. И потом, — улынулся Орлов Перге примиряюще, — разве я не похож на генерала?

— Похож, похож! — закашлялся Матвей Ильич... — Не пегеживай. Вот газве что молодежаво выглядишь... для генегальского звания. Генегалы всегда с пузом, и лампасы у них на галифе. И еще скажи ты мне, генегал, почему отступаем?

— Чтобы сил набратъся и наступать.

— Да?.. Логично. Выходит, не ожидали? Немца, вгага?

— Говорят, даже приговоренный к смерти до последней секунды не верит в гибель свою... А такая огромная... такая могучая страна, как наша, разве могла она от битых германцев подобной прыти ожидать? Ожидала, конечно... И все же, видимо, не до конца. Так мне думается. У Гитлера — машина. И сработана она по последнему слову техники. А у нас — Родина. Родина, а не машина! И сработана она тысячелетней любовью народной. Выдюжим. Это он нас по-сонному, гад... В четыре утра разбудил. Да еще в выходной день.

— Пгавильно говоришь, генегал. Вот тепегь ясно. Давай свое сочинение, набигать буду.

В типографской кладовой разыскали шрифт в упаковке. Засыпали кассу, и старик Перга принялся колдовать. Руки его бегали по ячейкам, как молодые, словно на музыкальном инструменте играли. Три колонки будущей газеты набрал он довольно проворно и, главное, без ошибок. Правда, сгибался он над кассой низко, почти вплотную припадая лицом к ячейкам.

Решили газету заводить на одной стороне бумажного листа: и печатать проще, и на стену клеить сподручней.

Орлов дождался первого оттиска, перечитал свое воззвание, обнюхал газетку сверху донизу, спрятал во внутреннем кармане шинели. Наказал, что придет за остальными экземплярами двумя часами позже, и, окрыленный удачей, помчался на своей полуторке к зданию главпочты.

После долгих грохочущих месяцев отступления, после недель, пронизанных пулями, осколками снарядов и бомб, после дней-остовов, выгоревших изнутри, как прифронтовые здания, здесь, в обойденном лавиной наступления городке, мозг Орлова отдыхал в настороженной, какой-то гипнотической, ненормальной тишине. Казалось, стоит сделать одно неловкое движение, и тишина эта обвалится, как потолок во время бомбежки, закипит пламенем, — словом, все встанет на свои места.

Война сделала здесь замысловатый пируэт, неожиданный зигзаг. После жесточайших боев на подступах она пронесла свое бронированное тело в обход городка и теперь отдаленно погромыхивала на востоке. Этот гул, гул прошедшей стороной грозы, не затихал ни на минуту, и казалось, дунь ветер обратно, неминуемо все

повторится: грохот разрывов, свинцовый дождь, ручьи крови. . .

Здание главпочты располагалось хотя и в центре города, но не на виду. Маленькая улочка, уводящая от центральной площади к городскому парку, прятала под двумя мощными разлапистыми соснами кирпичный одноэтажный дом, половину которого занимала почта и отделение сберкассы, другую половину — телеграфно-телефонный узел.

Ранняя осень почти полностью оголила, разорила великолепное убранство парка, что простирался за спиной узла связи. Правда, облезлые тополя, березы, липы населяли среднюю глубинную часть парка. По краям же сторожевым порядком стояли могучие вечнозеленые сосны, как бы защищавшие собой остальное население этого живого, хотя и засыпающего мирка.

Жиденский морозец, что сохранился над городком с ночи, к полудню полностью отпустил, истлел. Снег на дороге растворился в дожде и грязи, и полуторка Орлова, урча и повизгивая в колее, остановилась наконец возле окон почты.

Орлов вынул ключ из замка зажигания, высвободил длинные ноги из-под руля, встал на дорогу, с наслаждением распрямился. И вдруг подумал, что сейчас ему предстоит встретиться с девушкой. Не с каким-то там Слюсаревым или Пергой, а с девушкой, и, если верить лейтенанту Воробьеву, красивой девушкой.

Пришлось провести под носом ладонью, застегнуть шинель, приналечь руками на взъерошенные волосы. Прodelал он все это мгновенно.

Он еще гадал, на какое крыльцо подняться: левое или правое, когда в одном из окон увидел ее лицо. Он сразу решил, что это именно ее лицо. Во-первых, потому что другого для сравнения не было. Во-вторых, действительно красивое! Ей-богу. Неожиданное. И, в-третьих, так ему сразу захотелось, чтобы это ее лицо было! Забавлял и восторг Воробышка: как залиvisto он ее нахваливал. И это в окружении, по уши в войне, в печалих и ужасах. «Или у таких пушистых юнцов печали быстро-течны?» — подумалось вдруг. И забылось.

Орлов не стал улыбаться девушке. А та почему-то сияла. Даже сквозь пыльное стекло свет ее улыбки делал грязную пустынную улицу нарядней и жизнерадостней.

Жестами рук спросил он ее, в какую дверь ему направляться. И она весело покачала головой в правую от себя сторону: «Сюда, мол, смелей давай!»

— Здравствуйте, Лена... — отыскал он ее в аппаратной. — Я — Орлов.

— А кто вы? — улыбалась она, разглядывая незнакомого дылду в тяжелой шинели.

— Я же сказал — Орлов.

— Это я поняла, товарищ Орлов. А кто же вы? В городе никого нет. И вдруг такой... экземпляр нестандартный.

— Экземпляр, говорите? — Орлов прикусил губы. Улыбаться ему все еще не хотелось. — И все-таки я — Орлов.

— Генерал?

— Для вас — просто Орлов.

— Настоящий?

— Документы предъявить? Или так поверите? Я вот диверсанта одного стихи заставлял читать. Из школьной программы. Может, и мне что-нибудь продекламировать? Скажем: «Вот моя деревня, вот мой дом родной...»

— Лучше — про любовь... — Лена поставила руку локтем на стол, уперлась ладонью в подбородок. Другая рука девушки изловила пушистую, соломенного цвета, длинную косу, оплела ею голову, лицо, сохранив для глаз щелочку, в которую и подсматривала за пришельцем.

— Я, Лена, к Москве пробираюсь. Из окружения. И меня настораживает одно обстоятельство...

— Какое же?

— В город скоро войдут немцы. А на телефонной станции сидит... симпатичная девушка и всем и каждому заявляет, что она комсомолка. И еще: почему эта девушка так тщательно, так со вкусом... причесана? В любую минуту фашисты могут прийти, а она...

— Сажай лицо не мажет? — Лена ловко раскрутила косу в обратном направлении, освободила от волос лицо. — Смотрите-ка сюда, гражданин сыщик. У меня даже ресницы подкрашены. И брови ошипаны. Густые слишком. Подарить вам расческу? Потеряли небось в окружениях своих... Тоже мне — знаток женских сердец! Стихи читает... Да меня на расстрел утром разбуди — я все равно первым делом косичку свою заплету!

— Не обижайтесь. Это я вам за недоверие. Разве Орлов может быть ненастоящим? А с комсомолом... советую быть поосторожней. Лично я партийный билет одно время в сапоге под стелькой прятал. А ведь я хитрый, бывалый. И везучий. Но — осторожный.

— Это вам Воробей про меня начирикал! — так и вскочила, так и взлетели брови. — Про комсомол натрепался... Ну, погоди, лейтенант!

И тут часто-часто начал вызывать междугородный. Лена кинулась к наушникам.

— Але, але! Дежурная! Москва?! Четыре пятнадцать? Дежурная, миленькая! Не работает у нас городская... Току нету! То-оку!

Орлов ловким движением снял с головы телефонистки наушники, надел их на себя.

— Москва, Москва! Примите заказ! Да, прямо сюда, на городскую выходите! — Орлов назвал номер в Москве, поблагодарил дежурную. А Лене наконец-то улыбнулся. — Не обижайтесь. Пока бы я вам объяснял, что к чему... Москва бы отключилась. Как говорится — лови момент. А так, может, до матери дозвонюсь, — предположил Орлов, виновато разводя руками и протягивая в знак примирения свежий оттиск газеты «Заря коммунизма».

— Газета... Сегодняшняя?! Боже мой... Ничего не понимаю. Орган горкома и райкома... Значит...

— Читайте, читайте, Лена. А я подежурю.

Лена прочитала воззвание, сочиненное Орловым, еще раз внимательно посмотрела на незнакомого мужчину. Яркая синь в ее глазах, казалось, вот-вот прольется на бумагу.

«У нее глаза красивые, — отметил про себя Орлов. — И волосы. А нос, губы и особенно скулы — грубоваты. Очень русское лицо. Крепкое и в то же время нежное что-то во всем облике...»

Лена проглотила передовицу, сообщение Совинформбюро. Затем поспешно перевернула прочитанное и, наткнувшись на белое, не засеянное буквами газетное поле, перевела дух.

— Простите, товарищ Орлов... Я с вами неприветливо обошлась. А вы такой молодец! Газету выпустили... Как же вам удалось? Ведь город оставлен.

— Значит, не оставлен.

— Да, да... Я не так выразилась. Не оставлен. Просто многие эвакуировались. Еще недавно такие бои были! Возле самого города. Раненые на Москву не только ехали, но шли и даже ползли... Днем и ночью. А потом вдруг стихло там... И все переместилось на восток. Ближе к Москве. И грохот, и пожары. А город словно вымер. Народ, который остался, на улице носа не кажет. И вдруг — газета! Свежая...

— Лена... Простите, что я вас перебиваю. Лена, вы знаете, что такое фашисты?

— Ну, враги... Звери. Захватчики. Кто теперь не знает про это?

— Лена... Фашисты — это люди, которым сказали: вам все дозволено. Убивают тысячами, методично, как ходят на работу. Высвобождаются от людей, как от насекомых... А для уверенности на пряжках солдатских ремней: «Gott mit uns» — «С нами бог». Необходимо холодное, умное, управляемое сердце, чтобы воевать с ними. И еще: на фронте, в окопе, в цепочке, где рядом с тобой товарищи по оружию, — это одно. И совсем другое — воевать в тылу врага. Почему вы остались в городе?

— Зачем вы меня спрашиваете? Неужели не понятно?

— Лена... Пока имеется связь с Москвой, пока не перерезана дорога, вдоль которой тянутся провода, — уходите отсюда, уезжайте. С лейтенантом Воробьевым. У него машины исправные есть. Какого дьявола — с такими глазами, с такой косой... хотите, чтобы вас подвесили на ней? И подвесьте! На площади... И будут слюни пускать от удовольствия.

— Зачем вы меня пугаете?

— Я вас не пугаю, Лена... Одна в оккупированном городе...

— Не беспокойтесь, я не одна!

Орлов вдруг сморщился, как от боли. Укоризненно покачал головой.

— Вот видите... Первому встречному выкладываете! Разве так можно с секретами обращаться?

— Я знаю, кому выкладывать. Вы мне сразу понравились. Еще в окне... — покраснела вдруг Лена, и тут

начал вызывать междугородный. Лена схватила наушники, отвернулась от Орлова:

— Да, дежуренькая!.. Слушаем вас, Москва. Вызывали, вызывали! Але, кто у телефона? — Лена растерянно взглянула на Орлова. — Лизавета Андреевна! Одну минутку... — протянула наушники.

Орлов с недоверием нахлобучил технику. Кашлянул в микрофон.

— Алло, мама?.. Это я! Да, непременно, жив-здоров! Нет, не в Москве... Но, в общем, недалеко. Скоро буду! Как ты там... мамочка? Чаю? Индийского? Э-э... постараюсь. Болела? Не болей, пожалуйста. Сейчас нельзя болеть.

Лена с наивной улыбкой, даже рот приоткрылся, во все глаза смотрела на согнувшегося в три погибели, как-то почтительно стоявшего перед аппаратом Орлова. И то, что он поднялся со стула, и то, как с трудом, но выдавил из себя нежное «мамочка», и бледность, ударившая по его лицу в первый момент, когда наушники прилаживал, — все это очень понравилось Лене, и она тайком улыбнулась: «Так тебе и надо, генерал! Вон как перед мамой-то присел... Перед мамой все тихими делаются...»

— Обо мне, мама, не беспокойся! Ты ведь знаешь меня! Не звонил долго? Так ведь... занят был! И я тебя целую! Непременно вернусь! — Орлов возвратил наушники Лене. А через полминуты аппарат вновь ожил.

— Слушаю! Две с половиной минуты? Спасибо...

— Ну, сказка! — Орлов втянул голову в плечи, комично потер ладони одна о другую. — С матерью поговорил! Если откровенно — не ожидал такого подарочка... Это ж надо — с самой мамой... Три месяца, как расстались. И каких три месяца! А мать — как ни в чем не бывало. Чайку просит! «Индийского»... Она у меня чаевница! Да... Можно сказать, с того света дозволился!

— Ну уж и с того...

— Лена, Воробьев мне про какой-то движок рассказывал. Он что, существует, этот движок?

— Да, конечно. Это Воробьева, лейтенанта, затея. Время от времени я этот движок завожу. Но мне с ним трудно справляться. Глохнет, и, вообще, бензином вся пропахла...

— И что же, от него, стало быть, достаточно питания? Для городской сети?

— Да, конечно. Ой, опять эта рожа нарисовалась! Вашу машину обнюхивает.

— О ком ты?

— Да придурок этот уголовный. Мартышкин! Жених... Руку предлагает. А рука вся в наколках. «Не забуду мать родную»... Дождется, что я его поцелую! Из нагана...

В дверь нерешительно постучали. Затем появилась шанская кепочка с малюсеньким козырьком.

— С вашего позволения... — Мартышкин робко, но внимательно, подробно осмотрел помещение. Лицо его пряталось за приподнятым холодным воротником демисезонного, «городского» пальто. — Здрасьте, кого не видел... Смотрю — глазам не верю: автомобили! Натуральная техника. И радиатор теплый еще... На ходу, выходит, тележка.

От Мартышкина все еще пахло спиртным, теперь уже перегаром. Но держался он довольно твердо. Видимо, успел очухаться. Орлова Мартышкин то ли не узнавал, то ли не хотел узнавать. Он упорно улыбался девушке, залихватски сверкая стальными зубами, в которых извивалась папироса.

— У нас не курят! — мрачно заявила ему Лена.

— Скажите, Леночка, неужто отбываете? В эвакуацию? Не поздненько ли спохватились? Возьмите и меня с собой. Я тоже немцев боюсь. Познакомьте с начальником, Леночка... — пришепетывал, шепелявил Мартышкин, не вынимая изо рта папироски.

— Не курят здесь, Мартышкин, — поднялся из-за стола Орлов.

— И посторонним вход воспрещен! — добавила Лена, сведя брови на переносице.

Мартышкин нехотя растоптал окурочек. Надвинул кепочку на самые глаза. Прислонился к планке дверного проема. Ногу поставил на порог.

— Сейчас уйду. Ясное дело, при генералах Мартышкин посторонний. Читали ваше сочинение, гражданин генерал... И без него духу-бодрости не теряем! Спасибо за моральную поддержку. Русского человека необходимо всю дорогу агитировать. Иначе он с голоду подохнет. Или еще чего хуже натворит. Сейчас уйду. Не бойсь,

гражданин начальник. Пешком уйду. Чихал я на вашу полуторку. Пешком я хоть до Сибири! А на вашем драндулете — до первой канавы.

Орлов приблизился к Мартышкину. Без резких движений, ласково завладел правой рукой парня.

— Ты чего это, Мартышкин, смелый какой? — пожал, испробовал наличие силенок у стриженного. — Девушка тебе нравится? Это ты перед ней так воспрянул? А спроси-ка ее для начала, по душе ли ей твоя кепочка? Спроси, спроси. . . Не стесняйся.

Мартышкин все еще с наглечой, однако без надежды посмотрел в глаза Леночке. И ничего, кроме холодного беспокойства, не увидел.

— А-а. . . Все они так. Сейчас у нее выбор есть. А вот погоди, укатит твой генерал. . . И Мартышкин согдится!

— Подонок! — Лена сделала загадочное движение рукой под стол, как будто искала, чем запустить в «жениха». Но Орлов применил болевой прием, дверь помещения с грохотом распахнулась, и Мартышкин загремел с крыльца.

— Генералы! — кричал он в отдалении. — Липовые! Агитаторы! В душу, в грушу!

В окно было видно, как Мартышкин яростно пнул напоследок ни в чем не повинную полуторку в заднее колесо.

— А я ведь его. . . чуть не пристрелила.

Держа шпильки во рту, Лена укрепила на затылке узел своей косы.

— У тебя что же. . . оружие есть? — вновь, как от зубной боли, сморщился Орлов.

Победно улыбаясь, Лена извлекла револьвер системы «наган», тот, неказистый, с барабаном, который, как правило, носили милиционеры и пожилые бойцы вооруженной охраны у заводских проходных.

Орлов достал металлическую расческу, вонзил ее в свои волосы.

— Ты что же. . . Действительно воевать собралась?

— А вы неужто. . . причесываться вздумали? Во время войны?

— Да я не против. Воюй. А стрелять-то умеешь?

— Умею. . . Вот, правда, попадаю не всегда. Но в Мартышкина не промахнулась бы! Я и вас поначалу. . . на мушку хотела взять. Да передумала. Сама не знаю —

почему? А на диверсанта вы очень похожи. Ну, просто вылитый парашютист! Вы, наверное, мастер спорта?

Орлов нагнулся, взял табуретку, приблизился к Лене, сел рядом с ней.

— Тебе, Лена, внешность необходимо изменить. Косу отрезать. С телефонного узла исчезнуть.

— Вот и ошибаетесь! Как была на телефоне, так и останусь. До прихода этих... И услуги свои предложу. Понятно? А про комсомол сама удивляюсь... Никто вроде бы не знает. В городе я человек новый. А Воробьев просто догадался. И вообще он трепло. После этого... Разрешите вопрос, товарищ Орлов? А вы... остаетесь или уходите?

— Ухожу.

— Не понравилось у нас? — Девушка усмехнулась, потом сразу же серьезной сделалась. — А жаль. Вот ей-богу, жаль!

— Я ведь не гуляю тут.

— А чего ж тогда не уходите? Время теряете?

— Влюбился.

— В меня?!

— В кого же еще? Не в Пергу же... А старик — молодчина. Газету набрал. Инвалид с одним глазом. Все основания имел отказаться. Вот только не знаю: меня испугался или совесть заговорила? Ладно, теперь пошли, показывай движок, Лена. Позвонить кой-куда требуется.

В сараюшке, ближе к забору, за которым парк, Орлов осмотрел движок, что-то подкрутил, подкачал бензина, дернул рукоятку, и моторчик завелся безо всяких капризов.

Вышли из сарая. Встали под сосны. Тучи в небе, как льдины в ледоход, разломило, раздвинуло. Кой-где явилась робкая небесная синь. Движок тархтел мирно, отблеск осеннего солнца лежал на соснах так мягко, ворона ковырялась в перьях крыла на крыше почты так буднично... В какое-то мгновение Орлову захотелось тряхнуть головой и... проснуться. Но он не спал...

Позвонили с аэродрома.

Возбужденный лейтенант докладывал Орлову, что готов произвести «салют», то есть взорвать бомбосклад. На что Орлов опять не дал согласия, уговорив Воробьева повременить с этим до более подходящего момента.

Лейтенанту очень хотелось грохнуть, чтобы стекла в сонном городке повывлетели. Тем более что препятствий к этому «баловству» никаких не имелось. Лейтенант заминировал склад-землянку, вывел провод через все летное поле к диспетчерской аэродрома, приготовился... И вот теперь Орлов.

Лейтенант еще сообщал, что с постов на выходе из города тревожных сигналов не поступало, за исключением нескольких задержаний подозрительных лиц, оказавшихся в результате беженцами. Упомянул лейтенант и про окруженцев, которые за эти дни поодиночке (всего пять человек) примкнули к его аэродромной команде и теперь несли службу наравне со всеми. Многие из окруженцев прошли транзитом на Москву, не доверив себя аэродромной команде, сидевшей в покинутом городке и неведь чего ожидавшей. Не удержался Воробьев и про диверсантов рассказать, которых где-то кто-то видел, но все это с чужих слов и весьма неопределенно.

В заключение разговора Орлов потребовал от лейтенанта группу солдат в пять человек, а с ними ящик взрывчатки, детонаторы и бикфордов шнур.

Затем Орлов позвонил Бархударову, сказал, что придет часам к пяти. Попросил прислать в монастырь милиционера Бочкина за газетами. Газеты необходимо распределить среди жителей, а также развесить на видных местах, чтобы завтра с утра их могли прочесть остальные граждане. Предупредил, что к семнадцати ноль-ноль в райком явится команда взрывников.

— Соорудите им чаю, Бархударов... Кстати, пачку индийского из ваших запасов прошу приберечь — лично для меня!

Орлов виновато покосился на Лену. Девушка понимающе подмигнула.

Заглушили движок. Решено было пользоваться им строго по определенному расписанию.

— А теперь до свидания, Леночка. Дайте-ка ваш наган.

Лена доверчиво протянула оружие. Орлов внимательно осмотрел револьверишко. Вынул из барабана, заполненного патронами, один заряд. Взвел курок, нажал спуск. Щелкнуло. Загнал патрон на прежнее место.

— Счастливо оставаться, солдатик... — Орлов про-

тянул наган Лене. Рукояткой вперед. Как передают нож во время обеда. — И давай условимся вот о чем: почувствуешь тревогу, загрустишь или вообще... испугаешься чего — заводи движок и звони! В райком или Воробьеvu — короче, своим людям. Звони, не стесняйся!

— А вы оставьте мне газету... Я ее перечитаю. Можно?

— Можно.

Лена протянула руку Орлову, тот крепко пожал ее ладошку. Хотел еще что-то сказать, но, пригнувшись, перешагнул порог.

В окно Лена видела, как длинноногий «генерал» не сразу втиснулся в кабину полуторки. Машина с трудом развернулась на узкой и грязной улочке и через минуту умчалась прочь.

Орлов сделал петлю вокруг храма на монастырском дворе, посигналил несколько раз, остановившись возле типографии.

Никого. Подождал минуты три. Затем, разглядев на дверях большой висячий замок, сообразил, что Слюсарева с Пергой нужно искать в другом месте.

Тогда он подъехал к жилому крылу бывших монастырских служб. Заглушил мотор. Ступил с подножки на булыжник. Задрал голову, рассматривая окна здания. Наткнулся глазами на черный квадрат форточки во втором этаже, в котором, как с портрета, смотрела на Орлова голова старика Перги.

— Идите сюда... — поманил одноглазый наборщик скрюченным пальцем. Палец возник в пространстве форточки, как фигурка из кукольного театра.

Орлов поднялся по лестнице, вошел в полумрак коридора. Немного света просачивалось из отверстия в стене дома — из отдушины, которая сообщалась с древней бойницей в крепостной кладке. Три метра камня и кирпича отодвигали этот свет от глаз на такое поистине космическое расстояние, что, посмотрев в скважину, Орлов вдруг почувствовал, как далеко он забрался и как нежно он любит солнце и, вообще, свет жизни.

В самом конце коридора можно было слышать гул голосов и — вот уж фантастика! — гитарные переборы. Правда, едва различимые и к тому же невеселые.

Но факт оставался фактом: играли на музыкальном инструменте.

В середине коридора, примерно напротив родничка, из которого капал свет, бесшумно открылась дверь. Замерцала тусклая лысина старика Перги. В серых клубках волос, как луна в облаках. Из-под прокуренных усов выскочило слово:

— Пгошу!

И Орлов очутился в келье. Сводчатое окно. Сводчатый, довольно высокий потолок, железная койка, стол обеденный, старый, почерневший не от краски — от времени. . . И шкаф с книгами. Небольшой, но заполненный. Со стеклянными дверцами. И книги за стеклом. В большинстве своем старинные.

Старик растапливал печку, прятавшуюся в стене.

— А тепегь — садитесь! — как подарок, двумя руками от груди преподнес Матвей Ильич Орлову табурет. — А тигаж газетки милиционерг Бочкин забгал. Якобы по вашему указанию.

— Все правильно, Матвей Ильич. И я приехал поблагодарить вас. И Слюсарева тоже. Где он сейчас, не знаете?

— Дома он. Гости у него.

— А что за событие? Радость какая?

— Почему вы гешили, что гадость?

— На гитаре играют. . .

— Ну и что же? Может, они от стгаха играют, а не от гадости. Неизвестность томит. Нету ни ваших, ни наших. . . Вышел на улицу, а тебя любой за глотку может взять. Обидеть. . . Газве так можно, чтобы без власти? Вот людишки и сошлись. Калякают. В глаза дуг дугу смотрят. И я там был. Но ушел. Мне пготовить необходимо. К тому же мне и не стгашно одному: я читаю. Кто книги читает, тому легче. Когда читаешь, все забывает. . .

Старик Перга, кряхтя, согнулся перед топкой, вычиркнул огонек, поднес его к лучине. Постепенно огонь расцвел в пещере очага, осветив дальний от окна кусок комнаты. Вечерело сейчас рано. Солнца не хватало. И всякий свет, откуда бы он ни исходил, был желанен для глаз.

— Матвей Ильич, почему вы не уехали?

— Куда? — усмехнулся Перга.

— Вы же знаете, как немцы... к людям вашей национальности относятся...

— Вы хотите сказать — к евреям? — усмехнулся Перга. — Знаю. Наслышан. Позвольте, я закурю?

Старик свернул самокрутку. Прикурил от лучины. Широко открыл свой единственный глаз, хлебнувший дыма и поэтому прослезившийся.

— Я все равно умгу ского... И мне даже забавно наблюдать за собой в необычных условиях. Когда еще доведется такое?

— Наивно. И несерьезно. — Орлов отмахнулся от дыма, подплывшего к нему от Перги. — Вы рассуждаете книжно, Матвей Ильич. Фашисты вас уничтожат.

— А вас, простите, что же, не тгонут?

— Во-первых, я, если и останусь, то драться с ними буду. С оружием в руках. Понятно?

— Понятно. И я с ними драться буду.

— Вы? Старичок, инвалид? Драться?! Замечательно... Каким же образом?

— Я их презигать буду. Публично. А?! Неплохо?

— Чепуха. Поставят к стенке и расстреляют. В лучшем случае.

— А я их... презигать буду. У стенки. Газве этого мало? Газве это не богьба, не согготивление? От каждого по способностям...

— В самоубийцы потянуло? На склоне лет... А как же книги? Не жалко с ними расставаться?

— Жалко!

— То-то и оно. А спешите. Да и неизвестно, какие вас перед отбытием на тот свет мысли посетят. Перед смертью многие отрекаются от своих убеждений. Забывают все начисто. Перед дулом. Лишь бы еще разок вздохнуть, еще один глоток воздуха выпить...

— А это у каждого по-своему. Зависит от индивидуальности.

— Как знаете, Матвей Ильич. Я к тому, что еще не поздно. Шоссе немцами, похоже, не перерезано. На Москву еще машины пройти могут. Если пожелаете, построю вас. Даже с книгами. Не со всеми, разумеется, но с самыми дорогими, грузитеесь и... попутного ветра. В Москве у вас сын. Есть кому встретить. Договорились?

— Спасибо, товагищ Оглов... Но я никуда не поеду. Тем более к сыну. Мы с ним не очень-то дгужим. За де-

сять лет, что он на скгипке играет, одно письмо от него пгишло. . . Да и то с пгосьбой, чтобы я его не беспокоил больше. Я останусь. Мне интегесней так. Ничего подобного я еще не пегеживал. Все остальное, в том числе и любовь, уже было. Довольно с меня сладостей. Пога гогечи хлебнуть. . . А за внимание к моей особе — спасибо. Тгонут весьма.

Старик Перга покопался в книжном шкафу, достал толстенный фолиант в рыжей телячьей коже, раскрыл его на определенной странице, заложенной квадратиком розовой бумаги, прочел:

— «Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе: на всех должно газделить поровну». В смысле потегь и пгиобгетений. . . Это Библия, Ветхий завет. А вот это, — взял он двумя пальцами розовый листок, развернул его, — а вот это называется пгокламация. Я набгал ее сегодня, после того как покончил с вашей газетой. И вот здесь, в этой пгокламации, содегжится чуточка моего пгезгения к фашистам. Полюбуйтесь! — протянул Матвей Ильич бумажку Орлову.

Крупным шрифтом было отпечатано:

«Дорогой товарищ! Фашизм не пройдет! Потому что он ничего не обещает несчастным. А несчастных на земле большинство. От чумы фашизма нет вакцины! Есть штык и пуля! Все, как один, на борьбу с врагами человечества! Презрение фашизму. Да здравствует истина!»

— Справедливо. Хотя и книжно. Литературно. Листовка должна быть понятной, как команда. «Смерть немецким оккупантам!» Вот. А покуда до вашей истины доберешься. . . И потом, почему именно: «Да здравствует истина!»? Принято иначе говорить: «Да здравствует Красная Армия!» Или: «Да здравствует партия большевиков!» А у вас что? Отсебятина, Матвей Ильич. Самодетельность.

— Пгавильно. Самодетельность. А как же иначе? Меня никто не инстгуктиговал. Как на душу легло, так и набгал. У вас в воззвании тоже не везде гладко со стилем. К тому же я бесппагтийный. . .

— Не обижайтесь, Матвей Ильич. . . Но мне показалось вначале, что вы как. . . ребенок, что вы совсем беззащитный человек. Но я ошибся, приятно ошибся. И все

же — осторожней. И листовку свою никому не показывайте. Слюсарев знает о ней?

— Да нет же... Я исключительно — самостоятельно. И всего двадцать пять экземплягов оттиснул...

Во дворе звонко хлестнул выстрел. Эх, отскочив от каменных стен монастыря, унеслось вослед звону разбитого стекла.

Орлов в два прыжка очутился возле форточки, осторожно выглянул из окна. Стреляли по его машине. Ветровое стекло полуторки было разбито. Стреляли скорей всего из револьвера, причем издали, так как пуля разбила стекло на куски, а не просверлила в нем сквозное отверстие. Было неясно, откуда стреляли: из дома или со двора?

Орлов, подойдя к Перге, зашептал ему на ухо:

— Ведите меня к Слюсареву. Войдете первым. Вас они знают. Хочу познакомиться с компанией...

— Не советую, товагищ Оглов. Там всякая дгянь может оказаться. Даже уголовники. Боюсь, не оттуда ли стгеляли сейчас...

— Ведите, Матвей Ильич.

Перга повел в самый конец коридора. Затем остановился перед дверью, из-за которой доносились голоса и приглушенная гитарная звень. Обождав с минуту, Матвей Ильич троекратно постучал. Сперва растаяли голоса, и только гитара еще царапала слух вибрирующим дребезжанием. Но притихла и она.

За дверью поворчали. Тогда и старик Перга подал голос:

— Откгой, Евлампий... Свои.

Видимо, сняли большой, тяжелый крюк, который, падая, громко лязгнул.

— А-а... Перга Ильич! Что, брат, не сидится за молитвой?... Кто это с тобой?

Но Орлов, отстранив Пергу и Слюсарева, уже входил в комнату.

— Здравсьте, кого не видел! Я к вам, Слюсарев. С благодарностью.

— Какие там еще благодарности... Принудили! Под силой оружия... Только на этом и прикончим разговоры. Больше я вам не работник. Не холуй.

— Нету сейчас такой возможности, чтобы один другому приказывать силком, — подал голос распаривший-

ся, краснолицый старичок, обнимавший медный самовар за талию. В другой его руке трясся на блюдечке стакан, в который дед нацеживал сейчас кипяток. — Не замай теперича! Другая события сполучилась. И всех приказчиков можем посылать к едрени, тоись, фени, — завершил старичок, шмякнувшись на широкую лавку, шедшую вдоль всей правой стены. Ближе к дальнему, «переднему» углу стоял такой же, как и у Перги, большой обеденный стол, покрытый клеенкой с выцветшим голубым узором. В том же переднем углу перед большим образом Николая Чудотворца горела тинственным масляным светом лампада.

Келья была полна народу. Сидели вокруг самовара на лавке, на стульях. А играл на гитаре Мартышкин Генка. Он полулежал на широкой кровати, что высилась по левую стену помещения.

Краснолицый безбородый старичок, называвший Слюсарева запросто «Лампий», оказался отцом печатника — Устином Слюсаревым.

На столе, подмоченная и основательно захватанная, лежала газета. Именно та, сегодняшняя, столь неожиданная для большинства жителей городка.

Орлов внимательно оглядел всех. Мартышкин лежал с гитарой, отгороженный от окна спинами собравшихся у самовара. Форточка в окне плотно закрыта. Вроде бы не успевал Мартышкин так проворно спрятаться, так спокойно разлечься после выстрела... И в то же время спины у сидящих неестественно напряжены, подогнаны одна к другой, как частокол. За столом сидели преимущественно пожилые люди. Исключение составляла средняя лет дамочка с покрашенными губами и в зеленой беретке на стриженных под «работницу», прямых, некогда золотистых волосах. Нет, вряд ли кто из них мог...

— Вот что, граждане жители, во-первых, приятного аппетита. А во-вторых, придется вас обыскать. Процедура вынужденная. Заранее приношу извинения. Только что из окон этого дома стреляли по моей машине. Итак, прошу вывернуть карманы, а вас, Мартышкин, подойти ко мне. Для тех, кто меня не знает, могу представиться: генерал Орлов!

— Вона как... — вслух подумал Устин Слюсарев, а вся остальная братия враз задвигалась, зашевелилась, тяжело дыша и отфукиваясь, так как многие были

налиты чаем, да и возраст: у кого одышка, у кого круже-
ние головы, а кого и на нервной почве вспучило.

— А чтобы не сомневались в моих полномочиях, покажу вам вот этот мандат! — Орлов достал из шинели гарабеллум.

Слюсарев Евлампий первым вывернул свои карманы. Дал себя ощупать под мышками и похлопать по бедрам.

Мартышкин осторожно положил гитару на кровать. Поскреб себя по стриженной голове и так, с поднятыми на голову руками, приблизился к Орлову. Глаза Мартышкина смотрели в разные стороны, как бы убегали с лица врассыпную. Ранние морщинки делали лицо запущенным, словно и не лицо, а тряпочка, которую отсидели невзначай и требуется тяжелый горячий утюг, чтобы ее разгладить. Орлов обыскал и Мартышкина.

— Нету... — вслух облегченно прошептал апоплексический старичок Устин, следя за шарящей рукой Орлова.

— Садитесь туда, на кровать, — попросил Орлов Мартышкина и Евлампия, и те послушно завалились, при этом Мартышкин опять слишком осторожно отодвинул от себя гитару. Словно боялся, что она от резкого движения может взорваться.

— А ежели касательно меня, товарищ генерал, то на мне карманов нету, — захихикала дама. — Можете убедиться. Своими руками. Потрогать меня, как Евлампия... Так что прошу ошщупать! Ха-ха! — засмеялась она в гробовой тишине. И столь неуместно прозвучал ее смех, что никто ее не поддержал, а старик Устин, хозяин комнаты, даже локтем в бок поддел бабенку.

— И какой же будете нации, ежели не секрет? Потому как ноне отличить, кто за кого, никакой возможности нету. Устин Трофимыч я, Слюсарев! — протянул старичок Орлову водянистую жидкую ладошку. — Можя, чайку с нами хлебнете? Или еще чаво покрепче?

Орлов, произведя обыск, спрятал в шинель парабеллум. Руки Устина не взял. Кивнув туда, где лежала газета, спросил собравшихся:

— Читали?

— Обязательно прочли, — опять за всех ответил Устин. — И не просто, а в голос. Как Священное писание.

— Ну и что скажете? Согласны, что немцев бить

нужно, не пускать их в дом, что нужно в подполье уходить, сопротивляться?

— Вот вы говорите: не пускать, — пропищал старичок интеллигентного вида в круглых очках и с бородкой клинышком. — А они взяли да пришли. Не спросились...

— Соображать надо! — покраснев еще больше, закричал старик Устин. — Во всем мире частная собственность, а у нас ее отменили. Вот они и пришли. Еще удивительно, что одна Германья пришла. Все как есть страны на земле могли прийти. И чего бы ты делал тогда со своим револьвером, гражданин хороший? — осипшим голосом, страшно волнуясь и все-таки достаточно смело, спросил Орлова старик Слюсарев.

— Вот вы тут в городке такую бурную деятельность развили, — вновь запиликал который в круглых очках и острой бородке, — газеты печатаете, диверсантов ловите, по телефону разговариваете. Играете в Советскую власть... А какой смысл во всем этом, если завтра немцы придут? Ну, день, ну, два еще помутите воду. А потом куда? На сучок? Бежали бы лучше. Пока не поздно. Я вам добра желаю. Как педагог... Как человек...

— Думаете, если вы пожилой, посеребрённый, так вам дозволено за самоваром болтать разную гадость? На руку захватчикам?! Думаете, я пулю пожалею на вас? Так вот же! Пожалею! — ударил Орлов кулаком по столу. — На вас плевка жалко. Собрались тут... Чай хлопбыстают. Тараканы... Решили небось, что в городе людей не осталось честных? А люди есть! Не я один в России «играю» в Советскую власть! Эх, вы! А еще старики... Седые головы. Пусть бы Мартышкин, у него в голове как на голове: сострижено все под ноль. А то ведь старцы...

— Да чепуха это все... Я их как облупленных знаю. Блажь, и все больше — на языке. Не глубже. А внутги — погядок. Напгасно на них обижаются. Люди поговогить хотят. Гешили, что тепегь можно: не на габоте. А вы им пистолет под нос. Они сейчас чай пьют. А за чаем чего не сболтнешь. А потом — не всякий умеет в любви пгизнаваться... Вот ты, Кузьма, — обратился Перга к безобразно заросшему, дремучему старику, на лице которого ни рта, ни щек — одни глаза светились в волосах. — Ты вот, Кузьма, скажи, вгаг ты своему народу или друг?

— Откудова мне знать... Вам-то, грамотным, виднее. На то вы и люди. А с нас, народу, какой спрос?

— Это Кузьма-то враг? Ну и сбрыхнул ты, Матвей Ильич! Чай, немцы сейчас враги. А Кузьма, какой же он немец? — слабенько улыбнулся дед Устин.

— Даже не японец! — взвизгнула дамочка в берете.

— Осмелюсь обратить ваше внимание на ответ Кузьмы Гавриловича, — зажурчал опять интеллигентный старец в окулярах, — на мысль этого «таракана», как вы изволили выразиться... Он, Кузьма Гаврилович, себя народом считает. Так разве ж он самому-то себе враг?! Разве такое возможно в природе? — закричал, заверещал бывший учитель.

— А предатели, которые с немцами заодно? — спокойно поинтересовался Орлов.

— Предатели? Не знаю таких. Мы таких не видели! — сердито отпарировал очкарик.

— Не видели? Увидите...

— В семье не без угода, — вздохнул Перга.

— Прошу передать мне гитару! — отчеканил вдруг Орлов.

Никто ничего не понял. Старики завертели головами туда-сюда. Дамочка в берете, как ребенок предстоящей забаве, заулыбалась словам Орлова. Мартышкин, стиснув губы, полез на стол за спичками, якобы желая закурить, хотя в келье накурено не было и занимались этим скорей всего в коридоре.

— Слюсарев, протяните мне гитару, — уже мягче, без металла в голосе, повторил Орлов.

— Ну, чаво ты, Лампий, али аглох? — прошипел Устин сыну.

Слюсарев осторожно, как новорожденного, протянул гитару «генералу». Орлов принял инструмент. Обратил внимание, что средняя, седьмая, струна отсутствовала. Положил пальцы на лады, взял первый аккорд.

— Две гитары за стеной жалобно заныли... Предателей они не видели... — заговорил сам с собой Орлов, зловеще улыбаясь и не переставая наигрывать «Цыганскую венгерку». — Век прожили, а такой прелести не коснулись... Позавидовать можно. Поговори хоть ты со мной, подружка семиструнная... Подлецы — они всегда тишком, тайком... шуршат. Всегда из-за угла. Им никогда не выйти на середину, не ударить шапкой о зем-

лю, не схватиться с противником грудь о грудь... Так-то. — Орлов перевернул гитару струнами вниз, несколько раз встряхнул инструмент. Внутри гитары что-то брякало, колотилось, какой-то предмет посторонний.

Раздвинув пальцами струны, Орлов извлек из гитары странное изделие, отдаленно напоминающее револьвер. Это была самоделка, так называемая «поджюга», из которой после определенных манипуляций можно было произвести выстрел. Орлов подкинул на ладони оружие, словно взвешивая его.

— Так-то вот, граждане старички. Идейные, патристически настроенные дедушки. — Орлов поднес отверстие ствола к своему носу, понюхал. — Свежее быть не может! Оказывается, вот из чего стреляли... Из какой адской машинки.

— Баловство! — закричал Устин, и лицо его приняло малиновый оттенок. — Баловство без никакого умыслу! Могу подтвердить под присягой... Похвастал паря: сейчас, грит, война, хочу — чай пью, хочу — в людей стреляю! Открыл фортку, коробком чирик! — и бабахнуло... Баловство! А не враги народу, не предательство... Все тут свидетели тому. Кого хошь спроси.

— Баловством занимаются до шестнадцати лет. А этому шалуну под тридцать. Отвечай, Мартышкин, почему по моей машине стрелял?

— Случайно, начальник... Век свободы не видать! Если не так говорю... Сам понимаешь: война. Вот и смастерил. Немцы придут — чем от них отмахиваться буду? Не верили мне дедушки, что выстрелит, вот я и спробовал...

— Врешь, Мартышкин. Глаза воротишь. Специально по машине бил. В меня целил. Досадить мне хотел...

— Обижаешь, начальник! Никого там не было, в машине. Слову не веришь! Зуб даю! Вот... на! Бери, гад! — Мартышкин засунул пальцы себе в рот и начал что-то расшатывать там. Затем демонстративно бросил на газету тяжелый стальной зуб.

— Врешь, Мартышкин, подлая душа... Комедию играешь. Сам проговорился: в машине, дескать, никого не было. Значит, целился, разглядывал, что к чему...

В это время на дворе затарахтел двигатель автомашины. Орлов дернулся в сторону окна, затем передумал,

— Ладно, Мартышкин. Дыши дальше. Но предупреждаю: еще раз обманешь... Или натворишь чего подлого... Уши надеру! При всех. Наждачной бумагой. Самой крупной. Счастливо оставаться! — махнул Орлов собравшимся и, держась стенки коридора, в непроглядной темноте побежал к выходу, к свету. На шум машины.

Оказывается, это Бархударов в райкоме забеспокоился. Пять часов. Приехали красноармейцы, как было назначено. А Орлова нет и нет. Милиционер Бочкин видел, как полуторка «генерала» проскочила в монастырские ворота. Тогда и решили послать в крепость гонца на армейском грузовике. Сам Бочкин и поехал.

Долговязый и тощий, правильнее сказать, худой этот человек страдал язвенной болезнью. Бархударов в райкоме, когда чай пили, успел рассказать Орлову, что у Герасима Бочкина в городе престарелая, хворая мать... Ну, в чем душа держится. Короче говоря, последние денечки отсчитывает на белом свете. Вот Герасим и остался, не эвакуировался. А мог бы вполне со всеми умотать.

Было Бочкину около сорока лет, а выглядел он на все пятьдесят. Лицо в складках, кожа серая, возле глаз крупные, веером сборки. На лбу четыре черные трещины-морщины. И только большой, обвисший нос неровностей не имел и торчал на лице, словно приставленный к нему не так давно и случайно.

Роста он был с Орловым примерно одинакового. Но как же они отличались друг от друга! Темноволосый, с сильным, как бы вырубленным из мягкого камня, белым лицом Орлов и сивенький, сморщенный, скукоженный болезнью Бочкин в милицейской плоской «фураньке». Но у Герасима была — улыбка. Как раз то, что отсутствовало у Орлова. И появлялась эта мученическая улыбка на лице Бочкина очень даже часто. Потому как была его лицу весьма необходима. Улыбка делала внешность Герасима как бы «приемлемой к употреблению». Улыбка эта не рисовала лицо Герасима красивей и благородней. Она его оберегала от насмешливых взглядов, словно ангел-хранитель. И еще Бочкин, как бы сдерживая свою улыбку, все время покашливал в кулак. Но

гримаса непременно как бы выскальзывала из кулака и тут же расплывалась по лицу.

— А мы за вами, товарищ, гыхм, Орлов. . .

— Бегу, Бочкин, бегу. Сейчас только стекла из кабины выброшу. Разбили мне лобовое, Бочкин. Хулиганы. А ты смотришь. Это, между прочим, сугубо твое дело, Бочкин, — хулиганов вязать.

Стекло вывалилось не все. Левая его половина, как раз где было место шофера, уцелела и довольно-таки прочно держалась в раме.

Орлов побросал осколки с капота на булыжник. Открыл кабину. Извлек оттуда еще несколько осколков.

— И кто же это, гыхм, пакость такую исделал? — Бочкин явно расстроился, затоптался вокруг машины, обнюхивая ее и сгибаясь при этом в три погибели. Он даже кобуру на ремне потрогал несколько раз. — При наших-то, гыхм, я бы его, паршивца, враз обнаружил. А сейчас ищи ветра в поле. . .

— Говоришь, «при наших», Бочкин? А мы с тобой разве не наши? Здесь, Бочкин, все наше! Раз и навсегда. Заруби ты себе. . . И другим передай. Наше! Земля, воздух, люди, трава, камни — все наше, кровное, костями народа удобренное!

— Да я, гыхм, к слову. . . Оговорился. Неужто я не знаю, что наше, а что чужое? . . До войны, короче, я бы того хулигана запросто обезвредил. А сейчас, гыхм, некогда. Один я на весь городок. А товарищ Бархударов непременно возвращаться велели. . . Беспокоятся шибко, — не сдержал плакучей улыбки Герасим.

Красноармеец-шофер, который привез Бочкина, нетерпеливо библикнул.

— Поехали, Герасим. Не переживай за хулигана. . . Я его сам стреножу. Если понадобится.

Стуча подкованными сапогами, Бочкин, как страус по саванне, высоко поднимая ступни и чуть отжав назад плечи, побежал к машине, что стояла у дверей типографии.

Изрядно стемнело. В здании райкома окна были завешены одеялами, красными торжественными скатертями, клеенками. У крыльца стоял боец с десятизарядной

полуавтоматической винтовкой. Приглядевшись, Орлов узнал в бойце того самого, что заговорил с ним у аэродромного шлагбаума. «Смотри-ка, — приятно удивился Орлов, — часовых поставили. Порядочек...»

В помещении необычнолюдно. Свет подавался от керосиновых ламп. Четверо красноармейцев на кухне читали «орловскую» газету, курили махорку. Ее кондовый, деревенский аромат плавал по всему дому.

В комнате с решеткой и сейфом, где ранее покончил с собой немецкий лазутчик, теперь «жил» укротитель Туберозов. Он так и сказал, отвечая на приветствие Орлова:

— Спасибо, драгоценнейший, у меня все хорошо! Живу в комнате. И совершенно один. Отдыхаю, можно сказать. В Москве-то у меня в такой щели одно время пятеро размещались. Так что — благодарствую...

— Перебираться необходимо отсюда, товарищ Туберозов. И сегодня же... Здесь опасно. Опаснее, чем где-либо. Ступайте в монастырь. Там есть брошенные комнаты-кельи...

— Ну, знаете ли! Кельи... — Туберозов даже обиделся. Но тут Орлов заспешил навстречу Бархударову, и цирковой артист с достоинством удалился к себе в комнату-сейф.

Маленький сухонький Бархударов, все в том же, до пят, брезентовом плаще, вышел навстречу Орлову, держа в руках зажженную керосиновую лампу-трехлинейку.

— Смех смехом, а я уж подумал: не случилось ли чего? А за газету спасибо! Ко времени... Однако волновался за вас и прочесть не успел.

— Да что вы тут паникуете, дорогой?! На двадцать минут каких-то задержался, а вы уж тут с лампой бегае как угорелый.

— К мысли привык... Что вы рядом... С вами сподручней как-то. Тишина, знаете ли, в городке... И, вообще, соскучился без вас. Смех смехом, а немцев второй день нету. Сколько их ждать можно? Я так считаю, что переезжать нам из этого дома необходимо. Вглубь надо рассредоточиться. Иначе нас тут в любой момент похвалят. Сонных.

— А вы не спите, товарищ истопник. На войне спать одним только глазом разрешается. Другим глазом необходимо бдеть. А если серьезно, то в ваших предложениях

несомненная истина. Перебираться нам отсюда нужно. И — сегодня же.

Они прошли в кабинет с длинным столом. Орлов отобрал у Бархударова лампу, поставил ее почему-то на пол. Посадил мягким нажатием руки Бархударова на стул возле себя. Заговорил:

— Да-а... Не слышать немцев. Я вам рассказывал, что выставлены заслоны?

— Красноармейцы передали...

— При появлении вражеских войск — ракеты! И, естественно, пальба. Затем по проводу армейскому, полемому, о тревоге узнаёт на аэродроме лейтенант и нажимает свою кнопку. После чего взлетает на воздух склад с бомбами. А сейчас — операция «Спиртзавод». Кстати, — посмотрел Орлов на часы, — Лена движок запустила! — Он торопливо поднял телефонную трубку, уловил гудок, и лицо его потеплело. — Лена? Это Орлов. Как ты там? Все в норме? Ну, тогда через десять минут глуши. Утром на связь в девять. Вызови мне Воробьева! До завтра.

Лейтенант обрадовался Орлову не менее Бархударова. Но «генерал» постарался умерить восторг юноши. Он подтвердил прибытие красноармейцев. И положил на рычаг трубку.

— А теперь самое главное, товарищ истопник, — повернулся Орлов к Бархударову. Свет лампы с пола обдавал лицо Орлова неровными волнами. Лица Бархударова не было видно вовсе: на него ложилась густая тень от «генерала». — Сегодня же, безотлагательно, — заговорил после паузы Орлов, — наисекретнейшим образом провести собрание тех... кому ты доверяешь, Бархударов.

— Как раз у меня по плану...

— Я не знаю, что у вас по плану. Я хочу, чтобы при мне собрались патриоты городка. Я хочу поговорить с ними. Увидеть их глаза... Пожать их руки, Бархударов. Пойми, голова, я скоро уйду в Москву. У меня свое задание. А потом — это же праздник: увидеть хороших людей! Не обижайся, Бархударов. Я и на тебя смотрю с большим удовольствием. Но хочется большего. Еще людей хочется... Или у тебя нету — еще?

— Есть.

— Ну вот и договорились. Только где увидимся? Здесь ни в коем случае нельзя. Закрывается эта контора.

Не сегодня, так завтра. Но непременно. Пусть в ней Туберозов живет. Дождется гадов, чтобы потом их укрошить.

— Смех смехом, а есть у меня домик. С приличным сухим подвалом. И выход из него нутряной, подземный. На огороды к ручью. Вас туда Герасим Бочкин проведет. После «операции». Если не секрет, то, как я понял, речь идет о нашем спиртзаводе? А ведь он заминирован был и подлежал уничтожению. Ума не приложу, почему не состоялась ликвидация?

— А вот мы его, Бархударов, и ликвидируем. Доволен? Видишь, я хоть и транзитный, прохожий человек, а интерес соблюдаю. И не какой-нибудь, а государственный интерес! А ты — «ума не приложишь». Тут свои личные руки с динамитом нужно приложить. А не какой-то абстрактный ум. Иначе сей весьма симпатичный объект целиком и полностью перейдет в руки чужие. Газету расклеили?

— Обязательно! На всех привычных местах, где она прежде висела. И еще кое-где. Сверх того. И словно в городе населения прибавилось сразу... Зашевелился народ. А стемнело, такую картину в окошко наблюдал: напротив райкома кто-то с фонарем керосиновым полчаса у газеты маячил. Пока, видать, всю не обработал... Смех смехом, а вы это здорово сообразили. Какой-никакой, а печатный орган. Потому как буква, которая типографским способом на бумаге изображена, для человеческого глаза — одно удовольствие: внушительно выглядит! А сейчас так и вовсе как глас божий газетка эта восхитительная!

— И еще... О самоубийце. Как вы объясняете посторонним эту смерть?

— А никак не объясняю. Не было посторонних. Смех смехом, а Миколка-калека, разве он посторонний? Буденновец... Воспрял он духом ужасно. В мирное время погас почти. А сейчас опять возгорелся! Для общего дела. Ну, а Бочкин Герасим, сами понимаете... Кому ж тогда и зарывать покойников, как не ему. Единственный блюститель порядка остался.

— А Туберозов?

— Туберозов покойника за ногу держал. За вторую — Миколка. А мы с Герасимом — за руки. Смех смехом, а тяжелый бугай этот лазутчик. Туберозову с Мар-

тышкиным я про бомбу наплел: дескать, осколок с площади прилетел, и... нет гражданина. А Бочкину, сами понимаете, и вовсе безразлично, от чего человек смерть принял. Его забота: с глаз убрать. Зарыть, и дело с концом.

— Ну, и... зарыли?

— Обязательно! В деревянном сарае. И чурок березовых навалили. На могилку. Аккуратным образом. Так что смех смехом, а одним, стало быть, фашистом меньше на белом свете.

— И никто не удивился, что труп в сарае решили похоронить, а не на кладбище?

— Туберозов было заикнулся, да вовремя сообразил, что я ему не отвечу на вопрос.

Условились, что в райкоме после операции «Спиртзавод» Орлова будет ожидать Бочкин, который и отведет «генерала» на конспиративную хату.

Красноармейцы погрузили на машину три ящика с «мылом» (так они окрестили двухсотграммовые куски тола), расселись на эти ящики в кузове полуторки. Орлову, чтобы командовать операцией, пришлось опять втискивать себя в кабину.

Полностью так и не стемнело. С востока, оттуда, от Москвы, словно внеочередная заря, висело между небом и землей широкое беспокойное зарево, пульсирующее и пронизанное отдаленными звуками.

К ночи опять несколько подморозило, так что окрепшая грязь на дороге заметней, чем днем, подбрасывала кузов машины, медленно, с потушенными фарами пробравшейся в северную, противоположную от аэродрома, сторону городка. Это был нежилой, казенный район, где по бокам дороги лепились складские помещения, конюшни, мастерские, пустырь стадиона. Высокий и светлый забор спиртзавода начинался на самой окраине.

Подъехали к проходной. Ни огонька, ни проблеска.

Выручил шофер. Развернув машину лицом к заводу, он включил дальний свет.

И тут прозвучало несколько коротких автоматных очередей. С территории спиртзавода. Шофер успел потушить фары. «Ложись!» — закричал Орлов. Легли в ка-

наву за полуторкой. Орлов провел краткий инструктаж.

Необходимо взорвать данный заводик. Чтобы он немцам «шнапс» не производил. Что получается? А получается, что на территории завода враждебные нам вооруженные люди. Скорее всего — немцы, десантники. Это они из «шмайссеров» били. Однако завод все равно взрывать будем. Необходимо хотя бы котельную заминировать. Какие имеются предложения?

— Раз надо, значит надо...

— У кого десятизарядка?

— У Лапшина!

— Ты, Лапшин, со мной вместо пулемета будешь. Однако без разбора не трещи... Экономней действуй. Пойдем в разведку.

Орлов с Лапшиным бесшумно и очень долго пробирались вдоль забора. Затем и вовсе притихли, затаились. Орлов слушал ночь.

Какие-то звуки он определенно улавливал за оградой. Но звуки скорее мирные, нежели воинственные. Кто-то наборматывал песню, вернее подвывал... Мяукала кошка. Ветер скрипел жестянкой. Иногда на лицо Орлову, словно летняя мошкара, садились сухие редкие снежинки микроскопического размера.

— Полез я, Лапшин. Следи! Если тихо, тогда я тебе в забор постучу. И — за мной!

В результате на территорию завода перебрались благополучно. На фоне далекого зарева железная труба котельной и кирпичная коробка завода своими контурами хотя и призрачно, зыбко, но все же просматривались. По заводской грязи ползти не решились. Шли, низко низко пригибаясь. Внезапно кто-то душераздирающе завопил:

— Р-ревел-ла бурря!

Орлов замер, стоя на четвереньках, а красноармеец Лапшин так весь и ляпнулся плашмя в лужу, «подстелив» под себя десятизарядку.

— Похоже, выпивши кто-то, товарищ Орлов... — прошептал из лужи Лапшин. — Наши это. На немцев не похожи...

Стоило ветру несколько изменить направление, как тут же потянуло густой кислятиной. Запахло перебродившей бардой.

— Вставай, Лапшин. И перебежками — к заводу.

Примерно на третьем броске под ноги Орлову выползло тело, передвигавшееся по-пластунски. Пришлось с размаху рухнуть так, что шинель на голову сзади ползла.

Перемещавшийся на животе человек, как змея, приподнял рядом с лицом Орлова лысую плоскую голову и надрывно, тенором пропел:

— Во мр-раке мол-лни-и свер-ркал-ли!

Должно быть, в чанах и цистернах предприятия что-то еще плескалось, что-то еще бродило, пузырилось. Отсюда и — ползающие. . .

«А вот кто стрелял?» — не выходило из головы Орлова.

Сверкнул выстрел. Орлов и Лапшин быстро легли на землю. Опять наступила невероятная, бездонная тишина. И только где-то в ее глубинах, как бы за миллионы километров отсюда, продолжали свое ворчание пьяненькие мужички, да еще дальше, со стороны зарева, переламывала землю и воздух несколько притихшая к ночи война.

И вдруг — побежали! Не двое, не трое, а много людей. И опять ночь продырявилась вспышками выстрелов.

— Не стрелять. . . — улыбнулся Орлов Лапшину, приручая себя той улыбкой к страху, который наркозом смертвил кончик языка. — Они убежали, Лапшин. Двигаемся.

Поползли и тут наткнулись на тело человека в немецкой каске. Человек лежал на спине. Мертвыми руками вцепился он в холодную сталь автомата, держа его на неподвижном животе.

Орлов потянул к себе оружие, но ремень, закинутый за голову, не пускал «шмайссер».

— Подними-ка, Лапшин, ему голову!

— Так. . . перемажусь я в нем. . .

— Поднимай! — выдохнул яростно Орлов. И Лапшин поднял. — Вот так. . . А ты, дура, боялась.

— Бежим, Лапшин! — рванул красноармейца за ворот шинели, и они пронеслись десяток шагов, высоко задирая ноги. Ударились в какую-то дверь. Дверь тут же распахнулась, и они посыпались куда-то по бетонным ступеням.

Стало по-настоящему, неподдельно, беспросветно

темно. Чиркнуть бы спичку, но тогда пулю из темноты получить можно. Самому попробовать напугать невидимку предполагаемого, выстрелить во мрак — свою же пулю ртом поймать не мудрено: отрикошетит, и лечись тогда...

Полежали так недвижно минут пять. И Орлов решил рискнуть. Высоко и чуть в сторону от себя поднял коробок с прижатой к нему спичкой, двумя пальцами резко выскреб из коробка огонь. Тишина...

В подсвеченные спичкой секунды успел разглядеть два холодных котла с открытыми настежь дверцами топок. Сверкнуло стекло манометров и водомерных шкал. Орлов отослал Лапшина к машине за красноармейцами и взрывчаткой. Они пришли минут через пятнадцать, тяжело дыша под ящиками с «мылом».

Взрывчатку сложили промеж котлов в узкий такой коридорчик. Чтобы уж наверняка покурочило технику. Орлов смонтировал заряд. Десятиметровую мотушку шнура, поразмыслив, уполовинил финочкой.

— А сейчас уходите... — сказал красноармейцам. — Все до единого! И ждать меня у машины.

Взрыв был как взрыв. Нормальный. Кое-что долетело и до дороги, и даже за дорогу перелетело. С шуршанием, шипением, а что помельче, так и со свистом! Там, где на фоне далекого зарева прежде просматривалась заводская труба, теперь ничего не было... Значит, все правильно.

Когда полностью восстановилась тишина, со стороны завода, словно с того света, раздалось упрямое, несгибаемое:

— Р-ревела бур-рря, г-р-р-ом гр-ремел!

— Живой... — ласково прошептал Лапшин. — Это который со мной давеча пререкался.

Орлов, залезая в кабину и складываясь, как перочинный ножик, ударился подбородком о ствол трофейного автомата и тут только вспомнил, как неожиданно «разбогател», приобретя на спиртзаводе «шмайссер». На бывшем спиртзаводе!..

В райкоме Орлова ждал переодевшийся в гражданское милиционер Бочкин. На голове серенькая кубанка. Изнуренный болезнью костяк Герасима прикрывало тя-

желое зимнее пальто с таким же, как кубанка, сереньким воротником.

Орлову нужно было отпустить красноармейцев с полуторкой. В кабинете в ящиках длинного стола отыскал он огрызок карандаша. На клочке бумаги написал Воробьеву записку: «Со взрывом повремени. Используем его эффективнее, когда «гости» пожалуют. Орлов».

Красноармейцы уехали. Герасим недвижно, столбом стоял в коридоре райкома, поджидая «генерала». Орлов вышел из кабинета, держа керосиновую лампу перед собой. Он уже собирался дунуть в отверстие стекла, когда в глубине здания жалобно заскрипели дверные петли и в коридоре возник заспанный, в дыму буйных волос Туберозов. В темноте огромный пористый нос укротителя сделался как бы еще больше. Туберозов вынул из темноты свою левую руку: в ней оказалась громоздкая курительная трубка, набитая «целебными» травами. Циркач поднес трубку с сеном к ламповому стеклу, стал высасывать из лампы огонь. Запахло горелой степью.

— Послушайте, Туберозов... Мы уходим. Все уходим. А вы дурака валяете! Прописались тут... Ночью немцы могут нагрязнуть.

— Ночью немцы спят. Культурные, обязательные люди...

— Смотрите, а ну как разбудят? Что вы им скажете? Здесь вам не Госцирк...

— Я устал. А здесь тепло... Сухо. Кресло мягкое. Скажу, что я сторож, вахтер... Полы мету, окурки выбрасываю.

— Вы серьезно?

— В моем положении нельзя серьезно. Я и жив-то, можно сказать, благодаря своей несерьезности. Да начни я теперь серьезно, разве оно выдержит, сердчишко-то? Серьезно я только укрошаю...

— Оружие у вас есть?

— Для чего оно мне? Мое оружие — это мой талант. Я знаю движения, пассы, звуки, которые смиряют и даже усыпляют...

— Ладно... Живите, как можете. Но завтра я вас эвакуирую. Отправлю в Москву. В принудительном порядке.

— До завтра нужно дожить, драгоценнейший.

— И то верно.

Вышли в ночь. Когда спустились с крыльца, Герасим Бочкин, молчавший все это время, вдруг заговорил, покашливая в кулак:

— Подозрительный, гыхм, человек.

— Ты о ком? О Туберозове?

— О ком же еще? Он тут нагляделся на нас. Что надо — запомнил... Покойника он тоже помогал зарывать. Много знает, гыхм!

— Что ж нам его теперь — застрелить? А, Бочкин? Нет, Бочкин, Туберозов не враг. Туберозов — пожилой, уставший человек. И очень невоенный... Он всю жизнь выступал в цирке. И сейчас выступает. По инерции. По сравнению с нами, Бочкин, Туберозов как бы ненормальный, придурок. Но это не так, Бочкин. Он — дитя. Его искалечил талант. Да. Он рос и развивался исключительно в одну сторону. В сторону зрителя, Бочкин. В сторону успеха, аплодисментов. И для войны такой совершенно не пригоден. Его или растопчут сразу, или... если разглядят в нем ребенка, начнут им забавляться.

Возле райкома стояла полуторка с разбитым лобовым стеклом.

— Я так понимаю, Герасим: до места, куда мы с тобой направляемся, на машине ехать нельзя, от машины шуму много. Прoberемся туда на цыпочках, аккуратно-ненько. Опять же, бросать на улице технику, которая на ходу, тоже негоже... Куда бы ее определить, Бочкин? Может, в монастырь? Нельзя. Там по ней уже стреляли. А за ночь и вовсе раскурочат.

— А если ко мне... гыхм, в сарай? У меня там ранее — тонсь у бати моего — линейка с конной тягой стояла. А теперь, когда лошадка, гыхм, давно умерла, в сарае одна тележка стоит.

— А влезет туда грузовик?

— Поместится. Не ероплан...

— Тогда поехали к тебе.

Свернули с главной улицы на улицу поменьше. Затем в проулок. Побуксовали малость в тупичке перед покосившимися воротами Герасима. Кое-как, задом втиснулись на сухой, некогда мощный, дворик.

Бочкин в свете фар отставил кол, подпиривший дверь сараюшки, распялил створки, подложив под них по кирпичине, чтобы не закрывались. Затем, как лошадь, встав в оглобли, попытался вывести из сарая старинный эки-

паж, представлявший собой обитую клеенкой скамейку на колесах.

Из кабины выбрался Орлов, отобрал у Бочкина одну оглоблю, и они вместе, поднатужившись, выдернули телегу из векового сарайного хлама.

Полуторка уместилась в сарае запросто. Двери притиснули матерым чурбаном, на котором Бочкины еще до революции кололи дрова. Для надежности поставили поперек входа в сарай и телегу.

— Я на секунду, гыхм, в дом зайду. На мать гляну. Вас не приглашаю, потому как... невесело там.

— А ты дозвожь. Мне, Бочкин, интересно знать, где ты обитаешь.

Жил Бочкин в деревянном домишке, а вернее будет сказать — в городской избушке. Все как в деревне, разве что окна размером побольше да русской печки не было. Вместо нее плита на кухне, а в комнате — круглый стояк, обернутый гофрированным железом.

В дальней, задней, теплой и покойной половинке домика умирала, по словам Бочкина, его старенькая мать.

Сейчас здесь возле кровати с никелированными шариками, на которой возлежала маленькая румяная старушка в тополином пухе волос, на жестком, из гнутаго дерева, венском кресле спала и, видимо, только проснулась вторая, не менее румяная старушка, несколько больших размеров, чем родительница Герасима.

— Герасим, сыно-ок! — запела голосом плакальщицы бабушка из глубины кровати. — Да и чего ж ты мать свою обижаешь напоследок? Неслухмянный како-ой...

— Да что вы, мама, гыхм, бунтуете? У меня решение такое: остаюсь. И не из-за вас вовсе... Ни одного милиционера в городе. Разве такое можно допустить? Подежурю, пока немцев нету. А там, гыхм, видно будет...

— Это он из-за меня, Гавриловна! Не верь ни одному слову его. Чаво ты боисся, Герасим? Ну, пожила я, попила-поела вкусно. И помирать впору. И добро бы так. Ан нет же! — Старуха откинула с ног одеяло, засуетилась, засучила ногами. — Ан нет же! Гавриловна, тапки мое посунь... Посунь к ногам, тебе говорю! Так вот же, глянькось! И не подумаю помирать. Я тебе «барыню» сейчас сдроблю, сынок... И-ех! — И пушистая, в ночной

рубашке до пят, с огненным румянцем на мясистых еще, хотя и морщинистых щечках, пошла бабка в пляс, зато пала ногами на сына, а потом повалилась с тоненьким смехом на Гавриловну.

Схватив болящую в теплые, еще крепкие объятия, Гавриловна легко приподняла подружку и бережно положила на кровать, крикнув при этом, как заправский грузчик.

В Гавриловне Орлов еще в первые мгновения узнал ту, обметавшую крылечко старушку, с которой заговорил при входе в городок.

— Познакомься, мать. Это, гыхм, товарищ Орлов... Генерал.

— Батюшки-светы! — запричитала мамаша Герасима, а Гавриловна, закинув под платок выбившиеся седые пряди, туго стянула под подбородком ситцевые концы.

— А я, поди-ко, знаю твоего генерала, Гараська, — повела плечом Гавриловна. — Знакомые мы с ним. Али не так, гражданин генерал?

— Так, Гавриловна, так. Ночевать пустишь, не раздумала?

— Тебя не пусти...

— Да батюшки... Да откуда теперь егералы? Да что же он — царской, поди, егерал-то? Откуда ты его, Гарасим, спроворил? Да молодой-то, молодой... Да рази таки егералы бывают?

— Ну, чего испугалась-то, мать? Не скажи, говорю, гыхм! С кровати навернесси...

— Да откуда ты яво... Ты-то откуда с ним спознавши, Гавриловна?

— Постоялец мой. Вот откуда. И не крутись, и то прав сын-то твой. Веретеном одеялку-то ссучила... Болеешь, так болей. Осторожней. Без ягозенья. А то как бы сын-от твой, Гараська, не передумал... Наглядится на твои пляски — и давай бог ноги! Уйдет в Москву. Мы тут с ей, — обратилась Гавриловна к мужчинам, — по наперстку глонули. Травки, зверобой. От гнету в сосудах... Страшно, сыночки... Война. Неужто немец придет, не споткнется где на дороге? Зачем он тут нужен? Все бы убивать, изводить друг друга... А за что? Почему? Тако тихоноcko жили... И вдруг на-кося тебе — война!

— Ладно, Бочкин, пошли, уходим. Ждут нас...

— Да куды ж вы?! — запела мать Герасима, сверкая ошалелыми глазками и, в общем-то, живя, а не умирая.

— Я, мать, гыхм, не долго... Ожидай. Один я на весь город. Блюститель...

Мужчины, как по команде, согнулись перед низкой дверной притолокой, Орлов, не разгибаясь, сказал: «До свидания!» Вышли во двор.

Орлов подхватил Бочкина под локоть. Так они и пошли во мраке — длинные, в чем-то одинаковые и такие различные: один — пружинистый, тренированный, несший себя играючи по белу свету; другой — вихляющийся, слабый, колотящийся об Орлова.

— Так говоришь, умирает матушка?

— Как видите, гыхм...

— Не шибко-то умирает.

— Эт-то она, гыхм, с перепугу. Увидела вас и зачесалась...

— Занятные старушки... — задумчиво произнес Орлов, ступив в воду чуть ли не по колено.

— Держитесь за мной, товарищ, гыхм, Орлов... Тут колея раздолбана.

Наконец вышли на какой-то огород или сад. В ограде нашли лазейку. И только Орлов сделал шаг по огороду — на грудь ему легли мощные грязные лапы тяжелой собаки. Пасть раскрылась у самого носа «генерала». Из утробы животного пахло тухлятиной. Собака молчала.

— Цыган, Цыган! — позвал Герасим.

Собака переметнулась к Бочкину, затем, низко, басом заскулив, грузными, звучными скачками понеслась в глубь сада, где и забрехала хрипло, с надрывом, должно быть уже возле дома.

— Кого это бог несет? — спросили женским голосом.

— Свои покеда... — ответил Герасим.

— Ты это, Бочкин? Заждались... Кыш, Цыган! Место! Ходите сюда...

На ощупь, держась тихого голоса женщины, поднялись на крыльцо. Вошли в дом. В большой комнате мерцала на столе тщедушная коптилочка, дававшая не свет, а как бы мираж, сон, бред свечения...

Женщина ушла за перегородку. С кем-то пошептала. Чем-то поскрипела. Затем вернулась — маленькая, легонькая. Взяла Орлова за руку и, как первоклашка, повела дядю куда-то в дебри помещения.

За второй перегородкой, слепая, без окон, возникла комнатка, ярко освещенная двумя керосиновыми лампами. Вдоль стен — лавки. Посередине — стол. Чем-то помещение напоминало келью Слюсарева. В довершение сходства на столе пыхтел самовар. Правда, не белый, как в монастыре, а красной меди. Начищенный до лунного сияния.

Народу — пять человек мужчин и одна девушка. Лена!

Девушка неумело притворялась, что не знает Орлова. Сидела серьезная, смотрела прямо перед собой на стенку, где висел портрет Ворошилова.

На лице Орлова за день, проведенный в городке, выросла заметная щетина. Обозначились усы. И в этой щетине при взгляде на Лену вспыхнула, заиграла вдруг белозубая улыбка.

Бархударов сидел без своего тяжелого плаща, в синей сатиновой косоворотке, подпоясанной черным шелковым шнурком с кистями. И еще тут был Миколка. Инвалид гражданской войны. На деревянной ноге. Дядя подонка Генки. Миколка этот при свете оказался очень изящным: выбрит, в белой рубашечке, остатки волос аккуратно разложены по лысине. Да и все остальные граждане выглядели по сравнению с Орловым франтами, если не именниками.

А Герасим Бочкин, сняв гражданское пальто и кубанку, все-таки оказался в милицейской форменной гимнастерке и галифе. И в ремнях весь. При кобуре с наганом. Прямо карнавальная ночь какая-то!

Трое незнакомых Орлову мужчин встали при его появлении. Как школьники за партой. В общем-то, мужчины они были — даже вовсе не мужчины, а дедушки... Лет по шестидесяти. Не менее.

Бархударов представил собравшимся Орлова.

— А это, — повел Бархударов широким сатиновым рукавом, указывая на дедушек, — это вот товарищи Клим, Арсентий и Ваню. Из соображений конспирации, стало быть, — клички. Смех смехом, а иначе нельзя. И вот что,

Герасим, последний раз чтобы в форме тебя видел. Спрячь, зарой ее, а еще лучше сожги. Немцы придут...

— А вот когда, гыхм, придут, тогда и переоденусь. Может, они и не придут вовсе. Может, им наш городок без надобности...

— Глупости говоришь, Бочкин. И вот что еще, товарищ Орлов... Команда у нас хоть и неказистая... Люди необычные.

— А товарищи знают, чем они рискуют?

— Мы не робяты — в войну играть! — строго сказал за всех один дедушка, тот, который носил кличку Ваню.

Орлов высвободился из шинели. Остался в гимнастерке габардиновой, в темно-синих галифе. На груди орден Боевого Красного Знамени.

— Это как же... — раздавил в глиняной пепельнице огромный окурочек козьей ножки старик Арсентий. — Это что же... Довоенный будет на вас орденок?

— Довоенный, отец. «Монгольский».

— Вона как... Извиняйте, только вот спросить хочется... Почему, стало быть, в нашем городишке застряли? С такими-то знаками различия?

Орлов серьезным сделался. На старика внимательно посмотрел. Предложенный чай пить погодил. Глядя старику в глаза, медленно, с трудом вытаскивал из себя слова:

— Меня война далеко от Москвы застала. Но я не с пустыми руками ее встретил...

— Убивали, стало быть?

— Убивал, отец. А что, или грех?

— Грех-то оно грех... Да куды ж от него теперича денисся, от греха этого? Такая напасть на людей сошла: пострашней холеры любой... Вой-на-а!

И тут, словно из самовара выскочил, поднялся над медью начищенной резкий, жилистый Бархударов:

— Вот что! Смех смехом, а я сразу предупреждаю. Мы будем убивать. Кому такая специальность не подходит — прошу исчезнуть с горизонта. Сию же минуту! Придут, не придут немцы, а решение каждый должен принять заранее. С нас теперь любой грех — как с гуся вода! Потому как мы защищаемся. От нашествия...

— Золотые слова, Бархударов.

Бархударов потянулся к Орлову, поддерживавшему его, и... неожиданно засмеялся по-детски. И не верилось,

что такой миниатюрный человечек сможет кого-то вдруг убить...

— А, стало быть, как же мы действовать будем, сынок? — задал вопрос дедушка по кличке Арсентий. — На большу дорогу выходить... Этта мне уже... как же? Да голыми-то руками мне и курицу таперича не стиснуть...

— Достаточно, товарищ Арсентий, и того, что вы их ненавидите. Не признаете. Смех смехом, а доведется, так и стрельнете по ним, не пожалеете?

— Стрельну, знамо дело! Было бы из чего. Вот я сегодня газетку вашу расклеивал... — продолжал дед Арсентий. — Это как? Тоже действие? Хоша и не при немцах, но и не при наших уже... Люди по норкам сидят, а я наружу вылез...

— И правильно делаете... К борьбе нужно заранее готовиться, — поддержал Бархударов старичка. А следивший за разговором Орлов добавил:

— Да если вы, товарищ Арсентий, при немцах хотя бы одну листовочку на забор повесите, цены вам не будет! Но листовки листовками, а вооружаться необходимо. Когда буду уходить в Москву, я вам парабеллум один оставлю.

Миколка, скребнув деревяшкой протеза половицу, неожиданно поднял руку, как в школе.

— Слушаю вас, товарищ Мартышкин, — повернулся к нему Бархударов.

— Так что... мне пускай подарют. Парабел! Дедушкам и не поднять его.

— А ты не дедушка?! — вскинулся на Миколку Ваню. — Добрый молодец отыскался...

— Я в солдатах служил. Я по этому делу, стрелецкому, грамотный буду. Да я тебе, если попросишь, дам стрельнуть. Я не жадный. Так что — мне парабел, товарищ Орлов. Я его в деревяшку свою затолкаю: ни в жись не найдут! А понадобится, и выну...

Уходили по одному.

Прощаясь, Орлов задержал руку Лены:

— А ты почему не уходишь?

— А я здесь ночью, товарищ начальник.

— Ты что же, квартируешь у Бархударова?

— Мне его жена тетей доводится. Пойдемте, провожу вас на крыльцо.

Постояли. Помолчали.

Тьма на улицу наплывала густая, неразбавленная. Дальние сполохи поутихли, ступшевались. Видимо, и там, на переднем крае войны, ночь брала свое.

Лена стояла рядом с Орловым, незримая, словно и не было ее для него. Однако — руку протяни, и вот она.

— Спокойной ночи, Лена.

— Хорошо, спасибо... И вам тоже! Погодите, товарищ Орлов. Как вас мама, ну, ваша мама зовет?

— Сережа.

— Сережа... Вам не очень подходит. Вы, скорее, Петр. Или Николай. По крайней мере — Александр. А Сережа... Вы, товарищ... Сережа, непременно от нас уйдете? В Москву? Или это от обстоятельств зависит?

— Непременно уйду. Иначе нельзя.

— Жаль... С вами спокойнее.

— Мы еще увидимся.

— Неопределенно слишком... Хотите яблоко? Вот...

Орлов наткнулся на ее руку. Яблоко было огромное. Пальцы девушки лишь до середины обхватывали его, и яблоко держалось в ладони, как драгоценный камень в оправе...

— Антоновка? — Орлов надкусил твердую кислосладкую плоть.

— А завтра мы увидимся?

Орлов не ответил.

Едва Орлов сошел с крыльца, дожевывая яблоко, чуть впереди, в проулке замигал огонек сигарки, делаясь то ярче, то слабее... Потянуло махорочным дымком.

— Так что, гыхм, проводить велено...

«Смотрите-ка... Бочкин Герасим! А Бархударов заботливый. Хотя мог бы и у себя оставить. Даже не предложил. Или знал, что я с Гавриловной условился?»

— Я, гыхм, товарищу Бархударову сообщил, что вы у Гавриловны на постое... Соседка она мне. С ее сыном Васькой по всей округе груши-яблони околачивали.

Теперь шли гуском. Орлов как бы за веревочку, за едкий махорочный дымок, оставляемый Бочкиным, держался.

Тишина была невероятная. И еще потому, что дождь, которому надлежало идти в эту промозглую осеннюю ночь, переродился в бесшумный сырой снежок, обтекавший земные звуки своей мягкой, угрюмой оболочкой.

На земле, как и тысячи, миллионы лет тому назад,

происходило удивительное событие — жизнь. Никакие смертоносные катаклизмы — ни землетрясения, ни войны, ни наводнения, а также испепеляющие ветры — так и не смогли сбросить это чудо с лица планеты в бездну космического пространства. И Орлов, человек, дитя жизни, смотрел в черный воздух ночи бесстрашно. Ночь ласково трогала его лицо мягкими, легкими перстами снега, словно слепая, ощупывала его, узнавая...

Наконец вышли на маленькую улочку имени Льва Толстого. Заканчиваясь, эта улочка выбегала на шоссе, по которому Орлов вошел в город. Так что за день Орловым был совершен своеобразный круг, замыкавшийся на домике Гавриловны.

Ни одного святащегося окна. А ведь многие еще не спали. Десяти часов не было. Керосиновые лампы, свечи, лампадки горели внутри домов потаенно, так же как надежда на лучшие дни. И свет этой надежды, занавешенный от посторонних глаз, не просачивался наружу вовсе.

Бочкин впустил Орлова в калитку. Помог подняться на крыльцо. Привычно погромел щеколдой в двери. Гавриловна не заставила долго ждать. В ту же секунду за скрипела досками пола, выбила плечом забухшую внутреннюю «теплую» дверь. Жилой, домовитый воздух ударил из щелей тамбура, просочился на улицу, касаясь наставших лиц Бочкина и Орлова.

— И... кой-та?

— Свои, гыхм!

Гавриловна впустила мужиков. Однако Бочкин, потоптавшись в тамбуре, в дом не пошел, а повернул за порог.

— Стало быть, рядом я... Ежели зачем спонадоблюсь. Счастливо, гыхм, оставаться... — И, продубасив сапогами в ступени, исчез, как в море-океан сорвался.

— Ну, вот он и я, Гавриловна. Простить меня должна... За поздний приход. Дела.

— Темень, мгла, а у него дела! Да по таким-то ночам однеи разбойники трудятся. Проходи, сымай сапожища-та. На-ко вот чесанки испробуй, чай налезут: у Васьки мово ножища — сорок пятый! Сам себе колодку строгал для катая. Ну, как, чаво?

— Спасибо, влезло. У меня сорок четыре.

— Тоже ножка — не приведи господь! А и то, хоть

на мушшину похож. Куда ни глянь, разные шпендрики плюгавые. Ступай, ступай ко столу... Самовар два раза доливала, укипел весь... А ты, Ленюшка, спи, пострел. Не высовывайся, прошла твоя чередка. Вон, вона в занавеске глазенек серенькой! — приглашала Орлова посмотреть на подглядывавшего внука. — Кто по ночам не спит, у того голова из живой в каменну превращается. От тяжести.

У Гавриловны посередине дома, в отличие от Бочкиных, громоздилась настоящая русская печь, беленная и ухоженная, в занавесочках, в травках сушеных да пучках смолистой лучины. В черных печурках прятались — где рукавица подпаленная, где обмылок, а где и гриб сухой заваялся. Или коры-бересты свиточек...

Внучок Ленюшка находился на печке. Отогнув край занавески, жадно уставился он на незнакомого дядьку, ростом напоминавшего отца.

Свет в большой комнате исходил от малюсенького фитиля коптилки. Гавриловна сходила в сени, принесла оттуда лампу керосиновую. Засветила ее на столе, поближе к самовару. Совсем праздник получился.

— Еканомия теперь... с энтим делом, — кивнула на лампу. — Ну, да по такому случаю... Слязай, Ленюшка, гости у нас!

Последние свои слова Гавриловна произнесла каким-то совершенно иным, незнакомым не только Орлову, но и близкому ей Ленюшке голосом. Такой внезапный даже для самого себя голос люди держат где-то за семью печатями и вдруг — проявят! И так неожиданно прозвучит он, голос этот нечаянный, словно в другом регистре и на другом наречии. Так оно бывает: подопрет что-то хорошее или даже очень плохое и — прорежется... И люди оборачиваются на такой голос. И спящие просыпаются.

Светлоголовый загорелый Ленюшка оказался угрюмым, почти сердитым мальчиком лет десяти. Выцветшие густые бровки сдвинуты, губы сжаты, взгляд, налитый обидой, так и расплескивал возмущение.

— Ленюшка у нас городской. Московской... Каждое лето у меня. Молоком отпаиваю. А война сполучилась, и все по-другому. Василья, сынка мово, майором сделали и на фронт. Верочка пишет: Ленюшку не отправляйте. Потому что Москву бомбить могут. Пишет: сама к вам приеду. Да чтой-то не приехала. А намеднись Ленюшка

учудил: ранец на спину с сухарями и в Москву! На лиса-педо. Хорошо, не пустили добрые люди. . .

— Добрые! — зыркнул зелеными глазищами Ленюшка. — Человек к своим пробирается. Из окружения! А его берут и в. . . спину толкают! «Марш домой!» А мой дом в Москве! . . Гады! — поднял Ленюшка злые глаза на Орлова, словно тому и предназначалось ругательное слово.

Мальчик сидел аккуратный. В полосатой рубашечке, застегнутой на все пуговицы, в брючках и даже в начищенных ботинках.

— Это он вас ожидал. Вырядился. . . Как на елку.

— Вы командир? — не разжимая губ, поинтересовался Ленюшка.

— Допустим. . . — Орлов невольно потянулся пальцами к вороту гимнастерки.

— Понимаю. Конспирация. Возьмите меня с собой. Ведь вы в Москву пробираетесь?

— Вот ты злишься, Леня, что тебя не пустили. Нехорошими словами тех людей обзываешь. А ведь там стреляют, на шоссе. . . Убивают. И те, кто тебя не пустил под пули, они добра тебе хотели. Ты об этом не подумал?

— Хотели бы добра. . . Немцев бы до Москвы не. . .

— Больно ты прыткий! Сиди уж, не брызгай слюной! — напустилась на внука Гавриловна.

— Война, Леня, это такая сложная, такая страшная игра. . . У нее свои правила и. . . бесправье. Большие командиры руководят целыми армиями, фронтами. Иногда они выравнивают линии войск. И такие маленькие городки, как ваш, выпадают из поля зрения. Когда осуществляются большие замыслы, скажем спасение Родины, неизбежны жертвы. И чаще всего это — незаметные солдаты, маленькие селения. . .

— Знамо дело, лес рубят — щепки летят, — подтвердила Гавриловна.

— Значит, я щепка?! — вспыхнул гордый Ленюшка.

— Ты, Леня, частица огромной, непобедимой силы, которая схватилась в единоборстве с врагами всего нового, революционного на земле. Наша страна, Леня, дерзнула одна выступить за лучшую долю всех простых людей, всех этих «щепочек». . . Враг напал со спины, когда мы трудились мирно. Я так и вижу. . . В бескрайней степи идет за плугом широкоплечий богатырь Ми-

кула Селянинович. И тут падает ему на спину с неба стервятник. Рвет плечи когтями. А с земли шакал вонючую пасть оскалил. За ноги хватает богатыря. Оставил на мгновение плуг Селянинович, сорвал с плеча стервятника, шакалу ногой на хвост наступил... А потом сломал ему хребет тяжелой рукой. Закрутил стервятнику голову на шее в штопор, повесил грязную птицу на кол: пусть ветер ее качает, разнося по земле весть о гибели несправедливости...

— Сказки рассказываете... А может, вы шпион?!

И тут Ленюшка сорвал с гвоздя трофейный «шмайсер» Орлова.

— Успокойся, Леня. Ну какой же я шпион? У шпионов глаза бегают. Совесть не чиста. А ты в мои глаза посмотри. Разве такие шпионы бывают? Шпионы всегда настороже. Всегда разоблачения ждут, боятся. А я, посмотри, разве я чего-нибудь боюсь?

Мальчик судорожно вцепился в автомат. Глаза у Ленюшки горели. Весь он ошетинился.

Выручила Гавриловна. Сзади, как медведица, нагнувшись обхватила внука толстыми, тяжелыми руками. Стиснула вместе с автоматом.

Орлов разжал царапающиеся пальцы Ленюшки, потянул...

— Мое! — закричал Ленюшка.

И Орлов подумал о том, что с момента, как он вошел в городок, впервые, если не считать трюк, который с ним проделал Воробьев на аэродроме, — впервые к нему было проявлено такое яростное недоверие. И кем! Мальчишкой... Все остальные даже документов не спрашивали. Даже Бархударов. А Ленюшка, бесенок, чуть не пристрелил. По крайней мере — пытался.

Орлов отделил от автомата рожок магазина, заглянул в него и с запоздалым облегчением обнаружил, что в нем не осталось ни одного патрона. Все они были израсходованы еще там, на спиртзаводе, в перестрелке с диверсантами.

И все же в последний момент, когда Орлов потянул на себя выступ затвора, из щели выбрасывателя, как маленький зеленый лягушонок, выскочил и шлепнулся на пол один-единственный патрон, короткий и толстенький, с тупоносой невзрачной пулькой.

«Значит, мог...» — пронеслось в мозгу. Но рука тут же нащупала замкнутый предохранитель, и вновь отлегло: «Нет, не мог, стало быть...»

— От сатана! Да господи! Человека мог порешить! Да неужто тебе дядю не жалко, звереныш ты окаянный?! А ну, как бы ранил? Ужо я тебя кочергой!

— Рубашку запачкаешь. А стирать мыла нету. «Еканомия», — передразнил Ленюшка бабуку, открыто, без напускной хмури, улыбаясь Гавриловне, а заодно, вскользь, рикошетом, и военному дядьке.

Расслабив объятия, бабушка отпустила внука. Леня подобрал с пола выскочивший патрон, виновато потупившись и не переставая улыбаться, протянул его Орлову.

— Спасибо, — серьезно поблагодарил мальчика Орлов. — Этой вот пулькой... слона можно убить. Если в сердце попасть.

— А... Гитлера? — встрепенулся Ленюшка.

— Запросто. Даже двоих. Если гуськом их поставить. Одного за другим.

— Возьмите меня в партизаны!

— А ты у бабушки спросил? Пустит тебя бабушка в партизаны?

— Бабушка — женщина. А женщины всегда против драки...

— Драка ему нужна... Ах ты ж господи!

— Война, Леня, не забава...

— Знаю! Хватит поучать. Меня все равно не удержите!

— Согласен... Но прими от меня совет... Пожелание одно. С того дня, как немцы войдут, кепку на глаза надвинь. По самые уши. Чтобы никто твоих глаз не видел. Слишком они у тебя откровенные. Хотя о чем я?.. Какие партизаны, когда ты в Москву рвешься!

— А я передумал! Я остаюсь...

— Извиняйте, конечно... Но только нехорошо получается! Взрослый человек, а ребенку каку дурь поете! Подзадоривать на такое?!

— На какое? — спокойно улыбнулся Орлов.

— А на этакое!

— Ах, Гавриловна, Гавриловна... Я ж его не на смерть подзадориваю, а, может, как раз на жизнь!

— Умно говоришь-то... Только не война страшна, а злоба! Людей от злобы расперло! Без милосердия живем. Страх-то из сердца вытрясли. Перед кем трепетать, перед кем ответ держать? Неслухи...

— Зря вы так обо всех-то... Лично я, Гавриловна, хорошо знаю, перед кем мне ответ держать. За свое поведение. Перед народом, партией. Перед самим собой, наконец...

— Кабы все таки грамотные... А ты вот мне скажи: чего на земле больше — свету или тьмы?

— Примерно поровну, Гавриловна. На одной половине ночь, на другой в это время день.

— А ты говоришь! И получается, что половина людей на земле во мраке темном сидит...

— Сидит, да недолго, Гавриловна.

— А я знаю почему! — просиял Ленюшка. — Земля-то вертится! Где сейчас ночь, там завтра рассвет. Потому что к солнцу земля повернется.

Крупная, неповоротливая Гавриловна заволновалась, закричала табуретом. Схватила заварник, стала в наполненную чашку Орлова лить через край. Плюнула в сердцах куда-то за ухо себе... Кинулась к печке, выхватила оттуда, из-за заслонки, чугунок с картошкой, приправленной для аромата мельчайшими кубичками старого желтого шпига. Принялась кормить мужчин.

Пока она сновала по дому, пол в комнате корчился, стонал; расшатаанные ветром стеклышки в рамках дрожали, поскуливали; занавески на окнах и другие тряпицы в помещении извивались и трепетали, как листья на ветру; стол под добрыми, но тяжелыми и сейчас взволнованными руками Гавриловны, казалось, так и шелкал суставами, прогибаясь, как перегруженная в хребте лошадь...

— Умники! Воевать оне будут! Воюйте! Только сопли с-под носу обтирать не забывайте! Едва от сиськи отцепятся, и подавай им уже пулямет! Нам теперь главное — пересидеть этих немцев. Своих дожждаться. Старой да малой, кто нас тронет? А мы потихонечку, без шуму-гаму... Картошечки накопили. Теперь нам ее аж до нового! Еще и останется. Главное, живи, не выпирай. Храни себя для бога, и он тебя не оставит...

Ленюшка незаметно подмигнул Орлову.

— Бабушка Гавриловна... А я за год на двенадцать сантиметров прибавился. Как же не выпирать?

— Ты мозгами своими не выпирай! Языком не щелкай! И чему вас в школе-то учат? Какому вздору? Со старшими свáриться...

— Напрасно вы так, Гавриловна... Ленюшка вас любит.

— А нужно, чтобы слушал. Неслух он. Смеется, зубы скалит...

— Бабушек прежде всего нужно любить. А потом слушать.

— Советчик нашелся! Гляди-ко — озорник. Верста коломенская, енерал, а так бы и постягала обоих вицей! А вот я их спать сейчас уложу, скутаю! Карасин жгут... Языком чешут... — И пошла опять полами скрипеть, стеклами звенеть, того гляди изба по бревнышку раскатится. — И откуда выскочил? На мое шею? Такой бубновой?

— Из пионеров, Гавриловна, из комсомольцев. Ну, а потом профессию приобрел...

— Это ж каку таку?

— А солдата профессию. Защитника.

— И так, стало быть, солдатом, красноармейцем простым? Без единого кубика в петличке? Не шибко ты продвинулся. В защитниках состоявши... А можа, тебя разжаловали, сердешного?

— Невозможно. Вот чего невозможно, того невозможно — разжаловать меня в должности защитника. На эту должность, Гавриловна, не назначают. На эту должность человек заступает добровольно. По повестке сердца. А не военкома...

Видимо, Гавриловна, сама того не желая, зацепила в Орлове какие-то неприятные воспоминания. Какую-то рану незримую, потаенную потревожила. Да так, что нос и губы враз у него побледнели. Черные брови на белом лице повисли, как в воздухе. А горячие глаза засветились жарче света лампы. Так что Гавриловна даже рукой от них заслонила, от глаз этих.

— Прости, коли не так ляпнула что... Сам знаешь, сынок, время нервное... А я — баба. Переживаю... Млею из-за каждого пустяка. Не взыщи, но только сдается мне: обидели тебя...

— Любой, Гавриловна, человек из большого и маленького себя состоит... И вот за себя большого, сильного я не переживаю. И в то, что мы врага разобьем, — верю. Тут другое, Гавриловна... Мне бы, Гавриловна, с собой — маленьким — справиться. С мелочишкой разной.

— Обидели тебя... — окончательно уверившись в своей догадке, прошептала Гавриловна, участливо сев на табурет возле Орлова. — Вона што... Такой бравой, а тоже... не каменной. Страдать умеешь.

Орлов вышел из-за стола. Живой, разговорчивый пол и под ним заскрипел. Словно признал за своего.

Вышли с Ленюшкой во двор. Далеко от крыльца не заходили. Справили, что понадобилось. Вернулись в дом. Теперь уже окончательно — спать.

Гавриловна положила обоих на печь. Лежанка там широкая. На два тюфячка.

— Я бы сама туда влезла... Сейчас, когда смразь такая на дворе, ни зима, ни осень, самое милое дело на печке ночевать. Да вот тяжела я на подъем стала. Не взбиться мне туда. Так что укладывайтесь. А я богу помолюсь.

За день, проведенный в бегах по городу, Орлов основательно настыл и даже несколько овлажнел носом. Теперь, лежа на печке, ощутил он подлинное блаженство от врачующей доброты кирпичного тепла.

Где-то внизу, словно у подножия горы, в долине, шептала свои молитвы Гавриловна.

Орлов уже уплывал в сон, когда неугомонный Ленюшка дотронулся до него, пролепетав:

— А сколько у вас кубиков было? У моего папки две шпалы! На войне ведь не всех убивают? Вас не убили, может, и моего папку не убьют?.. Правда?

— Правда, малыш. Кого любят, тот дольше сохраняется. А ты ведь папку своего любишь?

— Еще бы... А у вас есть сын? Или девочка?

— Нету. У меня есть только мама. Не успел жениться. Занят был очень.

— А почему вы без кубиков? — не унимался Ленюшка.

Орлов долго молчал. Но что-то подсказывало ему, что отвечать нужно. Именно Ленюшке, мальчику. Которого ни обмануть, ни лишить ответа нельзя. Грех, как бы вы-

разилась Гавриловна. К тому же, предчувствовал Орлов, и облегчение ему после исповеди будет. . .

Старушка тем временем увернула фитиль в лампе, задула огонь. В дальнем углу ее спальни, над изголовьем, мерцал совершенно капельный, мельчайший огонек лампадки перед иконой, и сюда, на печь к мужчинам, сквозь щели перегородки попадал оттуда уже как бы и не свет, а всего лишь признак его.

— У меня четыре шпалы было, Ленюшка. . . И командовал я полком.

— И. . . как же? А дальше что? — подталкивал мальчик.

— А дальше. . . Я хотел спасти полк. Для этого нужно было чуточку отступить.

— Отступить? — переспросил Ленюшка. — Обязательно отступить?

— Да. Иначе полк попадал в окружение. Позднее. . . Так и получилось. Почти все погибли в полку. Но полк не погиб!

— Не понимаю. . . Все погибли, а, говорите, полк не погиб?

— Знамя. . . Знамя полка уцелело. Мне посчастливилось. . . Я успел вытащить знамя из огня. И вот теперь я вынесу его к своим. Я приду в Москву, Ленюшка, и предьявлю знамя. И снова буду командовать полком! Мы тогда славно дрались. . . Можно сказать, до последнего. Понимаешь?

— Понимаю. А дальше? Неужели вас ни разу не ранило?

— Легко два раза. Вот, плечо пробороздило. . . И пониже есть. . . На мне в два счета заживает.

— Может, и меня немного ранит потом. . . Хорошо бы на лице шрам остался. А то лицо у меня больно девчачье. . . Мне говорили.

— Дурачок ты, Ленюшка. Нашел о чем жалеть. . . Скажи, дружок, ты мне веришь? Для меня очень важно, чтобы ты мне верил, малыш.

— А я и верю! На войне чего не бывает! Мне бабушка про дедушку рассказывала. Он в гражданскую английский танк в плен взял. Такой громадный, как крепость! Правда, подбитый. . . А вы мне покажете знамя?

— Да, конечно. . . Завтра, когда рассветет. Вот оно, можешь потрогать. Я его под ремень на поясицу заво-

рачиваю. Сейчас погода гнилая, а знамя — оно даже греет.

Орлов нашарил руку мальчика, поднес ее к матери.

— Понял?

— Понял. А что это за ниточки на нем? Оно порвалось, да? В бою?

— Это кисточки такие... Для украшения. Шелковые...

— Интересно.

— А теперь спать, малыш.

— Давайте поговорим лучше... Давайте...

— Поздно, Ленюшка. Слушай мою команду: раз, два, три: спать!

Утром Гавриловна накормила мужчин вчерашней тушеной картошкой: в печке кушанье не только не остыло за ночь, но еще как бы и повкуснело. Подойдя к свету отзанавешенного окна, Орлов, заправляя под ремень гимнастерку, потянул к себе Ленюшку и показал ему краешек красной материи под гимнастеркой.

— Ура! — вспомнил вчерашний рассказ Ленюшка и хотел было поделиться впечатлениями с Гавриловной.

— Никому! — сдвинул черные брови Орлов. — Ни звука про это. Военная тайна. Доверяю только тебе. Повтори.

— Ни звука. Военная тайна...

Орлов достал из вещмешка металлический станочек безопасной бритвы. Испросил у Гавриловны кружку с кипятком. Побрился возле старинного, пятнистого зеркала, за раму которого было понатыкано несколько не менее старинных фотографий.

— А про то, что вы полковник, тоже ни звука?

— А ты потерпи, Ленюшка. Сейчас, в войну, и вообще-то лучше поменьше разговаривать. Сейчас дело нужно делать. И... запоминать.

— Что запоминать? — насторожился мальчик.

— Войну, Ленюшка. А после войны и расскажешь. Тому, кто не видел. Или тому, кто забыл...

На улице возле калитки Орлова поджидал Герасим Бочкин, посвежевший на пару исчезнувших морщин, которые разгладились во время утреннего бритья. Два не-

больших пореза на подбородке придавали его лицу живости: вот, мол, оно у меня тоже не из камня, не из дерева, а такое же, как и у всех — из живой плоти. А то, что серое да покوروبленное, не моя в том заслуга.

— Как дела, Бочкин, спал как?

— Как все. На боку. Сегодня матушке получше. В огороде ночью, гыхм, гуляла. Все повеселей. Утром самовар поставила. Просто чудо. Не иначе вы ее... взглядом своим оживили. У вас, гыхм, взгляд пользительный! Как спиртяшка — до нутра проникает. Вот она и забежала. А то утром встанешь и не знаешь, с чего начинать: то ли мать обмывать, то ли закуривать?

— А что, Бочкин... Пусть пока полуторка у тебя в сарае постоит. Пусть отдохнет... Она еще не раз пригодиться может.

— А чего же, гыхм, ей сена не задавать... Пусть стоит.

Направились к центру. В сторону райкома. Необходимо было выйти на связь. Как вчера с Леной условились.

То там, то тут попадались прохожие. Правда, все больше бабушки да дедушки. Вот промчались сразу три огольца. Впереди каждого из них колесо, подталкиваемое крючком из проволоки, нещадно, со скрежетом поющее. И собак, и кошек шныряло как бы больше, чем вчера. Да и солнце сквозь разрывы в тучах проскальзывало на землю. Снег исчез, и утрамбованные земляные тротуары подсохли.

— Смотрите-ка, Бочкин! Жители появились. Городок совсем потухшим выглядел... Так нет же — опять разговаривается!

— Привыкать, гыхм, стали... К положению.

— Вон, смотри, газету мою читают.

На воротах монастыря, на стенде у площади и дальше — по Советской улице — расклеена была газета, и небольшие кучки людей, человека по два-три, читали, поживаясь на ветру.

Неподалеку от райкома, на противоположной стороне улицы, среди читателей Орлов обнаружил седого и косматого старика Пергу. Он что-то разъяснял двум теткам в плюшевых черных жакетках, головы которых наглухо были заверчены тяжелыми шерстяными платками. Ря-

дом, вернее возле самой газеты, стоял местный юридивый — слабоумный Геня — и ковырял пальцем сперва газету, потом у себя в носу.

А Перга просвещал теток:

— Сообгажать, дамочки, нужно. Вот полюбуйтесь: официальный огган печати! Газета! Значит — поглядок! Значит, кто-то следит за поглядком!

— А хлебцем, чай, теперь будут торговать? Али нет?

— Для начала газету читайте. Пгосвещайтесь. А хлебец ггабить не надо было. Уволокли по хатам мучку... Вот и ешьте ее. Ггабеж есть пегвый симптом анагхии. Ганьше говогили: «Анагхия — мать поглядка!» Вот тебе и поглядок. Хлебца нет...

— Хле-е-пца! — протянул Перге сморщенную ладошку Геня. Подошли Орлов с Бочкиным. Геня и к ним ладошку протянул: — Хле-е-пца!

— А ты, Геня, гыхм, спой немца! — сострил неожиданно в общем-то неразговорчивый Бочкин.

Геня внимательно посмотрел на милиционера, затем неловко плюнул в сторону Герасима и, развернувшись, тяжело, неуклюже побежал прочь, шлепая большими галошами, привязанными веревкой к босым ногам.

— Здравствуйте, Матвей Ильич, — Орлов пожал руку Перге. — Смотрите-ка, читают нашу газету!

— Читают... Только ггаждане и дгругой интегес имеют. По части хлебушка. Газеткой сыт не будешь. Ее обычно, пгинав пищу, на диване лежа читали...

Плюшевые тетки, признав в Орлове начальство, а в Бочкине милиционера, заспешили от греха подальше.

— А по части хлеба у вас очень правильная мысль возникла, Матвей Ильич! Будем что-то предпринимать. Дельная и такая простая мысль... Гениально, Матвей Ильич!

— Да не у меня возникла... У бабенок вот, да у Генидурачка.

— Неважно у кого, — у людей возникла, у населения. Значит, разбейся, Бочкин, а хлебушек испечь мы должны. Пошли к Бархударову.

На той стороне улицы возле райкома остановились какие-то странники. Старушка и дед замшелый. Оба в каких-то не то халатах, не то шинелях, подпоясанных рогожкой. На ногах онучи из холстины домотканой, пропыленной. На онучах лапти допотопные. На голове у деда

шапка зимняя, из барана, без ушей, ведерком перевернутым. Надвинута глубоко, чуть не по самую бороду. На бабке два платка, один — ситцевый, в горошек, — внутри, сверх него еще серый, шерстяной. В руках у обоих по батогу неструганому.

Странники не пошли в дверь, а постучали негромко в раму окна. Посохом.

Из одного окна в форточку высунулся Туберозов, из другого Бархударов.

Упросили странников в дом зайти. Завели их в большой кабинет. Стали расспрашивать, чего надобно.

Туберозов чай подал. И в первую очередь Орлову чашку подsunул. Но тот передвинул дымящийся напиток старушке, которая сидела за красным сукном стола, не выпуская из рук палки.

— Что скажете, уважаемые? Откуда путь держим? — зачастил Бархударов своим неярким, сереньким голосом. — Смех смехом, а в молчанку нам играть некогда.

— Дак ить... До начальства мы наладились. В понятие войти... — затрубил вдруг дедушка сухонький, бабовитый, а старушка тоненько запиликала, как кулик на болоте:

— Дак и-ить ни-иту поняти-ив... Что и деи-иться... Откуль греми-ит-то. Больно шу-умно сдеи-илось, господа товари-ищи-и...

— О чем это они? — пожал плечами укротитель Туберозов. — Вы что-нибудь уловили, драгоценнейший? — повернулся он к Орлову.

— Из лесу мы... То исть — с пасеки. С Лютых Болот. Поштой не пользуимси... Последней письмо от Анастасии, дочки, еще в царствие Николая получили. Из праведной веры мы, старых обрядов. Спасаемся. Последней шум-от был, когда революция сполучилась. С той поры, слышь-ко, тихо сдеилось... А ноне опять штой-сь докатилось... Так и ухат, так и ухат! — Дед шапку снял, под шапкой грива белая с желтым отливом, не седая, а как бы мраморная уже.

— Извиняюсь, с какого будете года? — поинтересовался Бархударов.

— Это-и штой-и-то... не пони-ила?

— Лет, гыхм, спрашивают, сколько вам? Много ль прожили на белом свете годков?

— И-и. . . — зазвенела старушка, будто муха в паутину сунулась. — Не знай-ю-ю. . . Парфе-ен, чай, помнит, сколь?

Парфен подкинул бровями морщины на лбу.

— А вот, когда первый раз шумело. . . В аккурат шайсят сполнилось. А сколь теперь набежало — не ряшу, не упомнил. . . В лесу какой счет. Сбились мы с няго. . . Да и грех считать-то. Чай, не копеечка.

— Так вы что же, извиняюсь, и про то, что война началась, не слыхали? — Бархударов даже очки откуда-то из-под плаща извлек, на нос их положил. Странников с удвоенным вниманием принялся разглядывать.

— Да ить. . . догадка была, что не гром гремит. Я и Авдокее своей об войне баил. . . Али не так, старая?

— Да ить так и, роди-именьки-ий. . .

— И с кем же война-то сполучилась, граждане дорогие? С каким таким супостатом? Или опять промеж собой нелады?

— С немцем, дедушка. Немец на нас двинулся.

— Вот и я толкую, что немец. . . А моя Авдокея уперлась: хранцуз!

— Смех смехом, а куда ж вы теперь-то? Сидели-сидели в трущобе лесной и выползли. . . И вовсе это ни к чему сейчас. Переждали б шум-то, а тогда и гуляйте. . .

— Да ить и возвернемся. Старуха вот, Авдокея, отдышится, и потекем. Одно скажу: как ни скрывайси, а тянет, граждане, наружу. Особливо, когда шум затевается. Нам бы только хлебушка откупить. На дороге. . . Или сухариков. В ручье размочить да пожевать. У нас и средства имеются. . .

Старик полез к себе под зипун, вытащил чистую тряпицу, развязал узелок. Деньги старинные — царские трешки, пятерки, а также керенки тысячного обозначения — предъявил.

— Кабы хлебушка нам. . . Укажите, родненькие, где его нынче купить можно?

Орлов, склонивший голову чуть ли не до стола, неожиданно встрепенулся. Взял Бархударова за отворот плаща. Не грубо, но твердо.

— Хлеба! Наипервейшая задача. Люди по городу бродят. . . Хлеб ищут. Бархударов, сообрази, что нам делать? Герасим, дорогой, обшарь пойди все склады, все чуланы магазинные. И — выпечку! Пекарня цела?

— Цела, гыхм!

— Пусть бы по полкило на брата... Но чтобы непременно в магазине и — всем! Чтобы спокойно, солидно, и продавец в белом переднике.

— Позвольте мне с гражданином Бочкиным хлебным вопросом заняться? — Туберозов напустил на свое лицо деловое, «административное» выражение. — Весьма способен к приготовлению пищи. Это моя вторая профессия, драгоценнейший! После укрощения рептилий. Пельмени, блинчики, различная сдоба...

— Какие к черту блинчики! — обдал Орлов холодным взглядом несерьезного внешне укротителя. — Хлеб! Ну-жен хлеб. Черный. Буханки.

— А вот я и проконтролирую. Поручите нам... Товарищ Бочкин — по снабжению мукой. А я завпекарней! Вы что же, Туберозову не доверяете?

— Нет, почему же... — Орлов искал поддержки у Бархударова, но тот в это время потянулся к зазвонившему аппарату. — Нет, почему же? В том случае, если вы серьезно, тогда руководите, заведите... Организуйте дрова. Печи протопите, чтобы в режим вошли. А завтра, когда тесто выбродит, и выпекайте. Так что, Бочкин, бери полуторку и за мукой!

— Товарищ Орлов... Беда! — задумчиво произнес побледневший Бархударов. — Лена... Лена звонила...

Орлов выхватил трубку у Бархударова, стал звать Лёну. С разговорами о хлебе он совсем забыл о девушке. И вот трубка молчала...

— Какая беда?! Что вы мямлите, Бархударов? Очнитесь, говорю!

— Лена... На помощь звала... — Бархударов опрокинул стул, на котором сидел, наступил себе на плащ, едва не упав, заметался по кабинету.

— Говорите толком! — схватил его в охапку Орлов. — Что она вам такого сказала?

— Она сказала: «Помогите, помогите!» И связь прервалась вдруг... Словно перерезали. Ни единого гудочка после. Скорее... Скорее туда, на почту!

В одну минуту помещение райкома опустело.

Впереди всех мчался Орлов, расстегнув крючки и отбросив полы шинели для удобства. Несколько позади громыхал Бочкин. По-бабьи подобрав подол плаща, ко-

лотил воздух коленками Бархударов. Даже Туберозов с места снялся, предварительно закрыв свою комнатку с решеткой на ключ.

Опешившие странники, дед Парфен и жена его Евдокия, посидев чуток за длинным столом в одиночестве, заспешили наружу. На крыльце они долго глядели во след убежавшим, но, так ничего и не поняв, решили идти своим путем, а именно к монастырю, туда, где торчал нетускнеющий крест колокольни.

— И-и куда-и-то вси-и подхвати-или-ись, Парфен-и-и?

— Да-и-и по-ди раз-бери ноничи — куда? Рази до-го-нишь, та-ки по-стрелы. Не успе-л чаю глонуть, ла-таты за-дали... По-дем-ка-сь, ста-рая, в цер-кву их-нею за-глянем. В по-повску. Но-чевать ис-просимся. Неуж-то не пу-стят, грехо-водни-ки? Ты, Ав-докея, молчи знай про ста-рую, ста-л бы-ть, ве-ру на-шу, ис-тинную... Бе-спо-повску. По-мал-кивай...

— И-и молчу я, ни-и зву-ка совси-им, Пар-фенуш-ка-а...

Движок в почтовом сарае работал как ни в чем не бывало. Двери на «телеграфную» половину распахнуты настежь.

Орлов, минуя крыльцо, с прыжка влетел в дом. В помещении, казалось, никого не было. Орлов метнулся за барьерчик... На полу лежала Лена. Лицо ее, залитое кровью, как бы отсутствовало. Разбросанные по полу косы, разорванные кофта, юбка...

Орлов сорвал со стола графин с водой, полил из него осторожно прямо на голову Лены. Девушка была еще жива. Глаза ее открылись. Страшно далекий взгляд их уводил Орлова в глубь — синюю, холодную, невозвратную.

— Мар-тыш...кин...меня... — Лена попыталась подняться, но только судорожно перевернулась со спины на живот.

Орлов заметался. Лена не приходила в себя.

Тогда он поднял ее и понес. Вышел с ней на крыльцо, не видя утра и запоздалого солнца. Не видя прибежавших Бархударова, Герасима, Туберозова...

И вдруг, положив Лену на крыльцо, огромными шагами устремился к воротам монастыря. Но резко остановился, бросил подбежавшему Бархударову:

— Искать! Всем искать Генку Мартышкина! Из-под земли достать живого или мертвого. . .

Не соображая, чего ради решил искать Мартышкина в монастыре, Орлов ворвался в келью Слюсарева, держа парабеллум за ствол, готовый гвоздить им каждого встречного-поперечного.

В келье старик Устин что-то хлебал из глиняной миски, жадно облизывая большую деревянную ложку. Сын его, стоя у окна, не менее жадно курил, пуская дым в открытую форточку.

— Здесь Мартышкин?!

На лице Орлова было столько беспощадной ненависти, что оба не на шутку струхнули.

— Что, что надоть?! — уставился дед на кровь, которой были испачканы руки Орлова. — Господи, владыка небесный! — выронив ложку, начал крестить свое мрачное лицо Устин.

— Где Генка?

— Нету здесь Генки! — истово зашептал Евлампий Слюсарев, бросив окурочек в форточку. — Умереть мне на этом месте, если вру. Вот, вот смотрите. . . — приглашал он заглянуть под кровать, а затем и в шкаф, а также под стол. — Нету Генки. . . Как вчера расстались, так с тех пор и не виделись. . . Он у себя живет, мы у себя. Не нужны нам такие квартиранты. . .

В мгновение ока обшарив комнатку, Орлов убедился, что Мартышкина здесь нет.

Тогда Орлов потянул к себе плащ Бархударова:

— Где Мартышкины живут? Веди. . . Побежали! Мы должны его изловить!

И все четверо рванулись по коридору наружу из дома. Орлов и Герасим впереди, Бархударов и Туберовоз на некотором расстоянии от них.

Сторож Миколка Мартышкин встретил гневную делегацию растерянной улыбкой:

— Это как же понимать?.. Началось, выходит? Вошли немцы, паралик их разбей?!

— Какие тебе немцы, гыхм, какие немцы! Тут свой почище любого фашиста. . . — подступил к инвалиду шатающийся от усталости, запыхавшийся Герасим.

— Так что, Миколка, смех смехом, а подавай нам Генку, и чтобы сей секунд!

— Да что опять стряслось? Что он, окаянный, учудил опять? — умоляюще посмотрел Миколка на Орлова.

— Лену убил. Телефонистку.

Орлов, произнеся эти слова, испугался собственного голоса.

— Где... Где твой Генка? — схватил он Миколку за грудки. Приподнял до уровня своих глаз. Негромко затрещали гнилые нитки древнего пиджачка.

— Поставь... Поставь на место меня. Дай сообразить.

Орлов отпустил Миколку. Тот, зашатавшись, обрел наконец равновесие, медленно, смелым взглядом обвел присутствующих.

— Нету здесь Генки... Не ночевал.

— А что делать? Где искать его? — заволновался опять Орлов.

— Так что, гыхм, еще посмотреть надо... Разрешите обыскать? — вобрал голову в плечи, как перед броском, Герасим Бочкин.

— Не разрешаю, — твердо и как-то грустно, устало отверг предложение Герасима Орлов. — Раз Николай Николаевич говорит: нету здесь Генки — значит, нету.

— Нету! Честное... — Миколка не сразу нашел слова клятвы. — Честное ленинское, нету...

И так это искренне, трогательно, как-то даже по-детски, по-пионерски прозвучало, что все разом поверили: действительно нету здесь бандита.

Затем Миколка словно очнулся. Деревяшка его упрямо застучала в пол. Николай Николаевич бросался то к ватнику, то к заячьему треуху, торопился...

— Покажу вам берлогу одну... Не иначе, паразит, к Палагее кинулся. У той самогонка круглый год... Быд-то ключ горячий из-под земли вытекает... И перина у Палагеи мягкая. Ступайте за мной. Покажу, так и быть!

Вышли на двор. Миколка даже дверь не стал запира-ть.

Прошли с десяток шагов, и Орлова потянуло огля-нуться на обиталище Миколки. Жалкая, покосившаяся, как бы уткнувшаяся носом в грядки избушка-банька. Приют старого холостяка, жившего более чем скромно...

А сам он, не столько опираясь на бугристый еловый дрючок, сколько размахивая им, неистово хромая, стремительно вел за собой людей.

Но вскоре калека явно выбился из сил. Пришлось идти медленнее.

Орлов только сейчас обнаружил на лице Бархударова слезы. Они гнездились в морщинах, живые, неожиданные.

— Смех смехом, а что я... супружнице скажу? Про Леночку? Не уберег... Как я работать без ее буду? Беда-то какая...

— Замолчите, Бархударов. Плачьте про себя. — Орлов сдержанно стукнул истопника по плечу, призывая опомниться.

— Нет, плачьте, драгоценнейший!.. — ввязался в разговор Туберозов. — Я недавно открытие сделал! — выкрикивал укротитель сквозь одышку, поспешая за всеми. — Оказывается, мы все... Рано или поздно... Умрем тоже! Исчезнем. Я как-то все думал, что не умру... Люди умирают... значит, так надо. Неосторожно живут или еще что... А я — не умру! Оказывается, ничего подобного, драгоценнейший!

— Да заткнитесь вы со своим открытием! — не сдержался Орлов. — Нашли чем хвастать...

Бежали, или так казалось, что бежали, довольно долго. На другой конец города. По направлению к спирт-заводу. И Орлов успел пожалеть, что не выехал в этот новый, тревожный день на полуторке. Но тут же и подумал: хорошо, что не на машине. Без нее — тише. У Мартышкина уши молодые, внимательные. Не спугнуть бы субчика...

Миколка вел переулками, щелями, тропками... Пробирались садами-огородами, как в лесу.

— Вся надежда на то, что он пьяный... — остановившись, Миколка прошептал свою догадку-мысль Орлову. — Я первый в домичек войду, голос подам... Они отпрут. Известный я им. А вы домик-то обойдите... Да по углам встаньте. Чтобы не проворонить. Дайте мне парабел... На случай чего.

Орлов потянул из шинели револьвер, вручил его Миколке. Трофейный автомат с одним патроном в стволе, бесполезным грузом висевший на груди, Орлов закинул

на спину, чтобы не мешал в момент решительных действий. А инвалиду сказал:

— Убивать его сейчас не нужно... Учтите, Николай Николаевич. Мы его судить будем. В школе. Чтобы остальным урок... К тому же он родственник ваш.

— Родственник! — вспыхнул, загорелся наконец Миколка. — Разве я виноват в том? Отец его, брат мой, виноват... На Клещихе Феньке женился! На жадобе... Раскулачили их в тридцатом. Распушили по белу свету. А сынок вот теперь и объявился. На мой pozor.

— Сколько еще топать нам? — остановил Орлов излияния Миколки.

— А вона за теми сливами... Крыша черепична. И обходите. А я пойду, постучусь... Таперича на всякий случай, товарищ Орлов, как, значит, из этой техники пальнуть? Если приспичит?

— А нажмете вот сюда... Только если в крайнем случае.

— Понимаю, все понимаю... Ну, так я пошел. А вы обходите помаленьку. Погодьте, товарищ Орлов! Давайте условие обговорим. Как я стрельну, значит, так и врывайтесь хватать его, вязать...

— Договорились. Уж очень вам «стрельнуть» хочется. Ладно, по вашему сигналу берем его.

Миколка захромал вдоль изгороди, затем свернул в проулок, исчез в ветвях облезлого садочка.

— Дать вам автомат, Бархударов? Для уверенности?

— Есть у меня... Имеется. Свое, — покопался в плаще истопник и вынул никелированный наганчик.

— Тогда заходите двое отсюда... Вы, Бочкин, и вы, Бархударов. А вы... — посмотрел на оставшегося Туберозова Орлов. — Вы стойте тут... Как вкопанный. Вот вам автомат. Для устрашения. Если он в вашу сторону прорвется, кричите: «Стой, стрелять буду!» И один раз можете выстрелить. В небо.

— Хорошо... Хорошо, что в небо... драгоценнейший.

На всякий случай Орлов движением механизма выбросил из парабеллума один патрон, вставил его в магазин «шмайссера» — стволы и револьвера, и автомата были одного калибра.

— Вот, держите машинку. Сюда нажмете... Если понадобится.

Расстались. Орлов крадучись последовал за Миколкой, подбираясь как можно ближе к домику под рыжей замшелой черепицей.

Пройдя запущенный, обросший дохлыми, пожухлыми травами палисад, Миколка полез на крыльцо, стуча деревянной ногой. Пнул приотворенную дверь, ведущую в тамбур. Побарабанил пальцами в следующую дверь. В доме играл патефон:

Эх, Андрюша, нам ли жить в печали?!
Не прячь гармонь, играй на все лады!

Тогда Миколка двинул в дверь кулаком. Патефон заткнулся.

— Кого надо, родимые? — достиг Миколкиных ушей певучий, разгоряченный весельем голосок Пелагеи.

— Отопри, Палагея... Дядя это Генкин. Срочно племянш требуется.

— Дядя! Ах ты, дядя, бери меня, не глядя! — Распахнула дверь. Пропустила в прокуренную комнату.

За кухонным столом сидела какая-то незнакомая парочка. На столе хлеб, селедка, соленые огурцы, яблоки, свиное сало и граненые стаканы.

Тут же, на столе, знакомая, величиной с ведро, банка повидла. На тумбочке в углу патефон.

— А-а... — шатаюсь, выдвинулся из-за тюлевой занавески Генка Мартышкин. — Миколка, душа с тебя вон! Садись... Налейте сродственничку моему. Это он за повидлой пришел. Пес сторожевой...

Угрюмый мужчина, стриженный ежиком и с порванной некогда ноздрей, прямо из самовара нацедил в захватанный руками, грязный стакан чего-то мутного, белого...

— Погодь, Гена... Иди-ко, иди-ко сюда, племянничек. Слово сказать тебе требуется. С глазу на глаз. Секретное...

— Чего такое? — вцепился Генка взглядом в глаза дяди. — Каки таки секреты?

— Ищут тебя... по городу. Подь-ко сюда, в сени. Сопчу тебе кое-чаво.

Мартышкин долго смотрел на своего дядю, как бы вспоминая его. И все ж таки соблазн узнать нечто цен-

ное пересилил. Генка даже как бы протрезвел малость, насторожился. Внимательно, по-кошачьи ступая, вышел в прихожую.

Дядя тут же захлопнул дверь в избу, привалясь к ней спиной. Не целясь, где-то возле Генкиного уха, шарахнул из парабеллума. Малый от неожиданности присел, и тут его Миколка шпокнул рукояткой револьвера по стриженной голове.

Генка схватился руками за голову. Одновременно распахнулись обе двери, и в тамбур ворвался с улицы Орлов, а из комнаты — мужик с рваной ноздрей. Дверью мужик напрочь смел одноногого Миколку, и тот загремел к стене на пол. Однако Миколка, упав, парабеллума из рук не выпустил.

Увидев оружие в руках Орлова и Миколки, мужик тут же попятился в глубь помещения, где, разинув пьяные рты, дико визжали женщины.

Мартышкин хотел ударить головой в живот Орлова, заслонявшего собой проем распахнутой на улицу двери, но верткий Орлов успел выгнуться дугой.

Оцарапанная рукояткой, кровоточащая голова Генки мелькнула в направлении дневного света. Но поверженный Миколка успел ухватить племянника за ногу, и тот, оставив сапог в руках дяди, не устоял и шмякнулся на оклизлые ступени крылечка.

Орлов, не раздумывая, прыгнул Генке на спину, поймал его руку, закрутил в болевом приеме.

Миколка-инвалид тем временем не смог побороть соблазн и еще раз пальнул из парабеллума. Теперь уже — основательно прицелившись. Из пробитого навывлет самовара потекла самогонка в две струи.

На шум прибежали наконец и Бархударов с Бочкиным. Связали Мартышкину руки ремешком от его же брюк. Натянули ему на разутую ногу сапог и повели к центру города, в школу.

Уходя, Орлов оглянулся на остолбеневших женщин. Одна из них вдруг опомнилась, пришла в себя. Кинулась к самовару — затыкать отверстия в металле хлебным мякишем. Самогонка текла у нее по рукам...

«Ба... А дамочка-то знакомая будет! — осенило Орлова. — У Слюсарева в келье... С накрашенными губами сидела. В зеленой беретке».

За поворотом в проулке к процессии конвоирующих присоединился Туберозов с автоматом в руках.

Миколка, бешено хромая, все норовил забежать вперед и поматерить племяша в непосредственной близости.

— Загубил, собака бешена!.. Таку девчонку... Таку радость извел! Да я ж тебя своими руками зарюю, поганку!

— Дядя называется... — цедил сквозь перекошенные губы Генка. — Продам с потрохами, паскуда... Вовек тебе не отмыться, Миколка, от моей крови.

— Да кака в тебе кровь?! Кобель такой кровью камни поливает!

— Куда вы меня ведете? — остановился Генка. — Не пойду, пока не объясните!

— Волоком поташу. А ведем мы тебя судить, — поведал Орлов.

— Самосудом?

— По всем правилам. Именем закона. Российской Советской... .

— Издеваетесь, забавляетесь! Какие сейчас законы? Ну, повязал ты меня, возьми пристрели, и дело с концом. А то... судить они будут, заседатели! — Генка упал на дорогу и начал кататься по грязи, колотя головой обо что попало. Изрядно вывозившись и приустав, замер... Потом открыл один глаз.

— Пошли, Генка. Платить нужно за удовольствия...

— Удовольствие! Царапаться стала, обзывать... Ну, в горячке и двинул... утюжком. Аккурат под столом нагретый стоял... Разве ж я думал, что делаю? Вон, даже руку об утюжок опалил...

Орлов затрясся, словно ток по нему пропустили... Так весь и потянулся к грязной шее извивающегося по земле Мартышкина. Сдержался, опомнился. Помог подняться Генке, повлек его за ворот рубахи. Двинулись дальше.

И тут глянул Орлов на шумящие сосны, на их вершины танцующие. Как раз мимо парка шли. Словно мимо... жизни. Деревья дышали, росли, пили-ели, к солнцу тянулись — жили... А вокруг них ходила смерть. Не та-ясь, не прячась. Плевала свинцом, изрыгала пламя, сеяла пепел и мертвящее успокоение. Иллюзия жизни... А вдруг Мартышкин прав: играю в жизнь? Может, и нет давным-давно никакой человеческой жизни, а есть состязание — кто кого?..

Поравнялись с почтой. Девушки на крыльце уже не было. Значит, унесли... Кто-то позаботился.

Пройдя в распахнутые двери, Орлов отыскал в телефонном закутке эбонитовый ящичек полевой связи, повертел ручку вызова («Словно патефон завожу», — почему-то пришло в голову неуместное сравнение). Но аэродром не ответил. Связь отсутствовала.

Как бы в ответ на недоумение Орлова, за городом, в стороне аэродрома, вспыхнула пулеметно-ружейная пальба. «Что бы это значило?» — спросил себя с не меньшим недоумением.

Возле школы Ленюшка и два-три его сверстника бежали навстречу Орлову.

— Дядя Сережа! А вам пакет! Красноармеец приехал! На полторке!

В школе в одном из классов за партой сидел Генка Мартышкин. Руки его по-прежнему были связаны ремешком. Караулили его Бархударов и Миколка.

— От Воробьева! — протянул голубенький бланк квитанции Бархударов. На мирной хозяйственно-административной бумажке Воробьев торопливой рукой сообщал: «Немцы прорвались на территорию аэродрома. Необходимы ваши указания... Скорее всего, сбросили десант. В случае крайней необходимости взрываю бомбосклад».

— Где Лена?

— Отнесли домой... Супружница оживает... — Бархударов жалкенько улыбнулся, вернее попытался улыбнуться.

— Слушайте меня, Бархударов. Я сейчас на аэродром. С Бочкиным. А вам задание: уничтожить преступника. По закону военного времени. Некогда нам засесть... Или вот что. Отведите его в райком. В комнату Туберозова. И предложите Мартышкину то же, что я диверсанту там предлагал... Вернусь от Воробьева — лично проверю исполнение.

— Смех смехом, а ну, как он меня не послушает?

— Вас не послушает, зато уж от меня не отвертится: уговорю. Кстати, где сейчас Туберозов?

— Туберозов в пекарне пары поднимает. По вашему указанию... Мировой парень этот Воробьев! Он ведь не только записочку, он еще десять мешков муки прислал.

Вот Туберозов и подхватился... Баб ему в помощники с десяток насобиралось...

За городом с новой силой возобновилась перестрелка.

— Пошли, Бочкин! — Орлов приподнял и опустил кубанку на костлявой голове Герасима. — Выводи, Бочкин, лошадку из стойла... Заводи, поехали на войну. Выручать нужно лейтенанта.

Мартышкина отконвоировали к зданию райкома. По дороге не единожды Генка оборачивался на сопровождавших его Миколку и Бархударова, но всякий раз взгляд его взывающий натывался на выставленный вперед, беспощадно сверкавший в руке истопника никелированный револьверчик. Бархударов хотя и путался в громоздком плаще, но глаз настороженных с молодчика не спускал. Миколка тоже был настроен весьма серьезно, даже мрачно. С племянником не разговаривал, на его попытки войти в контакт не отвечал.

В райкоме дверь «надежной» комнатки с решеткой оказалась запертой. Никто ранее не догадался отобрать ключ у Туберозова. Провели Мартышкина в соседний кабинетик. Генка сразу лег на диван, закинул связанные руки за голову.

Бархударов решил и впрямь заняться внушением. На манер того, как шаманил здесь вчера над диверсантом Орлов.

— Смех смехом, Генка, а выхода у тебя нету... Так что, сам понимаешь: вот тебе провод электрический... А вот крюк в потолке. Над лампочкой... Действуй. Потому как выхода у тебя, в самом деле, никакого нету... Нема выхода, парень.

— Так вы мне руки хотя бы развяжите... Для этого... того. Как же я со связанными-то руками под потолок заберусь? Кто мне петлю накинет?

— Развяжи ему руки, Миколка... И уходи за дверь. Ты родственник. Грешно тебе смотреть на такое... Ну, мы запираем тебя, Генка. И не тяни с энтим... Потому как, смех смехом, а выхода у тебя, Мартышкин, воистину никакого нету. Сам знаешь...

— Знаю. Уходите.

Вышли. Заперли кабинетик на два оборота ключа. Миколка поставил табуретку под дверь. Сел ожидать. Когда обреченный созреет.

Бархударов чаю сварил. Стал угощать Миколку. Распарились, размякли... И вспомнили о Мартышкине.

— Как думаешь, Миколка... Захлестнется твой племяш проводочком?

— Ни в жисть! Это така паскуда, така ехидна! Зря товарищ Орлов не израсходовал его сразу...

Поскучали еще с полчаса. Затем решили проверить, не повесился ли Генка. И тут — жажнуло! Дом подпрыгнул. Стекла посыпались. Именно в этот момент и произошел тот могучий взрыв, о котором в городке будут помнить даже после войны, после тысяч разнообразных взрывов и выстрелов. А сейчас ни Бархударов, ни тем более Миколка не могли знать, что лейтенант Воробьев наконец-то поднял на воздух свой бомбосклад.

Пережив испуг, принесенный взрывом, все-таки захотели проведать Генку. Отперли дверь и... рты поразевали! Никого в кабинете. Бархударов даже под диван полез проверять. Хоть шаром покати. По комнате ветер гуляет. Стекла в раме выбиты. Наверняка взрывом выдало.

— А вы говорите — захлестнется! Утек Генка!

— Смех смехом, а нету... Что делать будем? Товарищ Орлов ой не похвалит нас за такое караульство...

В разбитое окно долетали разрозненные выстрелы. Иногда, словно в приступе кашля, заходилась пулемет очередью. Стреляли со стороны аэродрома.

Еще минут десять побегали для утешения сердца вокруг дома, пошарили в огороде, в сараюшке... Но не таков Генка, мерзавец, чтобы под кустом сидеть да ожидать, когда его сызнова схватят.

Тем временем Орлов вывел из сарая полуторку, усидил рядом с собой Герасима Бочкина, и они, серьезные, молча и решительно помчались на выстрелы по дороге к аэродрому.

Не доезжая лесочка, за которым простиралась поляна со взлетной полосой, повстречали рядом с недвижимой полуторкой, привозившей в город муку, рядового Лапшина. Шофер с головой окунулся в двигатель, пытаясь завести машину.

— Что скажешь, Лапшин? — приветствовал знакомого бойца Орлов. — Где сейчас лейтенант? Что там происходит?

— Десант! Немцы свалились... Наши диспетчерскую удерживают. А также казарму. Правда, немцев не ахти сколько... Взвод, от силы — два. Но склады они захватили. Наши их не подпускают ближе... Мы там два пулеметных гнезда еще летом оборудовали. Теперь вот и пригодились. В одном доте у нас крупнокалиберный пулемет, с бомбовоза снятый. Слышите?! Та-та-та?! Это он заколачивает!

— Вот что, Лапшин... Живо, с нами! Залазь в кузов. Попытаемся разведать... С другой стороны. Гляди в оба там с верхотуры. И чуть что — стреляй на опережение, если врага обнаружишь. Может, нам в тыл удастся зайти к ним... Эй, друг! — потревожил Орлов солдата-шофера, шлепнув его несильно по ягодице. — Вылазь, друг! Давай-ка теперь жми к лейтенанту. Своим ходом. Скажешь, что мы здесь и пытаемся пугнуть немцев с тылу...

Перед самым лесочком с шоссе, в обход леса, соскальзывала сухая проселочная дорожка с песчаным покрытием. Туда, по ней и поехали. По этой дорожке.

...Бочкин потом рассказывал:

— Обогнули мы, гыхм, рощицу, и только пешим собрались иттить — вдарили по нас из кустов! Ну, мы злягли покамест... У меня револьвер, у товарища Орлова тоже револьвер. И автомат без патронов. У бойца Лапшина десятизарядка. Расползлись для начала в разные стороны. Так товарищ Орлов приказал. В деревьях светлеть начало — значит, к полю пролезли... И тут мы немцев увидели! В зеленой, значит, ихней, гыхм, форме все, как один! Смотрю, а справа от меня товарищ Орлов — шпок, шпок! Из револьвера. И в рост встал. Кинулся к немцам, а их двое тут всего лежало... Один уже, гыхм, на боку и ногами сучит. Я тоже туда палиты! И Лапшин поддержал — с левой стороны очередь стрекотнул. Вот тут и... приподняло меня. Приподняло и об осину как шваркнет... Думал — надвое переломлюсь... В самое, значит, это время лейтенант свой склад с бомбами уничтожил. А там и пошло... Горючка огнем взялась... Некоторые бомбы, что, гыхм, ввысь закинуло, падать стали и рядом взрываться. Лесок загорелся со всех сторон. Не знаю, как я выполз оттуда, обгорелый весь...

Орлов из той заварушки назад в город так и не вернулся. Немцев с аэродрома в тот день выбили. Лейте-

нант всю округу обшарил. Герасима в лесочке живым, правда поджаренным, подобрал. Лапшина и вовсе — мертвым. А сам Орлов как сквозь землю провалился. То ли сгорел без остатка, то ли немцы его схватили, что мало вероятно. То ли еще что... А что? — как раз и неизвестно.

На другой день лейтенант колонну из оставшихся машин собрал, погрузился и через городок к Москве направился.

«Теперь я полное право имею отходить... — соображал он про себя. — В соприкосновение с противником вошел? Вошел. Приказ такого рода был? Был. Чего теперь ожидать? Нечего». И дал команду: заводить машины.

В это утро опять выпал снег и держался до вечера. Белое шоссе выбегало из городка, растворяясь в полевых даях. А там, куда оно убегало, в направлении Москвы еще до рассвета начала свою кровавую работу мясорубка войны... Фронт ожил и не утихал до глубокой ночи.

Проезжая городком, Воробьев обратил внимание на очередь возле магазина-полуподвальчика. Того самого, где Мартышкин с Миколкой не поделили повидло.

В толпе лейтенант различил Бархударова в брезентовом негнущемся плаще до пят. Решил с ним поздороваться, а заодно и попрощаться.

— Здравствуйте... А мы уезжаем. Случайно товарища Орлова не видели?

— Уезжаете? — сморщился Бархударов, и было не ясно, смеется он над Воробьевым или злится на него. — Уезжайте, дорогуша... Смех смехом, а никто вас не держит теперь. И что же это вы спрашиваете о товарище Орлове? Вам, лейтенант, лучше знать, где теперь товарищ Орлов. Вы его взорвали, вам, стало быть, и виднее, где он в данную минуту... мертвый лежит...

— Это еще доказать нужно! Что я его взорвал. К тому же — никто его туда не просил... Под взрыв. Сам он туда и заехал. Можно сказать, добровольно... И бойца мне погубил. Красноармейца Лапшина. А вы бы на моем месте разве не так поступили? Немцы территорию склада заняли, по нам из пулеметов поливают... А мне — руку! Вы бы не повернули?

— Ладно, езжай, подрывник... Такого человека угробил. Эх! — Бархударов переложил из кармана в карман

пачку индийского чая, принесенную для товарища Орлова, еще раз невесело посмотрел на лейтенанта и засобирился идти прочь. В очереди за хлебом загалдели бабушки. Прошел слух, что будут не по кило отпускать, как с утра выдавали, а только по семьсот граммов.

Из полуподвального помещения магазина наружу поднялся Туберозов в белом халате. От усердия он давно уже вспотел и покраснелся, но выражение лица имел довольное.

— Товарищи! Прошу внимания. Прежде всего, успокойтесь. Хлеба всем хватит. Обещаю!

— Говорят, быдто теперь по семьсот грамм?

— А детям сколь? А старым?

— Ти-их-ха! Прошу внимания. Хлеб отпускается всем поровну. Прекратить прения... Не укрощать же мне вас... Всем поровну! И детям, и взрослым. Больным и здоровым. Умным и глупым. Хорошим и плохим. Всем, всем, всем! У нас такое правило, драгоценнейший! — обратился он уже непосредственно к старичку в лаптях, за которого держалась ветхая старушка Евдокия, вышедшая со своим дедом из лесу на шум войны.

Туберозов несколько красовался. Ему было приятно доставлять людям счастье, то есть хлеб...

Забравшись в кабину груженной трехтонки, лейтенант Воробьев, не оглядываясь, выехал из города.

Впереди машины, как на раскатанном рулоне белой бумаги, отчетливые, мельтешили следы одной пары человеческих ног. Лейтенант попросил шофера ехать потише, а затем и вовсе остановил колонну. Вышел на дорогу. Асфальт там, где прежде ступали большие мужские сапоги, смотрел из протаявшего снега черными окошками следов. Кто-то еще ночью вышел из городка и теперь продвигался впереди колонны.

Воробьев торопливо забрался в кабину. Поехали шибче. Лейтенант надеялся догнать уходящего где-нибудь за очередным поворотом шоссе. Но так и не догнал...

СНЕГ НЕБЕСНЫЙ



То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит...

Из песни

1

Предрассветная тишина. Кажется, слышно, как туман обтекает деревья. Валуев лежит в постели. На дворе в бочку с водой падают редкие капли с крыши. Валуев считает капли.

Он уже привык к тому, что спит безрадостно. Без облегчения. Два-три часа за ночь. И паспорт ему снится не впервые. Но сегодня приснился по-особенному. Огромный, как дверь. И что удивительно: паспорт этот, повисев над головой дяди Саши, стремительно стал уменьшаться в размерах. Не удаляться, а именно — убывать. Сказалась ли тут прочитанная в молодости «Шагренова кожа», или еще какие видения повлияли — как знать. Паспорт уменьшался, и дядя Саша понимал, что, когда «документ» полностью исчезнет, исчезнет и он, Валуев.

Над заболоченным лесом нехотя поднималось октябрьское солнце. Травы доживали последние мгновения, а тощее стадо все еще копошилось в складках пастбища.

Деревня успела напустить дыма. Ветра здесь, в лесном окружении, не было, а потому избяные дымы шатались по деревне, как беспризорные существа. Гнилицкая церквушка со сшибленным крестом, чудом уцелевшая в месиве трех веков, первая приняла на себя лучи солнца. Стайка любопытных дурашливых сорок с хохотом проверяла небогатые деревенские помойки.

Бывший городской житель Валуев А. А. лежал со своей старенькой супругой на громадной металлической кровати. Лежал лицом к бревенчатой стене и не спал. Занимал Валуев бесхозную баньку, выделенную ему гни-

лицким правлением. Шел второй послевоенный год, а дядя Саша все еще боялся, что его могут неожиданно разбудить и поставить к стенке. Обязательно рано утром, спросонья.

Дядя Саша не получал пенсию как инвалид войны: у него были целы и руки, и ноги. И все-таки, при тщательном рассмотрении, существо это явилось миру изрядно покалеченным. Изнутри. А подобная инвалидность не только не оплачивается, но и не всегда подлежит сочувствию. И все же Валуев А. А. на войне получил увечье, а именно — испуг души.

Почтовый работник дремотного райцентра Валуев был опрокинут военной машиной и, как старая городская шляпа, гоним по деревенским пыльным дорогам. Эвакуироваться не успел. Призыву не подлежал: накопился возраст. Уйти в партизаны не догадался. . .

В начале оккупации новые власти беспартийного дядю Сашу определили волостным головой в один из отдаленных сельсоветов.

Однажды, а точнее — на пятый день вступления в должность, находился дядя Саша на печке своей конторы, когда пришли партизаны и сорвали с него полушубок, заменявший одеяло. Часа в три ночи пришли. Во мраке. Тогда выпал первый, всегда неожиданный, чернобелый, ночной снег. Дядю Сашу вывели на этот снег в одних кальсонах и уже как бы хотели расстрелять, но передумали. Случайно, а может, и нет, Валуева узнал один из партизан.

— И не стыдно у немцев работать, товарищ Валуев? Фу, как нехорошо! Отвечай, «голова», жить хочешь? Говори давай, почмейстер. . . Недосуг нам тебя перевоспитывать.

— Безвредный я, братцы! Сами видите. А вас, товарищ Коршунов, прошу: снизойдите! У меня племянники из Ленинграда живут. Им кушать надо. Жена у меня Фрося — хромой инвалид. Уйди я с вами в лес — кокнут их непременно и неминуемо! — И, пока Коршунов задумчиво молчал, добавил искренне: — Так что буду служить вам заочно. Верой и правдой. Способствовать буду.

— Говоришь, способствовать? Ты что же, наивный такой или прикидываешься со страху? Почему в изменники пошел?!

— Это в какие ж изменники? Назначили под дулом! Как владеющего грамотой. Да я тут и пальцем не пошевелил... В должности своей!.. Знал, что рано или поздно навестите! Что свидимся мы в болотах этих.

— Ишь, почмейстер! И впрямь грамотный... — словно выстрелил короткой улыбкой Коршунов, бывший исполкомовский работник, так кстати признавший Валуева.

Дяде Саше было позволено вернуться в избу, натянуть галифе и рубаху. А затем при коптилке поговорили с ним партизаны по душам. Разрешили остаться Валуеву на его новой должности, взяли с него кое-какие обязательства и ушли, сухо попрощавшись, в свои непроходимые дебри.

Вторично сорвали с него одеяло немцы. Они вдруг получили от кого-то маленькую мятую записочку, в которой сообщалось, что Валуев есть замаскированный работник НКВД. Ни больше, ни меньше. Кому нужно было писать такое, дядя Саша так и не узнает при жизни. А тогда его спасла опять-таки нешумная, но прочная почтовая популярность: Валуева могла опознать половина городка. И опознали... Но лиха он хватил предостаточно. Бока ему намяли крепко. И даже возле стенки во дворе комендатуры пришлось постоять. Так что холодок смерти, подышавшей над ним разок-другой на первых порах войны, остался в надтреснутой душе Валуева навсегда. И, хотя одеяла с бессонного дяди Саши слетали затем, как ветхие листья с дерева, привыкнуть к этому гнусному действию Валуев не мог.

Особенно паскудно совершали над ним обряд сдергивания полицейские лагеря, куда он попал со всей мужской половиной населения городка. Тогда в городке случилась шумная диверсия: уничтожено было до двухсот вражеских офицеров. Кого-то в городке расстреляли, кого-то — совсем дряхлых и малых — отпустили, а всю остальную, более плотную массу схваченных раскидали по конц- и трудлагерям. Замели тогда под общую метлу и оказавшегося в городе дядю Сашу.

Сытенские молодые полицейские, разбавлявшие свою кайнову скуку помимо самогона всяческими подлостями, сдергивали с дяди Саши одеяло, потому что им нравилось наблюдать, как он стремительно подскакивал с дощатых нар. Их веселили его подскакивания с непре-

менным ушиблением головы о верхний ряд нар. Они угрюмо реготали, отгороженные от Валуева светом карманных фонариков, а дядя Саша, блелей, чем его грязные кальсоны, пронзительно вскрикнув, вперед ногами на своем хилом заднем месте выдвигался по скрипучим доскам к выходу, готовый принять смерть в ту же минуту.

Последний же раз казенное одеяло сорвали с дяди Саши в лагере, куда в суতোлке и неразберихе определили за связь с оккупантами. Судили его и дали ему, как полагается. Однако через шесть месяцев неожиданно выпустили. Оказывается, из партизанских краев поступила бумага за многими подписями, где торжественно сообщалось и подтверждалось, что Валуев А. А. — человек, в принципе, свой, партизанский, не единожды выручавший отряды информацией и материальной поддержкой. И что держать такого человека в арестантах несправедливо.

Дядю Сашу отпустили домой.

Городской домик Валуевых в войну погорел. Дяде Саше предложили заведовать сельской почтой. И поселился он с теткой Фросей километрах в двадцати от города, в большой деревне Гнилицы.

Как лицу материально ответственному выдан ему был пистолет системы Коровина. И шестимесячный паспорт. Временного образца. С него как бы и началось. То есть — все дяди Сашины неприятности послевоенные. С этого документа.

Понятно, что в Гнилицах документов у дяди Саши никто не спрашивал. Но ведь могли спросить. В любое время. Времена были трудные, война отошла еще недалеко. Что он старостой был — помнили. И потому носил он в себе эту паспортную блажь тайно от всех, как неприличную хворь. Про себя Валуев считал, что и выпустили его ошибочно. По недоразумению, с кем-то перепутав.

Вот и жил дядя Саша настороженной, дерганой жизнью. И потому стоило тетке Фросе едва прикоснуться к валуевскому одеялу, как тот мгновенно, словно болванчик, подскакивал, бледнел и, наконец уяснив, в чем дело, начинал долго безадресно и безудержно материться.

Шесть месяцев жизни, зажатые в двух гербовых листочках, истекли, как праздник. Для продления срока

действия документов необходимо было явиться куда следует.

В течение года Валуев совершил пять безрезультатных походов в город. До базарных ворот, где, обретя поллитровку, для смелости выпивал и молча, злой и несчастный, возвращался в Гнилицы.

При постоянном недоедании и душевном беспокойстве, в семье Валуевых царило согласие. Жили они скромно. Имелась у них приличная банька, на три четверти занятая громоздкой кроватью. Под кроватью жил Катыш. Низкорослая помесь таксы с дворняжкой. Умная криволапая собачка.

До крыши теперешнего дома не рукой — носом можно дотянуться. И все-таки это было хозяйство. Под стрехой, обросшая бархатистым зеленым мошком, стояла гигантская бочка, доверху налитая чистойшей дождевой водицей. Большая бочка. Почти такая же, как банька.

Каждое утро Валуев опускал в бочку руки по локоть, шевелил искаженными глубиной пальцами. Освежив глаза, проводил мокрыми ладонями по волосам. Каждое утро Валуев сворачивал сигарку. Из самосада, который все лето пестовал, поливая жидким навозом. Зубы он прокурил еще до войны. Телом был тощ, лицом — носат. Умственные способности имел средние. Глаза детски-добрые, голубые.

Каждое утро Валуев заговаривал со своей собачкой. В скважине, которую оставила для другой мебели кровать, гнезвился печальный столик. На нем по утрам кипел самовар и лежала горькая овсяная лепешка. Дядя Саша с отвращением, как нечто живое, раздирал лепешку. Нехотя кусал. К голоду можно привыкнуть. К невкусной пище — никогда.

Каждое утро тактичный Катыш отворачивался от стола мордой к порогу и делал вид, что занят ловлей мух.

Помимо кровати, самовара и Катыша имелся у Валуевых предмет не менее симпатичный, а именно — аквариум. Стоял он на табуретке возле единственного окна. Аквариум был не ахти какой. Самоделка. В деревянные угольники, заполненные цементом, поставлены были четыре стекла — вот и вся конструкция. Плавала в аквариуме одна лишь серенькая рыбка гуппи. Время от вре-

мени Валуев запускал туда пойманного на удочку пескарика или плотвичку. Из жалости к одинокой рыбке запускал. Но все новоселы почему-то стремительно погибали. И только гуппи укоренилась. Дядя Саша подолгу наблюдал за нею, разглядывая отшельницу сквозь мутное стекло сосуда. И тогда казалось Валуеву, что и он в своем аквариуме, одинокий и пугливый, настороженно шевелит плавниками, и стоит только подохнуть задумчивой рыбке, как тут же обязательно умрет и он... и слава богу...

Жена Валуева, тетка Фрося, была хромой женщиной, про которых в народе говорят: «Рупь сорок...» Хромоту заполучила невольно. В крещенские морозы. Еще глупой девчонкой. Во время деревенских гаданий. Когда прямо с ноги бросали за ворота обувку. А потом — босые — носились по сугробам в поисках валенка или башмачка. Стала правая ножка сохнуть. Обуял ее ревматизм. И вот уж сколько помнит Валуев, всегда, постоянно в их доме пахло всевозможными растирками. Была тетка Фрося на десять лет старше мужа. Мальчиком дядя Саша влюбился на рынке в деревенскую красавицу, приехавшую продавать лен. Повздыхал возле саней, повыведал, откуда девушка... И стал ждать следующего приезда. И так лет десять наблюдал. Пока не подрос. И женился дядя Саша на тридцатилетней чернавке, и жил влюбленно.

Валуев бросил в стакан с кипятком белую таблетку сахарина. Поджелтил «чай» заваренной ромашкой. Громко сёрбая, пил воду. Лепешку он спрятал за широкий самовар. Экономил. Знал, Фрося потом отыщет. И про себя улыбнется. А вслух накричит на Валуева.

— Капризничаешь! Или с животом что?

— Ладно! Собирала б котомку... Иду я.

— Куда идешь-то?

— В органы, понятно...

— В какие такие органы?

— Милиции! Или оглохла?! Документы выправлять... Тетеря ошипанная.

Выходя из баньки покурить, дядя Саша, как всегда, зацепил головой низкую притолоку. Хотел расстроиться. Но, внимательно оглядев покрытое копотью бревешко, заговорил без матерных слов.

— Вот, любой тебя укусить может... — вернулся с порога в комнату. — А был бы паспорт... Теперь вот пойду.

— Иди, Саша. Люди только с виду злые. Потому как — на работе. Делом заняты. А ты покалякай вежливо. Глядишь, и отойдет. А то начнешь бычиться. Кому такое приятно? И про Кешу-сыночка расспроси. Начальству видней: вдруг да и жив мальчишко?

Покурив, дядя Саша вернулся в баньку. Получил от Фроси розовую тряпочку с деньгами на штраф. Прошел прямо к аквариуму. Благо не далеко было идти. На столе добыл одну-единственную хлебную крошку. Тщательно растер ее над зелеными зарослями водоемчика. Мгновенно, как мышка из норы, выскочила откуда-то невзрачная рыбешка, похватила, пожевала хлебную пыльцу и вновь исчезла, спряталась.

— Так-то вот, рыбочка. Счастливо оставаться. А мы с Катышкой — за документами. Отдыхай, плавай. Корму тебе на базаре купим. Вкусного. Рыбьего. А ты, Фрось, наблюдай за рыбкой. Яичка ей отщипни, когда сварить...

2

Дорога огибала болотные пятачки, переплетенные хлипким березничком и терпким багульником. Основной, крепкотелый лес обступал колею чуть позже, километрах в пяти от Гнилиц. До большака оставалось часа полтора ходу.

Серьезный Катыш трусил бок о бок с хозяйскими сапогами, не решаясь даже на короткие броски в сторону от дороги. Он как бы сознавал, что путь предстоит немалый, и тщательно экономил свои песьи силы.

На крыльце, за мгновение перед уходом Валуева, тетка Фрося обняла мужа неловко. Ноги ее подогнулись. Колени глухо стукнули о доски:

— Сынка бы... Старые мы. Поищи Кешу. Мертвым его не видели. Небось живет на краю. Где и почты нету.

Иннокентий исчез в сорок третьем. Ему и семнадцати не было, когда в городке совершилась знаменитая диверсия. Кешу схватили тем же утром, что и дядю Сашу. Только отца — по дороге к дому, а сына — в самом доме. В лагеря они попали разные. Старшего Валуева вскоре

освободили: как-никак — волостной голова... Но сына ему вызволить не удалось. Разузнав, где находится Кеша, Валуев довольно часто бегал к нему в лагерь за тридцать километров. Носил харч и белье. Последний раз видел Иннокентия при следующих обстоятельствах. Лагерников вели зыбкой, червеобразной колонной от станции, где они разгружали вагоны. Вели на обед, в зону. Высокого Иннокентия, даже здесь, в лагере, носившего на щеках неожиданные, словно чужие, румянцы, дядя Саша разглядел метров с пятидесяти. Рассказывая об этом дне, Валуев по обыкновению возбуждался. Чесал нос. Сплевывал под ноги. Глаза его наливались слезами.

— Бутылку самогона караульному сунул. Тот ее — под ремень, на пузо. И возле проходной будки постоять мне позволение сделал... Другую бутылку — конвойному. Чтобы штыком не кольнул. Когда харч передавать придется. Пакет всегда Фрося увязывала. А в этот раз самому пришлось. Веревочка ненадежная, бумажная. Да и сверток несуразный вышел. Кругляшом, тыковой... Ну, поравнялся Иннокентий-то со мной — я и метнул! Как мячик — с расстояния. А бабы вдоль колючки завидуют мне. Им подходить ближе нельзя. У них самогону нету. Принял сынок передачу. И, не останавливаясь, за ворота прошел. Вместе с колонной лагерников. Я кричу: «Сынок, морковку жуй! Витамины, мол... Тяжелого, значит, не поднимай...» А сынок и не оглянулся. Только рукой махнул за спину... Видать, застеснялся меня. Или еще какая причина. А я ему про галоши... «Галоши, мол, натяни! Сапоги сгноишь...» Гляжу, на крыльцо немецкого домика начальник выскочил. Как воробей взъерошенный... в голубом мундире. Видать, прежде летчиком был, а затем — списанный по ранению. Заикастый. Волчком вертится: не иначе — по нужде приспичило.

А лагерь ихний из разного сброду людей составлен был. Конечно, не лагерь смерти. И даже — не военнопленных лагерь. Хотя и пленные тут маскировались. И уголовники темные. И те, которые в саботаже обвинялись, то есть на работу не ходили. И просто бродяги закоренелые...

Выскочил ихний тот начальничек в голубом, увидел колонну людей и давай командовать: «Ш-ш-шире ш-ш-шаг! Ш-ш-ши-пана! Айн-цвай! Айн-цвай!» Взялся за

пуговицу на ширинке и уже хотел было отвернуться в другую сторону крыльца. А тут Иннокентий возьми да и вырони передачу! Выпал сверток и покатился. В направлении приступка. Голубой бывший летчик и увиди! Упер в бока ручищи и квакает: «Гиб мих дизе пакет! Ш-ш-шипана! Ш-ш-шнелы! Фузболь м-ма-х-хен!» Кеша мой нагнулся, сверток выудил. Стоит, улыбается, дурачок... А начальник кровью налился, орет свое: футбол, значит, ему давай... Так и танцует от нетерпения. Подбросил Иннокентий передачу. В направлении начальства. Приказ есть приказ. Немец, дурак, ударил влет. Да сразу и взвыл от боли! И заскакал на одной ноге. По крылечку. А сверток в середину колонны шмякнулся. Иннокентий хихикать начал. От растерянности. Лагерники хоть и под конвоем, а будто кино смотрят: глазищи пораскрывали. Немец с крыльца блохой! На сына наскочил и давай драться... Паскуда. «Чего, — кричит, — пакет?! К-камень п-пакет? Б-б-бомба п-пакет?!» И ну хлещет сына по ушам. Уж я за оградой — так и умер. Стою, не шелохнусь — наблюдаю. Жду, хуже б не было. А малец мой, нужно сказать, побои легко выдержал. На ногах стоял твердо, лица не отводил. Не привык еще к истязаниям.

Откуль ни возмись полицай, похожий на китайца, с двумя, как у бобра, зубцами передними, пакет из толпы забрал и еще больше ослабил, резцы свои желтые выпятил. Офицер приказывает: вскрыть пакет! Зубатый охранник бумагу штыком изорвал. Портянки розовые полезли наружу. Из довоенной Фросиной байки. Пара га-лош выпала. И килограмма два моркови мытой. А под конец уже, когда бумагу встряхнули, на землю кусок хозяйственного мыла вылетел... Эрзац, конечно... Пополам с глиной мыльце. Заграничное... Полицай узкоглазый в мыло своим штыком ткнул. Размахнулся, хотел на помойку товар забросить. А Кеша мой — не тут-то было! Хвать того холуйчика за локоть. Видать, от боли да унижения не сдержался. Злобно так и говорит: «Не трожьте! Не ваше!»

Косоглазого сразу будто собака покусала бешеная. Как завопит! Да штыком своим — в грудь Иннокентию. Правда, замах у него не получился. Может, кончиком и уколол. И то вряд ли. Охранник кулачишко поднял. А тесак отбросил. Только кулачишко-то у него против Кеши-

ного, как сморчок возле боровика: желтенький, морщенный. . . Иннокентий плечо подставил. А затем — снизу, с поклона — как вывернет малому тому — по зубам! И в клубок сцепились. Пылью мажутся. . . А немец доволен. Еще выше прыгает. И разнять дерущихся не позволяет: «К-к-карошо! — кричит. — Б-б-б-бокс! Б-бокс д-давай, махен!» И в боксерскую стойку сам становится. Азиата по плечу похлопал, Иннокентия ногой пнул. Вставайте, значит! И — чтобы на кулачках драться. Сынок-то мой с первого замаха как вмажет кривоногому. . . По зубам, благо они долгие и видно их хорошо. Зашипел, заплелся малаец. Опять они в пыль оба упали. Гляжу, полицейский кусок кирпичины вывернул тайком и за спину прячет. Я как заору: «Сынок, берегись, убьет!» Кеша тут вроде как услышал меня, отвлекся. . . А косоглазый и шарнул ему по затылку. Подумал и еще раз приложился. Тут, слышу, офицер выругался. И на сынка показывает: «Лазарет! Би-бистро!» И в дом ушел. А Иннокентия лагерники подхватили — унесли. Многие улыбаются: как же, в кои веки полицейский по зубам получил. . . Плакал я за оградой, кричал, пока не прогнали. С тех пор и не слышать про сыночка: что с ним? Убили, ранили? Или в заключение заточили? Раза три еще сходил я к тому лагерю, да все без пользы. А затем и лагерь переехал куда-то. Прихожу: барак нет. Одна большая белая помойка на территории. Да еще дорожки песочные. И — чистота. . .

Шагая теперь по дороге к городу, Валуев отчетливо представил, что сынок его Кеша, убитый, лежит в земле. А земля — большая. И никогда, даже при помощи современной техники, никогда ему не отыскать той могилы. В тревоге дядя Саша остановился. Дорогу теперь обступал лес. Катыш вопросительно оттопырил ухо и, как бы невзначай, замолотил хвостом по голенищам сапог хозяина.

Запоздавшие с отлетом скворцы облепили усыпанную шишками поляну меж двух сосен. Птицы суетились, видимо сговариваясь, но уже не свистели по-летнему, с хулиганским потягом, а издавали все вместе какое-то, почти кошачье, мурлыканье. . .

Дядя Саша обратил внимание на скворцов. Улыбнулся одними глазами. Ощутил себя живым среди живых. И, наклонясь к Катышу, погладил его по спине.

Катыш, не мигая, преданно смотрел на Валуева. Затем сорвался, заторопился вперед по тропе. Вскоре он опять остановился, как бы спрашивая: ну, что ты стоишь, большой человек? Двигайся давай! И Валуев, по-лошадному тряхнув головой, трогается дальше. На нем, по уши нахлобученная, покачивается тяжелая коричневая кепка с большим козырьком-«аэродромом». На узких плечах, как на заборе, висит длиннополое черное пальто дореволюционного дрэпа с бархатным узеньким воротничком, сшитое вскоре после свадьбы. За плечами брезентовая котомка, содержимое которой, стянутое ляпочным узлом, не превышает размера среднего мужского кулака.

Дорога, вильнув хвостом, выкатилась на чудесный, еще зеленый лужок, в центре которого, заросший осокой, таился ручей. Настоянный за лето на всевозможных травах, прогонял он сквозь полуголый лес свой золотисто-коричневый прохладный чаек. Рядом с убогим мостиком в четыре бревна дядя Саша обнаружил двухколесную телегу, по-местному — «беду». Представляла она собой две огромные оглобли, соединенные деревянной же осью, на которой вращались дико стенавших два деревянных колеса.

Худой старый конь жадно вгрызался в еще сочный, заливной дерн. Чуть в стороне, там, где трава была погуще и поцелей, стоял низкорослый широкоплечий мужик в ватнике и сплюсненной пограничной фуражке с ярким зеленым верхом. На руку мужика была намотана веревка. На веревке крепилась белоногая, с кудрявым безрогим лбом телка.

— Здравствуй, Лукьян! Никак скотину пасешь?

— Рад видеть Александра Александровича! Сейчас мигом запрягу, и садитесь, если в город. Вдвоем хорошо... А я вот... телку кормил.

— Далеко ты ее, Григорьич, на кормежку вывозишь.

— Если бы на кормежку... На мясо я ее вывожу. На колбасу да студень. Дурочку... Вот едем, глядим — лужок мокрый. Пусть, думаю, пожует напоследок.

Лукьян Григорьевич потянул отсыревшую веревку. Телка голову от травы подняла. Внимательно посмотрела на хозяина. Тогда Лукьян сам пошел к ней, и сразу объяснилась шустрая подвижность его головы и тугая скованность туловища: у Лукьяна Светлицына не было

ноги. Заменяла ее деревяшка, похожая на большую перевернутую бутылку.

Светлицын подтащил телку, поддел неустойчивый, щенячий зад животного плечом, и скотинка мигом очутилась на телеге. Коричнево-синие глаза ее были настолько безгрешны, что казались незрячими.

— Скотина, понимаешь... А резать жалко, — виновато бормотал Лукьян, примащиваясь возле правой оглобли. По левую сторону, растребушив солому, Светлицын усадил Валуева. Гнедой, кожа да кости, мерин стоял, уткнувшись мордой в траву. Вот он сглотнул и, как бы опомнившись, с треском откусил влажную прядь травы. Тогда Лукьян ткнул в его заднюю ногу кнутовищем. Лошадь продолжала стоять. — Вот свинью, к примеру, ничуть не жалко, ежели на убой. Неприятное животное. А злую — так и совсем легко убить. Свинью... А телка — тихая. Ну, Боец! Поехали давай! Оторвься, пошли! Нн-нно! Дерет, дерет траву, а все без толку. Одно брюхо с костей свисает.

Мерин Боец, чуть ли не с буденновских времен носивший свою лихую кличку, поднял голову. Прислушался. Поднатужившись, враз выхватил из ручейной низины рогатый экипаж. Катыш даже пасть от неожиданности захлопнул: надо же, лошадь-то живая, оказывается. Взяла и поехала. И собачка весело кинулась вослед шатковалкой колеснице.

— По почтовой надобности в город-то? По казенным делам?

— По казенным. Хотя и не по почтовым. Хреновые у меня дела, Григорьич. Паспорту срок вышел. А тут еще — от сынка ни звука нету. Баба надеется все...

— И правильно делает. В наше время каких только чудес не бывает. В Заболотье вон на Евсифея Голубева сперва похоронка пришла, потом — без вести. А он дома сидит, тоже без ноги, как я. И сам за те похоронки расписывается... А паспорту срок — так это тыфу! — по сравнению...

— А ты бедовый, Григорьич. Ты, небось, и в лагерях не терялся. При любой погоде — сухой...

— Побэги я из плена делал. Три больших и десятков маленьких. Все бегал и бегал... Условия не подходили.

Валуев начал было сворачивать сигарку, но вежливо вспомнил о Светлицыне, протянул ему кисет с самоса-

дом. Подумал: «Хороший мужик Лукьян, а — дубье. Кажись, огни и воды прошел, а не только нога, но и башка — деревянная...» Принимая от Лукьяна кисет, рассматривал голубые, несерьезные глаза Светлицына. «Да-а... Бодрячок. И с чего бы? Детей пятеро... Правда, жёнка — бой-баба. Рыбиной бьется, а семью соблюдает. Хлебушек — по воскресеньям. В будни — одна картошка с паром... Лукьяну, видать, и ногу-то не столько отстрелило, сколько черви потом сточили: терпеливый. И все улыбается, чурбан недоколотый!»

Тем временем лес кончился. Проселок подобрался к мощеной столбовой дороге и растворился в ней, как ручей в солидной реке. Впереди угадывалось большое село с ветряком и водонапорной башенкой, изуродованной осколками в войну и напоминающей теперь ржавый дуршлаг. Слева от дороги тянулось грязное холодное поле, на котором копошилось несколько старух и школьников, перекапывавших землю в поисках неубранной картофельной мелочи. Правее, по краям льяного засева, мокли на осенних дождях жалкие снопики долгунца. Желая переменить прерванный разговор, дядя Саша напомнил притихшему Лукьяну об их прошлогодней беседе, когда, встретившись по весне на молодых зеленях, недавний горожанин Валуев пытался узнать у Светлицына наименования местных злаков. И как Лукьян тогда, показывая клюшкой на озимую рожь, приговаривал: «Значитца, туточки произрастает перловка, по-вашему городскому — сага или ядрица. А за тем увалом — гектар манки да гектар сечки. Ну, и геркулёсы, само собой», — махал он в сторону изумрудных овсов.

— Помнишь, Григорьич, как ты мне про перловку да манку заливал? А я и уши развесил поначалу...

— Как не помнить, Александрович. Наивный вы человек оказались. И веселый: всему поверили. Ежели б я тогда про лапшу за выгоном не сказал...

— А теперь ты мне, Григорьич, такую вещь объясни. У тебя на огороде много чего осталось? В земле? В смысле — овоща?

— Пусто! Хоть с миноискателем... Мои скворцы такую ревизию навели, любо-дорого...

— А здесь, гляди, ковыряются, — кивнул Валуев в сторону картофельника. — Почему?

— Колхозная, опчая здесь... И ширина ей — не чета огородной.

— Ты прямо отвечай, не ерзай. Свою ты убрал до последней штучки. А колхозную, стало быть, как придет-ся? Она ведь тоже своя, наша...

— Наша-то наша, только — много ее. Не управиться.

— Ври больше. Охота на нее не та. Так и скажи. Частник ты, Лукьян Светлицын, собственник.

— Нет, зачем же... Колхозник я. А частник — это когда с бабой на печке сплю.

Лукьян Григорьевич весело огрел хворостиной толстую оглоблю. Боец дернулся, и тут вышел казус. Неожиданно лошадь полностью распряглась. Враз вылетела из креплений дуга, рассупонился хомут, а тяжелая оглобля, все еще связанная с хомутом, поднажав, стащила ярмо через понурую голову Бойца.

Тем и славился гнилицкий Лукьян, что ничего не умел делать основательно, в законченном виде. Лошади у него распрягались, гвозди под молотком в узелок завязывались, борозда на огороде вьюном вилась. И все прежние Светлицыны этим отличались. Настойчивые и упорные были до ожесточения. Однако что бы ни сделали — получалось неприглядно. Валенки катали на одну ногу, колодцы рыли глубочайшие, а воды в них не оказывалось. Печки клали тоже самолично. И дым из помещения ведрами выносили — тоже без посторонней помощи. Отец Лукьяна возле крепкой еще избушки начал строить новый дом. А когда захворал, жена шабашников пригласила на доделку. Походили шабашники хороводом вокруг несурзадного сруба, поматерились всласть, а на другое утро — дай бог ноги! — сбежали прочь. И стоит изба недоделанная, огромная, раздражающая взгляд, но уж — как говорится — своя в доску! И живут Светлицыны в ней, так как старенькая избушка в войну погорела. И пули, и бомбы, и вся геенна огненная фронтовой полосы обошли стороной косоребрую уродину, будто побрезговали ею.

И сейчас, на дороге, Светлицын решительно отстранил Валуева от упряжи.

— Сидите, Александрович... Я мигом. У меня тут секреты разные. В сбруе. Вдвоем и вовсе запутаемся.

Вторично распряглись в центре большого села — перед входом в чайную, где решили пообедать.

Чайная — рубленый пятистенки, пропахший многолетними шами-кашами, — делилась изнутри на «залу» и отгороженный раздаточным барьером «цех». Сейчас тут было свободно: одни столы да табуретки. Светлицын с дядей Сашей прошли в глубь заведения и сели за столик, под который забрался Катыш. Озираясь, стали громко принохиваться, стараясь угадать, что нынче в меню.

Из-за перегородки на посетителей побежала могучая тетка в красном переднике. Казалось, она кого-то догоняла. Или от кого-то спасалась.

— Ши! Гуляш! Кофий! — будто камни на стол бросала, стоя над дядей Сашей. Из-под стола Катыш зарычал, обороняясь.

— Щец... — пролепетал дерзко Валуев.

— Двое? Трое?! — кричала официантка.

— Почему же трое? — поинтересовался Лукьян Светлицын.

— А собачка? Она у вас что — мышей ловит?

— Давайте и собачке! — заторопился Валуев. — Гуляем! И по гуляшу.

— А кофий? — строго спросила женщина.

— Может, у вас чаек найдется?

— Оно, может, и чай, только у нас это кофею называются.

Официантка, скрипя половицами, на большой скорости унеслась к раздаче, бросив за барьер непонятное слово — «Трешей!».

— Огонь-баба! — улыбнулся Лукьян.

— Да-а. Страшная женщина... — то ли подтвердил, то ли опроверг сказанное Светлицыным дядя Саша. И добавил потом: — А кулаки у нее какие... Видел?

— Огонь... А выпить вот не предложила, — вспомнил зачем-то Лукьян.

— И правильно сделала. Не к теще на пироги. В органы иду. Дыхнешь там, и вместо паспорта — поминай как звали, — потер переносицу Валуев.

За окнами закуской, твякнув сигналом, остановился крытый брезентом, плосконосый «виллис». Из боковых отверстий его кабины высунулись две ноги: одна, в хромовом сапоге, — направо, другая, в кирзовом, — налево. Из машины выбрались шофер в засаленной телогрейке и солидный румяно-рыхлый дядя в кожаном

пальто. Оба, не оглядываясь, устремились на запах шей.

Проезжий скрипел новой, необкатанной кожей. В нетерпении потирал руки. Уселся он в пустом углу «залы», подальше от гнилицких мужчин. Официантка гоголем взмыла в ту сторону, и вскоре вокруг кожаного типа закипела, запенилась работа. Селедка с картошкой, ветчина с горошком, мясо тушеное — все это так и мелькало в руках могучей женщины, так и вращалось вокруг лысой головы клиента и его кудлатого молодого шофера, сбросившего засаленную телогрейку прямо на пол у входа. Пузатый, железобетонного фаянса чайник выполнял функцию графина. Розовый товарищ нацедил в граненые стаканы коричневого «горного дубняка», дунул в сторону с таким видом, будто в прорубь шагнуть собрался. Медленно выпил.

Любознательный, но весьма тактичный Катыш, привлеченный мясным духом с чужого стола, нерешительно продвинулся в том направлении. Вот он шумно потянул воздух носом.

Шофер, призывного возраста паренек, заметил собачку и, выудив из своей тарелки горячую косточку, жизне-радостно протянул ее Катышу. Это не понравилось начальству. Дядя взбрыкнул под столом ногами.

— Кыш, оглоед криволапый!

Шофер виновато посмотрел на отбежавшую собачку. Молча уткнулся в клубящиеся пары шей.

А дядя Саша, услышав капризный тенорок, тотчас узнал в проезжем бывшего начальника городской почты Польшаева, своего довоенного шефа, к которому теперь, после войны, имел кое-какие претензии.

3

Польшаев сидел спиной к Валуеву. За войну он оплешивел и раздвинулся вширь. И не узнал бы его дядя Саша никогда, не заругайся тот на собачку своим характерным бабьим голосом. Валуева так и повело, даже за Лукьяна Григорьевича ухватился и щипнул тому из ложки разбрызгал — такая для него неожиданность получилась этот Польшаев. . .

— Глядите, кого принесло. . . Григорьич, смотри, харя какая!

— Нормальная... — прошептал Лукьян, — круглая. Знакомый, что ли? — кланяясь тарелке, поинтересовался Светлицын. — Солидный мужчина.

— Нет, обрати внимание, какой он задумчивый! Важный какой. Водку из чайника сосет... Эй, мамочка! И нам бутылку откупори. Мы хоть и не в коже, а выпьем тоже. Говоришь, солидный мужчина? Гад он солидный, Григорьич... Из-за него я в оккупацию попал.

— Да что вы говорите? — вытаращил глаза Лукьян.

— А то и говорю...

И в памяти Валуева отчетливо вдруг вспыхнул тот некстати нарядный, солнечный день. День бегства из перепуганного пальбой и пожарами городка...

— Мы во дворе почты эвакуацией занимались. У Польшаева в кассе денежки казенные, марки... Корреспонденцию не востребовавшую тоже полагалось с собой забирать. А тягла у нас — полуторка имелась да махонькая такая лошадка. Игрушечная. Карлик, одним словом... Польшаев бегом распоряжается, кого куда. Сейф с кассой — в полуторку. Семейство свое с обстановкой и узлами туда же. А меня с корреспонденцией в повозку. На карличке, значит... А со мной племянники, Фрося с вещичками. И неплохо бы на лошадке. Потому как у машины гайка отлетит, и чеши затылок. Спокойнее на лошадке... Одна беда — скорость низкая. Не успеть на лошадке. Немцы уже вокруг городка пляшут. Одна незапятанная дорога осталась... На восток, ко Дну, к узловой станции. «Слышь, Польшаев, — говорю я своему шефу, — увези моих на полуторке. Будь человеком». А нужно сказать, что другие сотрудники почты, в основном женского полу, ехать куда-либо отказались. Да и куда им от дома, от огорода? На печке-то у себя не только голодать — помирать легче. А мы с Фросей эвакуироваться решили. В беженцы, значит... В основном — из-за племянников. Думали, успеем их в Ленинград к родителям доставить. А где там... Польшаев слюной забрызгал, грудью жмет. «Указание, — кричит, — получил?! За казенное оружие системы Коровина расписался?! И катись, пока немцы на колбасу тебя не перемололи». Прошу еще ласковой. «Возьми, говорю, только племянников да бабу. Вещички брошу. Хрен с ними. А сам лично поеду на подножке. Стоя». Отпихнул он меня... В кабину заскочил. Шофера локтем в бок: гони! Даванули они по педалям —

отбросило меня от полуторки. А когда из ворот выезжали, кто-то из польсаевской родни платочком помахал. Наше, мол, вам! Тю-тю... У меня чуть ли из глаз не закапало. На бульжник. Посмотрел я на свой ковчег. Лошадка не больше собаки. Мешки с почтой. Племянники... Фрося с пожитками. Такой ворох получился! А делать нечего — поехали. Я лошадку за губы взял, повел. А Польшаев, гад, едва от города отъехал, все почтовое — в канаву, и поминай как звали. Своими глазами удостоверился. В его вероломстве. Помнится, на другой уже день, когда нас, почитай, все обогнали и вся механизация на восток схлынула, остановили нас какие-то непонятные танкисты. Спокойные. В наглаженном обмундировании. Тут же на дороге и машина ихняя. Что твой дом. И один вроде как в моторе копошится. Подходит к нашему возу их самый старший. Со шпалами. Интеллигентный лицом. Взял меня за ногу — да как дернет с воза! «А ну, слазы!» И в богородицу! Правда, с акцентом. Вроде как латыш разговаривает. «Коммунист? Бежишь?! А ну, почта, сдавай, — кричит, — оружие!» Я по карманам себя захопал, дурачком прикидываюсь. Фрося с возу поясняет, что будто бы я ненормальный, убогий. А когда майор меня за глотку взял, скинула Фрося кобуру. Вспомнил я, что не действует моя «коровина», — и улыбнулся. Неисправный был пистолетик. Для виду только. И говорю танкисту: «Нельзя ли расписочку? На конфискацию? Спросят с меня...» — «Ты есть дурак, — отвечает. — Душевнобольной. А с дурака не спросят». Ну, объехали мы танк, а в километре от него — гляжу, в канаве сейф стоит. Незапертый. Порожний, конечно. У меня от сейфа третий ключ: один у Польшаева, второй у кассирши, а третий у меня. Ну, подхожу к сейфу, бумаги, какие возле разбросаны, запикиваю в него и запираю. На три оборота. Далеко мы тогда не уехали, конечно... А Польшаев без сейфа и очень просто мог ускакать до тылов. А мы лошадку повернули, корреспонденцию рядом с сейфом сложили — и восвося... В оккупированную местность. Но польсаевскую хватку запомнил я навсегда. И вот, на тебе, сидит, жрет, собаку ногой пинает.

Официантка принесла водку. В бутылке. Дядя Саша насупился.

— Кому так в чайнике... А нам...

— А вам-то от кого маскироваться? — вспыхнула

женщина. — Человек на службе, начальство... А вам-то какого беса?

Выпили. Лукьян Григорьевич указал пальцем на Польшаева:

— Говорите, плохой человек?

— Плохой. В беде меня бросил. От машины, как сабаку, ногой оттолкнул. А ты чего, Лукьяша, или поскандалить с ним хочешь? Не вздумай. Такое не тронь, оно и вонять не будет. Понял?

— Понял. Только мне за вас обидно. Неужели так ничего ему и не скажете? Ну, хоть поздоровайтесь. Может, узнает и стыдно ему делается?

— Товарищу Польшаеву! — поднял дядя Саша стакан над головой.

Человек в кожаном пальто перестал жевать. Вскочил на ноги. Дрожащими руками взял чайник, стал из него две порции выпивки нацеживать. На круглом, выпуклом лице встрепенулась улыбка. Затем Польшаев поднял стаканы и понес их торжественно через «залу».

Катыш, задрав край черной губы, обнажил белый клык и нехотя, но молча вдвинулся задом глубже под стол.

— Сан Санычу! Ай да встреча! Расскажи кому — не поверят. Живой-невредимый. Молодца, ай, молодца! А я думал, тебя уж на суперфосфат... То есть — на удобрение. Выходит, не время еще. Молодца... А ну, грохнем за встречу! — протянул Польшаев дяде Саше стакан.

Дядя Саша хотел заругаться на Польшаева и не смог. Рука его поганенько вспотела, предательски огрузла, потянувшись за подносимым стаканом.

— Рад видеть... Живым-здоровым. Значит, эвакуировались?

— Едва проскочил! На глазах, можно сказать, врага утек. Три снаряда по мне выпустили, супруге ножку покалечило, — частил тонкоголосо, будто мяукал, Польшаев. — А своячницу прямо в кузове убило. Только приляжусь хоронить — бац, обстрел. Ну, я ее, покойницу значит, опять в кузов и — ходу! Пять раз принимался. А ты, Сан Саныч, молодца — жив! Так и надо.

— Я-то жив, а вот сейф куда вы дели, товарищ Польшаев? — подмигнул вдруг дядя Саша.

— То есть? .. Не расслышал тебя, Сан Саныч... Какой такой сейф?

— Железный, товарищ Польшаев. Несгораемый. С ценными бумагами.

— Это в сорок первом, что ли? При отступлении?

— При планомерном отходе, товарищ Польшаев.

— Шутить? Смотри-ка... Повеселел человек за войну. Говорю — молодца!

— Помнишь, я тебе свою Фросю предлагал? Вместо сейфа?

— Ай, шутник!

— Спасибо, что не взял. А то бы как сейф ее — в кювет! Что бы я без нее теперь делал?

— Кто старое помянет, Сан Саныч...

— Хорошо, что ты такая сволочь оказался тогда, товарищ Польшаев...

— Но-но, эк тебя сморило в один оборот.

— А то еще неизвестно, куда бы ты нас тогда завез на своей полуторке...

— Зуб, значит, на меня затаил? Нехорошо, Сан Саныч. Невесело встречаемся. После разлуки. Забыл ты меня, дорогой. Ну, да что станешь делать? Я не в обиде. Война — она многим мозги отшибла. А ведь то, что мы с тобой врозь драпали, — оно, может, и впрямь к лучшему. Служишь-то где? Небось опять — почта? Ну, ну... Я не в обиде. Смотри, еще пригодиться могу. Я тут хоть и проездом, но человек тебе свой... Учти, бедолага. Приятного аппетита, — обратился он непосредственно к Лукьяну Григорьевичу и так же неторопливо, торжественно, как и при подходе, отбыл прямоком к выходу из закуской, бросив шоферу серый комок мятых денег: — Кончай, Коля, обедню! Заводи, поехали. — Возле выхода Польшаев сорвал с гвоздя габардиновую, военного образца фуражку, грубо оттолкнул дверь, перелез через высокий порог и уже хотел было грохнуть тяжелой, как речной плот, дверью, но, поразмыслив, медленно, едва слышно притворил ее за собой.

— Обходительный мужчина... — вслух подумал Лукьян Светлицын. — Хоть и начальник с виду. — Поймав у шофера в глазах ребячливую улыбочку, полез к нему с вопросом: — Это кем же он будет у тебя, такой кожаный? Конечно, ежели не секрет?

— И не кожа на нем. А заменитель... Трофейный. Вот вожу по району. Как Чичикова. Ха-ха! — окончательно осклабился малый. — А вообще-то — инспектор. Фью-

фью, — поманил шофер Катыша, положил на пол кусочек вареного мяса. Погладив подобрившего песика, что нерешительной развальцей приблизился к съестному, шофер Коля кивнул мужикам и, расплатившись с официанткой, покинул заведение.

— Значит, ревизором Полысаев... Ездит, проверяет: все ли в порядке? А я вот нагрубил ему...

— Это точно. Пошуршали малость, — согласился Лукьян. — А так — кто же его знает? Разговорчивый мужчина, общительный. Вы его «сволочью» обозвали, а он — смотри как вежливо.

И тут не выдержал дядя Саша. Захохотал, затрясся. Большой беззубый рот его открылся настежь, как прогоревшая печка.

— Как он меня!.. Ха-ха... «Молодца», говорит, кхы-кха! Молодца, скребут те маковку! Давай, Лукьяша, помянем его, как полагается! За упокой души! — И дядя Саша лихо ударил своим стаканом о стакан Светлицына.

— Зачем же — за упокой... Во здравие... Во здравие! — поправил Валуюва Лукьян Григорьевич, и они выпили по последней.

4

Теперь ехали, громко разговаривая. Валуюв даже руками помахивал. Обыкновенно в общении с посторонними дядя Саша ограничивался ответами на вопросы. Или молчал. На разговор прорывало его исключительно с людьми, которых он считал тише или слабее себя. Вот и с Лукьяном Светлицыным Валуюву хотелось говорить. Как пить после селедки.

— Не обидишься, если я с тобой разговаривать буду?

— Это — сколько угодно. Если интерес имеете... — улыбнулся Лукьян.

— Улыбаешься, чурка, а телушку от детей увозишь. Они у тебя что — мясо не употребляют?

— Употребят, если дать. А что, сказывают, мясо вредно кушать? Писатель Лев Толстой мяса не ел. И художник Репин. Старичками вон как долго прожили зато...

— Ну, это старички. А как же детки твои? Они бы телушку сами съели. А ты — улыбаешься. И почему это в ваших Гнилицах все такие веселые? Добрые такие?

— А вы разве злой? Хотя и приезжий?

— Всякий я, Григорьич. Вот Польшаева повстречали. Тебе он кто? Никто. Так, дядя... Рыло проезжее. А ведь я его чуть не ударил давеча... Потому как на полуторке мог он тогда и меня увезти. Все равно почта в канаве осталась. И не было бы ни оккупации, ни всей этой жизни паскудной... Вот и злой я на него.

— Так уж тут злись не злись — делу не поможешь. Все в прошлом. Вам питаться лучше надо. Вон вы какой тощий. А не злиться...

— Значит, ты потому такой добрый, что жрешь много?

— Мне злиться нельзя. У меня детей охапка. А еще я везучий. Вон, гнилицкие мужики — сколько их уцелело? То-то и оно. А я везучий. Живой. Вино, гляди-ко, выпиваю.

— Так ведь голодаешь. Губы синие... В войну хоть казенное лопал.

— Это голодаешь, когда рассуждаешь. А за делишками и не слышно.

До города оставалось километра два езды. Проезжая мимо кирпичных остатков взорванного спиртзавода, наткнулись на толпу. Человек пятьдесят военнопленных, сбившись кругом, молчали, опираясь на кирки-лопаты. В центре, как на митинге, молодой, послевоенного призыва, сержантик произносил речь. Этот совсем еще школьный парнишка неумело ругался, то и дело отпихивая локтем сползавшую из-за спины к животу кобурку с «тетешником».

— Чего-от ты, длинна шея, нос воротишь? Запах ему не нравится! А ты нюхай, гад, нюхай! Твоя работа! Все у меня разберете, до кирпичика... И всех оттуда подымете. На своих руках. И хоронить заставлю! Нос он гнет... Убивать, поди, не гнулся... Ком, говорю, сюда! Арбайтен будем. А кто бастовать, тому... еще хуже будет, — подобрал наконец угрозу взволнованный начальник конвоя.

Объехав толпу стороной, Светлицын придержал мерина за грудой развалин. Дядя Саша повел носом. По ноздрям ударило густое зловоние.

— Давайте поедем? — вопросительно сморщился Лукьян.

— Постой, Григорьич... Хочешь, закурим? Все не так пахнуть будет. Понимаешь, интересно, кого они там откопали? — с этими словами Валуев слез с подводы и начал сворачивать сигарку.

Пленные вдруг загугукали, забормотали... Неизвестно, о чем они там калякали, как психоватые. Однако суетились недолго. Какую-нибудь минуту. Затем бормотание выровнялось, и пошел у них деловой разговор. Бригадиры повели пленных к зияющему в кирпичной горе пролому.

Молодой сержант розовым сделался, как возле домы горячей постоял. Вот он зашагал прочь, решив поостыть от толпы. И тут наткнулся на повозку Лукьяна. Светлицын еще издали — в знак внимания или ради успокоения сержанта — в приветствии приподнял свою пограничную фуражку.

— Нашим доблестным! Откуда так плохо пахнет, начальник? Не от твоего ли воинства? Иностранного?

— А ты, папаша, проезжай отседа! Запах ему не нравится! Газуй...

— Огонька не найдется, товарищ боец? — вступил в разговор дядя Саша.

— И не боец он, а товарищ младший сержант! — поправил Валуева Светлицын. — Боец — это наш мерин так прозывается... — высвободил из сена деревянную ногу Лукьян Григорьевич.

Сержант, смекнув, что перед ним инвалид войны, подобрел вмиг лицом, окончательно успокоился. Пыл его сник, перышки опустились.

— наших тут! Полный подвал... То ли взрывом засыпало... Скорей всего — госпиталь бывший. Вот, закуривайте! — протянул сержант Светлицыну пачку «Звездочки».

— Спасибо. Говоришь, запах им не нравится?

— Ихнее задание — кирпич разбирать. А я их в подвал загоняю. Трупы выносить. Как тут кирпич брать, если помещение занято... И, вообще, похоронить надо, раз откопали.

Дядя Саша, молча куривший до сих пор, вплотную приблизился к сержанту.

— Дело-то какое... — заторопился, зашептал в лицо пареньку. — Сынок у меня в войну затерялся. В лагерь его поместили. А там на моих глазах... Тип один кам-

нем его ударил. Кирпичом по голове. Понятно? И унесли. В госпиталь.

— В здешних местах?

— Не совсем. Однако — в России. В госпиталь, поихнему в лазарет, унесли. Сам видел. Короче говоря, залезть бы мне туда, в яму? Допусти, милый. Я мигом!

— Полезайте, не жалко... Только вот даже эти, которые под конвоем, а не шибко туда лезут. Едва уговорил. Порешили: за одним мертвым двое спускаются и сразу вылезают. А за вторым — другие двое... А то, слышь, противогазы им подавай! Где их тут взять, когда они в казарме, противогазы эти.

К сержанту из-за развалин, оттуда, где копали братскую могилу, примчался веснушчатый хлопотливый солдат из конвойных.

— Товарищ сержант, про глубь указания не было! Сколь вглубь?!

— До песочка дошли теперь?

— Так точно! Красненький...

— И в песочек на метр. В самый раз.

— И то хлеб, товарищ сержант! — повеселел боец. — А то — ну-тка до глины ба! — повеселел и убежал.

Дядя Саша вторично метнулся к сержанту:

— Вы у них докúменты, докúменты проверьте!

— У кого это?

— У них, у них... У мертвых.

— Указание есть: какие будут бумаги — изъять. Только какие «докúменты», когда голые все, то есть в нижнем, в spodнем... И темень. Слазил я туда. С фонариком. Да разве чего понять? Может, и не наши вовсе. А какие другие. Это ведь только по слухам, что наши... Потому как — убитые...

— Все равно — необходимость имею... Опуститься, — настаивал на своем Валуев. — Ты подожди-ка меня, Лукьян Григорьевич. Я скоренько. Глазами только взглянуть... А не то после покою не будет.

— Ступайте, ступайте... Обожду. Вот подвинусь малость с-под ветра. И собачку свою положите ко мне в солону. Чего ей тут бегать, нюхать?

Дядя Саша подцепил под брюшко ничего не понимавшего Катыша, засунул его в соломенную труху, поближе к Светлицыну. Потом в сопровождении сержанта дви-

нулся к черному, пробитому в куполе погребца отвер-
стие.

Из ямы уже явились первые двое, предварительно подав «на-гора» носилки с чем-то неприглядным. Дядя Саша видел, что остальные немцы заинтересованно обступили тех двоих, выскочивших из-под земли. Тогда и Валуев, с молчаливого согласия сержанта, поспешил к очевидцам. Перед ним расступались. Дядя Саша был пугающе тощ. Смахивал на концлагерника, и пленные, взглянув на него, поспешно отворачивались.

— Слышь-ка, камрад... — ухватился Валуев за одного из тех, что лазали в дырку. Пальцы рук его так и бегали перед лицом немца, так и терлись друг о друга, словно дяде Саше чего-то не хватало. — Кто они там, ферштеешь? Кто будут по национальности? Наши? Ваши?

Немец, к которому обращался Валуев, был седой по вискам. Под темными бровями умные, тяжелые, словно больные глаза.

— Русиш там или дойч? — пришел дяде Саше на помощь сержант.

Немец устало отмахнулся, как от надоедливых детей:

— Луди, луди!

— Говорит, люди там, — перевел Валуеву сержант, хотя и без перевода все было ясно.

В зияющее отверстие опустили свежесколоченные лестницы — одну в метре от другой.

За очередным трупом отправлялись два молоденьких немца: чернявый и беленький. Белый повязал нос засти-
ранным платочком. Черный варежки из-под ремня вы-
тащил, на руки надел. Следом за ними в пролом полез и дядя Саша.

Там, внизу, под самым проломом, видимость в радиу-
се десяти метров была сносной. А дальше, в глубине по-
мещения, свет проливал керосиновый фонарь «летучая
мышь».

Первое, что, помимо запаха, неприятно поразило Ва-
луева, была омерзительная сырость на полу. Направо и
налево в неясные пространства подземелья уходили очер-
тания полусгнивших нар. Кое-где верхний ряд нар обва-
лился. Все, что осталось от людей, лежало серыми куч-
ками. Скелеты в тряпье валялись всюду: в проходе, на
нарах и под нарами. Сам подвал — непосредственно сте-

ны, своды потолка — поврежден не был. Можно предположить, что взорванный заводик наглухо засыпал собой подвальное помещение и все, что в нем тогда находилось.

Судя по разнообразным позам погибших, люди умирали в муках и не сразу. Скорее всего — от удушья, от нехватки воздуха. От голода умирают иначе: полностью обессилив, не дергаясь.

Сняв с гвоздя «летучую мышь», дядя Саша захотел пройтись по рядам. Но не увидел ни лиц, ни примет принадлежности к тому или иному народу. Он увидел только смерть. Вернее — ее работу. Но увидел так близко и с такими страшными подробностями, что даже о просроченном паспорте перестал думать и все страхи свои земные на какое-то время позабыл. . .

«Господи, — подумал он, — стоит ли жить вообще, чтобы так умирать? Сынок мой, да если ты здесь и найду я тебя в этой преисподней, да разве ж мне легче делается после виденного? Нельзя на такое смотреть. . . Живому. . .»

У Валуева закружилась голова. Он судорожно ухватился за гнилые доски. И только благодаря малому весу дяди Саши ничего не обвалилось, ничего не рассыпалось.

Пленный с повязкой на носу заметил, что странному тощему дядьке сделалось не по себе. . . И тогда, отобрав у Валуева фонарь, юноша подхватил русского под мышки и так, почти волоком, дотащил до отверстия, где второй пленный принимал сверху порожние носилки.

Нужно было видеть, с каким измученным лицом возвращался дядя Саша из ямы на свет божий. . . Сержант протягивал Валуеву руку и, поддерживая его при подъеме, испуганно оттопырил нижнюю губу.

— Нашли, да?! Сынка то есть? . . . Вашего?

— Не для моей комплекции такие опускания. . .

— Тут и водолазу не всякому впору. . . — заскрипел деревяшкой Светлицын, становясь с дядей Сашей бок о бок. — Покурите-ка вот, — сунул Валуеву в губы зажженную сигарку.

Лукьян заметил, что дядя Саша пристально смотрит на одного из пленных. . . Сам еле держится на ногах, а смотрит с великим вниманием и напряжением.

— Ну, что вы, Александрович? Серчаете так? Теперь и не установишь, кто это зверство исполнил. Тем более что и вовсе неясно, какие такие люди побиты — ихние или наши, красные? .. — гладил Лукьян Валуева по рукаву пальто.

— Установят! — пообещал сержантик. — Скоро придут. На легковушке. Которые специалисты. С чемоданчиками.

А дядя Саша — его словно парализовало при взгляде на высокого, с прищуренными глазами пленного в русском ватнике и своей, немецкой пилотке с козырьком.

Пошатаываясь, Валуев приблизился к этому человеку.

— Здравствуйте... Не узнаете?

Немец перестал шуриться. Пожал плечами. Виновато улыбулся дяде Саше.

— Лицо мне ваше знакомо... Вот что.

Пленный развел руками. Затем, решив по-своему, что от него требуется, торопливо, вместе с киркой, полез в отверстие.

— Поехали, Александрович. Не понимает он вас. За зря время теряем, — теребил дядю Сашу Лукьян Светлицын. — Где это вы могли его видеть? Разве что во сне.

— Не-е-ет, не во сне, — зачарованно прошептал Валуев. — Где-то встречались... А зачем, почему? Не иначе — обидел он меня в свое время. Потому и запомнился. Вот бы узнать...

— Да хоть бы и вспомнили... Ну, поругали б вы его, слюной побрызгали, а что дальше? Он, то есть этот человек, все равно вас не поймет. Потому как — иностранец...

— Не поймет, говоришь?

— Ни в жисть!

— Ладно тогда... Поехали. А видел ты, Григорьич, как он туда сиганул?

— Запугали вы его, вот он и сиганул.

— Это чем же я его запугал так?

— А всем... И перво-наперво — обличьем. Из ямы-то вы как из могилы восстали. Ужас! Ну и... речью. Вы хоть и не кричали на него, а все же русские слова произносили.

Дядя Саша сбил со своей губы присохший окурочок. Лукьян взял приятеля за руку, словно маленького. Полезли в повозку. Телка на телеге, обделавшись, мирно

спала. Мерин Боец, отвалив нижнюю челюсть, тоже поспывал, закрыв большие глаза и пустив слюну.

И только Катыш, выскочив из-под повозки, весело затыкал, как бы поясняя, что под телегой он и не думал спать, а лежал на законном основании, по причине начавшегося дождика...

Сели, поехали. Светлицын, поерзав на соломе, решил продолжить разговор.

— Что, Александрович, нанюхались в подземелье?

— При чем тут... Я и не слышал его, запаха... Там, брат, другое бьет по мозгам. Там, Григорьич, такая картина...

— Неприятная?

— Не то слово...

— Покойники! На них всегда тяжело смотреть...

— Это, Григорьич, не покойники. Это смерть сама...

Голая. Страшная.

— А полезли... Зачем, спрашивается? От одного запаха тошно. Хоть русские люди-то побиты?

— Русские. Православные. Крестик на одном. Медный. Восьмиконечный. Зелененький...

— А смотрели-то на кого? Когда из ямы вышли? Не припомнили, что за человек?

— Мне теперь, после войны, все люди странные... На кого ни посмотришь — знакомый. На одно лицо все.

— Одним ветром пригладило всех, одним огнем окидало... Вот и отпечталось. А все-таки интересно, — продолжал рассуждать Светлицын, — на кого это вы так пялились? После такого кино, которое в подвале, кажись, солнца бы красного не заметил, не только личность какую. А вы так и вцепились в него глазищами!

— Да тебе-то чего заело?! Ну, обознался, померещилось мне!

— А то хотите — вернемся? Пусть его извлекут. Документы пусть предъявит.

— Своих забот... Погоняй, Григорьич!

В городок въезжали далеко за полдень.

Улицы городка после пожаров войны обозначались малозаметными землянками, кое-где выпускающими из себя дымок; иногда конура строения складывалась из

обгоревших частей бывшего дома. Изредка, словно уцелевший зуб, торчал довоенный домик.

По деревянному, скороспелому мосту продребезжали на ту сторону речки, где в прежние времена — при Александре Невском и вплоть до сорок первого года — находился центр города.

— Куда мне вас, Александрович, к почте или еще куда?

— В крепость я, к Никанору. Значит, тут вот и сойду, на берегу. Спасибо за доставку.

— Какие там «спасибо»! Договоримся давай, когда вернуться будем. Вдвоем-то оно, сами знаете... Одно удовольствие.

— Назад? — дядя Саша погладил переносицу. — Назад мне, Лукьян Григорьевич, может, и не придется возвращаться. Я, Григорьич, за паспортом.

— В паспортный стол идете, только и всего. И чего вы такой пуганый? Вы лучше по делу обдумайте: как и что. Фотография на паспорт нужна? Нужна. Значит, на рынок, к Моисею. Ночевать-то где надумали?

— У Никанора.

— Ладно. Пусть так. А я в Дом крестьянина. Короче, давайте-ка мы с вами завтра на рынке сойдемся. В полдень. У Моисея-фотографа?

— У фотографа...

— Ну, так бывай, дорогой!

— Не поминай лихом, Григорьич... Прощай!

— Вот чудак человек... Зачем так сурьезно?

Чуть позже Валуев понял, что идет вверх по тропе. Туда, на холмы, к старой крепости. В ее глубине, за многослойными серыми стенами, пряталась низенькая белая церквушка: помещение, где в лихие годы, не исключая последней войны, отсиживалась небоеспособная часть населения городка. Заведовал всем этим богоугодным заведением деловой, на манер расторопного завхоза, поп Никанор.

Из низких, словно прорубленных в крепостной стене, ворот вышла горстка опрятно одетых людей. Человек во семь. Четыре строгие старушки. Несколько дедов в хромовых сапогах и дореволюционных фуражках черного

сукна с плетеными шнурками над козырьком. Посмотрели все дружно на небо и, не найдя там ничего необычного, разошлись в разные стороны.

Возле ворот, в толще стены, пряталась за металлической решеткой сводчатая пещерка-часовенка. Подле богатой иконы с негасимой лампадой висела на металлических обручах железная кружка-копилка. Сюда и скользнул из-за деревьев никем не замеченный дядя Саша. Катыш хотел было проникнуть в часовенку следом, но у порога передумал: не полагалось ему туда заходить.

Перед уходом Валуева из Гнилиц тетка Фрося шепнула просьбу: опустить в кружку Николы Угодника трешницу. Но потому как дядя Саша денег своих еще не менял, не тратил, то и опустил в кружку всего лишь болтавшийся по дну махорочного кармана двугривенный.

«Была бы просьба исполнена... — подумал ворчливо. — Что трояк, что двугривенный — не разгуляешься на такие денежки... Да и вся эта вера в бога... Тут еще бабушка надвое гадала. Оно, конечно... Такое хозяйство: и земля, и небо со звездами. И вдруг — без хозяина? А вообще — не нашего ума дело».

В часы трезвые, жестокие, а порой и беспощадные, когда жизнь над дядей Сашей производила свои самые отчаянные опыты, обижался Валуев, что не только бога, но и просто справедливости в мире мало. И желание справедливости — это еще не справедливость.

Кто-то дважды похлопал дядю Сашу по плечу. Валуев испуганно обернулся. В глазах его продолжал светиться потрескивающий огонек лампы, а с земли к нему уже тянулся вставший на цыпочки черный человек. Очень маленький, но с бородкой и в темном одеянии мужчина.

— Отец Никанор!

— Эва кто... А я смотрю — мужик возле кружки задумался. Того гляжу, собачка знакомая сикает. Насовсем, что ли, в город перебрался, Алексаньч?

— Проездом. Ночевать пустите?

— Еще спрашивает! Да я тебе пол-литра поставлю, только переночуй. Уважь только. Потешь присутствием.

— Тоскуете, отец Никанор?

— Тоскую. Если бы не товарищ Кубышкин — съела бы меня тоска. С потрохами. А куда проездом, если не секрет?

— В органы иду, Никанор Никанорович, за новым паспортом.

— Значит, проездом к себе домой. В Гнилицы.

— Неизвестно. Не к теще на блины. . .

— Так ведь — не дойдешь. . . Сбежишь, как всегда.

— Нет. Чувствую — время подошло. Не сбегу. Будь что будет. Хоть смертная казнь!

— Ишь ты. . . Смертная казнь. Такое, брат, заслужить надо. Это и любой бы — раз! — и отмучился. . . Ни тебе о пище думать, ни тебе людей бояться. . . Полное отпущение. Раз! — и лети, птица божья, на все четыре.

— И полетел бы. . . — согласился дядя Саша, идя с Никанором под ручку в направлении крепостных ворот.

— Ишь чего захотел. Ничего не выйдет. Получишь ты свой пачпорт. Наденет на тебя хомут тетка Фрося. И будешь ты пахать, раб божий, от темного до темного. . . Вот взять хотя бы меня. Человек я маленького роста. Метр пятьдесят два сантиметра. Занимаюсь антинаучной деятельностью, то есть — служитель культа. Мозги у меня на месте. Бог не обидел. Почему тогда в такой невыгодной, смутной должности состою? Сказать почему?

— Скажите, если хотите. . .

— Потому что она есть мой крест. И я его несу. Человек жив, пока несет крест. А сбросил — не обессудь. Ложись, отдыхай. В могилку. Под тот самый крест.

— И так, значит, безропотно — и неси? . .

— Кто поумней — тот безропотно. А кто нервничает да дергается — к тому и усталость раньше приходит.

— Это что же получается? Ваш крест по церковной части, а мой, стало быть, по почтовой?

— По почтовой, говоришь? Нет, Алексаныч. По почтовой — это не крест, а только одна его перекладина. . . Если бы только по почтовой-то. Долгонько бы ты его нес. Устали не зная. . . А то ведь и лагеря, и потеря сыночка, и паспорт, и отсутствие пищи, и Фрося хромая, и сомнения-страхи. . . Вот он где, крест-то! Ствол-то от крестовины. А почтовая часть — это все детали. . . Крест — он шире. Судьба-доля. . . Ну, хватит. Обтирай ноги да пошли — щами тебя угощать буду. Крапивными. Люблю

из крапивки. А у меня там сегодня и кость. В шах-то. Копыто коровье.

Во дворе крепости стояла церквушка. Крепенькая еще. Приземистая. Псковской, «оборонной» кладки. Без кудрявых украшений. Будто большой камень граненый. А на камне маковочка с крестом.

Жилой поповский домик голубел в ветвях безлистных яблонь. Сам двор — между церковью и садом — был вымощен старинным плитняком цвета слоновой кости. Местами бугрился булыжник. А возле входа в церкву вкопаны в землю огромные, с плоскими спинами валуны. С десятков каменных ядер величиной поболее футбольного мяча лежало неподвижной кучкой у самой стены давно не беленного церковного строения. Всю остальную территорию кремля занимали оранжереи, ягодные кусты и фруктовые деревья, так что, начиная с весны, серая эта крепостенка походила на большую корзину с цветами.

Жилище отца Никанора хотя и голубело снаружи наивным образом, изнутри отпугивало казенной строгостью. Если, не глядя по сторонам, миновать кухню, то попадешь в большую квадратную комнату (единственную в доме). Все помещение густо выбелено — и стены, и потолок — одним больнично-бледным цветом. Голый комод, изъеденный жучком-точильщиком, словно простреленный мельчайшей дробью. В дальнем правом углу комнаты черная железная койка, наверняка очень тяжелая и неудобная. Рядом с койкой табурет. На табурете обшарпанная церковная книга, толстая, как сундучок. На книге будильник. Над койкой, в самом углу, темной икона. Перед ней на металлической цепочке синего стекла лампадка. Пол в комнате выдраен до «живого мяса». Ни бельевых тряпок, ни занавесей... На окнах под потолком скатанная рулоном маскировочная бумага.

Пахло в доме — ничем. Разве что известью от побелки.

Устроились в кухне. Никанор снял с себя церковное обмундирование. Вымыл под звонким ручком красные, как морковь, пальцы. Полез с ухватом в печь.

Дядя Саша потер, поводил ногтем по запотевшему стеклу окна. Долго чего-то высматривал на дворе.

— Ты, Алексаньч, за песика своего не переживай. Пусть развлекается. С городскими кралями. У меня их

тут целый табун. Всех не прокормлю, а самых малых да квелых поддерживаю.

— И мне, что ли, руки мыть?

Валуев щепочкой культурно вынул из-под ногтя немного грязи.

— Ты, Алексаньч, как тебе удобно, так и поступай. А главное — к щам готовься. Милое дело — из крапивы. Из кислицы и то не так настойно.

— Я к вам, отец Никанор, не за щами. . . За советом я. За облегчением от мыслей разных. Зловредных.

— А щи, уважаемый, шибко облегчают. Лучше всякой проповеди. Особенно если с дороги человек. С большого расстояния.

Черный, задымленный чугунок на полведра медленно и осторожно, как мина, был извлечен Никанором из пещеры очага. Низ горшка, прежде утопленный в горячую золу, побелел от серого пепла. Сковырнув сковородку, прикрывавшую вареву, Никанор живо отпрянул лицом от горшка: густой пар ударил навстречу.

— Ух ты! Дух-то однако! Товарищ Кубышкин! А, товарищ Кубышкин. Прошу к столу.

За печкой, где-то в ее лабиринтах, заворочались. Кто-то тихо засмеялся. Даже хохотнул.

— Кубышкин. . . Напарник мой. Да ведь ты его знаешь. Божий человек. Мы с ним еще в Гнилицах подружились. Когда он там партизанил.

В войну поп Никанор заведовал гнилицкой церквушкой, держал связь с партизанами и даже убил одного распутного немца лопатой, когда тот изнасиловал маленькую девочку на кладбище. Убил и тут же закопал. И плитой накрыл. Мраморной, помещицкой. Барина Лютоболоцкого.

— Товарищ Кубышкин, вылазьте. Пора щи разливать. А это ваша область.

На печке или за печкой завозились, захихикали.

— Только на «товарища» откликается, — пояснил отец Никанор Валуеву. — Бывший работник районного масштаба. Наробразовец. А вообще — мученик, самый натуральный. Немцы вешали его. С петли сорвался. В пляс пустился. Потом плевать вздумал. На палачей. А тут начальство мимо. На лимузине. Подшофе. Понаблюдали такой, значит, цирк и турнули Кубышкина под зад ногой. С места казни. Помиловали, да поздно. Дру-

гой он с тех пор. Товарищ Кубышкин! За вами дело... Ши простынут.

— Я очень люблю ши! — крикнули из-за печки. — И уважаю! Очень.

Наконец на свет вытиснулся весь в белом, спина и грудь перепачканы, толстый, курносый, с седым венчиком волос, плешивый человек среднего роста. На его лице росла крайне редкая, как бы тоже плешивая борода.

Кубышкин, широко улыбаясь, начал разливать горячие ши. Поварешку он держал на отлете и как-то уважительно, словно сложной конструкции аппарат.

— Я очень люблю разливать, — сообщил Кубышкин отцу Никанору, при этом вовсе не обращая внимания на дядю Сашу. — Всем поровну лить или через одного?

— Всем поровну, товарищ Кубышкин. Алексаныч тоже очень любит ши...

— Пожалуйста... — не переставая улыбаться, согласился Кубышкин.

Ели все дружно. Много и подолгу дули на варево. Шумно втягивали в себя с ложек.

— Говоришь, зачем в город-то? — Никанор облизал деревянную ложку. Поскреб у себя под черной бородой, как под одеждой.

— Сроки вышли. На документ.

— Переживаешь. Цель жизни имеешь. Разве это плохо, Алексаныч? Лично я по другой причине тоскую. Документы у меня в порядке, и не боюсь я никого на земле. Ибо — верую. Как могу. По силе возможности, но верую. А значит, бесстрашием обладаю. И все ж таки тоскую. Иногда, стыдно признаться, просто по бабе. По своей Нюшке, царствие небесное. Зачем тебе паспорт, Алексаныч?

— А затем, что у меня его нету! Бесправный я...

— Так сходи да получи. Ты ведь только разговоры об нем разговариваешь. Сходи, стукни в дверь, в какую положено, переступи порожек. Так, мол, и так. Я есть городской бывший житель Валуев. Отдайте мне мой паспорт. И — шапку об пол! А ты как думал?

— А ну как посадят они меня?

— Нужен ты кому! Люди на земле, по большей части, жалостливые, сговорчивые. Даже в кабинетах. Вон печка — видишь? Год назад ложил я ее с Кубышкиным,

с товарищем Кубышкиным, — подмигнул отец Никанор игравшему ногтями на зубах убогому, — так вот, ложили мы с ним печечку нашу, кормилицу. Так, бывало, делаешь замес раствору для кладки, а в песочке черви дождевые нет-нет да и попадутся. Лето мокрое простояло, для живности этой раздольное. И что же ты думаешь? Товарищ Кубышкин руками тех червей из песочка извлекал и подальше, в траву выпускал. Почему? А потому что — живое. Извивается — вот и жалко. Даже товарищу Кубышкину жалко. А ведь его не пожалели. . . И я лично извлекал, выбрасывал. А в Лютых Болотах лопатой немца убил. Девочку он. . . Да слышал ты об этом!

— Как не слышать. . . А мы с Лукьяном Светлицыным по дороге такое видели. . . Что и на войне придумает не каждый.

— А где ж Лукьян-то Григорьевич? Почему не посетил?

— С лошадкой он. В Дом крестьянина подался.

— Зря ты его не завлек, Алексаньч. . . Милый он мужичок — Лукьян этот Светлицын. Тянет к нему.

— Я очень люблю лошадок! — вспыхнул Кубышкин.

— Ну ладно. . . Самовар запшикал. Товарищ Кубышкин, а где же кружки? Сердцу чтобы веселей? А что, прости, перебил, видели вы с Лукьяном? Какие такие ужасы?

Отец Никанор насыпал в большой фаянсовый заварник какой-то травяной трухи. Залил сено кипятком из самовара. Кубышкин принес от посудной полки две металлические кружки.

— Почему две, товарищ Кубышкин? Я тоже буду пить.

— Пожалуйста. . .

Пили, потяя. Предварительно разогретые щами. Пили с конфетами «подушечка». Каждому по две «подушечки».

— Так что вы там видели такое? . .

— Подвал с мертвяками. Под спиртзаводом погреб. Обнаружился. . .

И Валуев подробно рассказал отцу Никанору о том, как лазил он туда и что там видел.

Неожиданно товарищ Кубышкин побледнел. Кружка с недопитым чаем из его руки выпала, залил он себе ватные штаны. И вдруг заплакал, заругался матом, а потом

и вовсе непонятной сделалась речь его. И убежал он к себе за печку. Спрятался. Только частые всхлипывания да поскуливания напоминали, что где-то плачет живой человек.

— Испугался рассказов твоих... Ничего. Пусть поплачет. Это мозги у него повредились, а душа справная. Не омертвела, плакать может. Всем бы такую пугливость.

— А что, интересно, Кубышкин этот ваш — верующий теперь, или как?

— Товарищ Кубышкин атеист. Каким до повреждения был, таким и остался. Убили его тогда. А смертью не переубедишь.

— А чего ж он пугается? Убитый? Непонятно... Может, уйти мне? В Дом крестьянина?

— Не болтай, Алексаньч. Сейчас стелить буду. А пугается в нем то, что не омертвело. Иными словами — душа. Мозги омертвели, выключились. А по части души — осталось. Из одной-то веры в другую исключительно мозгами переходят. Умом-выгодой. Так что товарищ Кубышкин — прежней своей веры человек. С ним удобно. Он хоть и атеист, а пропаганды антирелигиозной не ведет. Уживаемся — любо-дорого. И не киснем, как некоторые.

— А щи тоже кислые!.. Бывают. Люблю очень! — сообщил вновь улыбающийся Кубышкин, выдвигаясь из-за печки.

— Вот и славно. Пойдем, Алексаньч, на двор, собачке твоей полакать дадим.

На улице давно стемнело. В воздухе висел мелкий, не падающий, а как бы все время оседающий дождик. Никанор вынес к порогу немецкую каску со щами, куда чего-то подлил, подтрусил, подмешал, и сейчас устанавливал стальную кастрюлю в лунке от специально вывощенного булыжника.

Из непроглядных пространств к нему потянулись всевозможные собачьи морды. Поймав под брюхо Катыша, дядя Саша поставил его возле каски. Несколько других наиболее отважных собак ринулись было туда же, но ласково и строго отец Никанор отстранил их. Послышалось недовольное ворчание.

— Не нужно злиться... — убеждал собак отец Никанор. — Эта собачка у нас в гостях. Пусть полакает пер-

вая. Собачка маленькая. У ней желудок всего на пол-литра щей. Потерпите, братия...

— Приду завтра... Постучусь в двери... А вдруг там двери чем мягким обиты?.. Как же я тогда? И не достучаться будет...

— А ты ногой!

— Скажете тоже... Ногой!

— Тогда головой... — заулыбался отец Никанор.

— Больно — головой! Очень... — шепнул Кубышкин.

Спать легли через десять минут, после того как покормили собак. Дяде Саше постелили на двух широких лавках. В теплой кухне. Кубышкин скрылся за печкой. Было слышно, как он там несколько раз хохотнул, а потом почти сразу же и захрапел. Отец Никанор пожелал дяде Саше спокойной ночи и ушел на свою коечку.

6

Территория рынка была самой популярной частью городка. Издревле горожане ходили на рынок, как дети в школу. Последние новости, сделки, кулачные раунды, а также флирт, мелкое воровство, ротозейство, похвальба, короче — театр, подмостки бытия, сотрясаемые в военное время разного рода облавами, чистками, ружейной пальбой, псовым рыском и рыком, а в мирное время пьяными чудачествами отдельных «артистов», пороссячими побегами и бабьей погоней с растопыренными руками и всеобщим визгом.

Непременными и постоянными членами рыночного клана были «холодный» сапожник, часовщик, жестянщик-лудильщик, старьевщик, пильщик дров и продавцы морса, а также фотограф.

Фотографировались люди не менее охотно, нежели чинили стоптанную обувь и паяли дырявые тапы. В самые суровые времена находились желающие запечатлеть на бумаге свою улыбку или каменно-серьезную мину.

Отгороженное от мира фотопространство напоминало собой маленькую эстрадку, где под открытым небом выступал фотографирующий клиент, а большой деревянный ящик аппарата был зрителем, обладавшим единственным голубовато-телячьим глазом объектива.

Здесь же, на фотозэстрадке, имелось и кое-что из режиссуры: несколько рисованных приспособлений с дырка-

ми, сунув в которые свою личную голову, клиент становился либо флотским морячком, либо человеком на лошади, а то и просто зверем в тигровой шкуре.

Не единожды рынок почти полностью выгорал, разметывался близко упавшей фугасной бомбой, но пестрый загончик фотографа оставался на своем счастливом месте. Менялись мастера этого дела: они умирали и даже гибли, но дело их не глохло.

Валуев проник в пространство за фанерной дверью. Возле крошечного столика старик Моисей, подняв одни очки на лоб и опустив на кончик носа другие, с неподдельным ужасом вглядывался в хихикающую девчущку, сличая ее курносое личико с фотографической копией четьре на восемь.

Старик высоко подкинул огромные серые брови, рот его широко раскрылся, серый тусклый язык во рту изогнулся, как листик на огне. . .

— Говорил тебе, улыбайся, девчонка! А ты что наделала? Посмотри, на кого ты похожа? На притихшую ведьму. Ох, попадет мне от твоих добрых родителей за такую работу. Скажи мне лучше, где твой замечательный носик?

— Дедушка Моисей, это ведь не я. . .

— Вот и я говорю: какая-то фурия.

— Вы перепутали, дедушка Моисей!

— Ты так считаешь? — воззрился старик на клиентку. — А ты поищи, поищи сама, — пододвинул он к ней снимки. — А то вот ко мне собачка пришла фотографироваться.

Старик Моисей погладил проскользнувшего в «ателье» Катыша. На дядю Сашу и не посмотрел.

— На документы собачку? Или для альбома запечатлеть? На добрую память?

— Это Катыш. . . — застеснялся дядя Саша. — Со мной он. Сейчас выйдет. Я ему скажу. . . Иди, Катыш, на двор, иди.

— Пусть погрееется. У меня здесь на целый градус теплее улицы.

Катыш, потоптавшись, лег на тряпку рядом с порогом.

Дядя Саша хотел повесить кепку на гвоздь. Но шляпка гвоздя обернулась большой сонной мухой, и кепка упала на пол.

Старик Моисей был из приезжих. Из той накатной — вслед наступающим войскам — волны беженцев. Так сказать, обратной волны, если сравнивать с волной сорок первого года. Прежний владелец фотодела лежал во рву за военным городком вместе со всеми евреями района. Моисей не дошел до своей Белоруссии всего несколько десятков километров и вот обосновался здесь, на рыночной площади: соблазнился пустующим павильончиком.

Дядя Саша снимался у Моисея год назад, еще тогда, на временный паспорт. Но Моисей Валуева не узнал. По причине слабого зрения. Вон сколько очков понацеплял. Даже девочку с пожилым женским снимком перепутал.

— Собачка тихая... — подлизывался к Моисею дядя Саша, вызывая деда на разговор. Хотелось рассказать фотографу о своем насущном, выслушать постороннее мнение на этот счет. Такие бывалые старички могут дельный совет подать. К тому же, глядишь, и сфотографирует поусердней, после доверительного разговора. А то не понравится в паспортном отделе карточка — и привет...

— Умный, понимаете ли, песик. И в доме не гадит. Это уж — будьте уверены!

— ..Ну, что, девочка, нашла себя?

— Нашла! Хи-хи... Можно взять?

— «Хи-хи, ха-ха!» Вот и получается, что исказила ты себе лицо. Тем веселым смехом. Это хорошо, когда девочка жизнерадостная. Но плохо, когда ее не узнать. Из-за того веселья.

Девочка прыснула, покраснела, стала еще более неузнаваемой и симпатичной. Прижав к груди снимки, она с облегчением выскочила из фотопредбанника.

— Перед аппаратом сиди, как перед Страшным судом. Иначе никто тебя после не узнает, — наставительно обратился дед Моисей к Катышу.

— Мне бы на паспорт... В срочном порядке...

Дядя Саша чесал нос, вздыхал, примерял свою старую кепку и уже подумывал, а не вернуться ли ему в Гнилицы, как вдруг Моисей подошел близко-близко, погладил Валуева по голове и доверительно произнес:

— Не обижайтесь, гражданин. Я плохо слышу. Последствия голодания. Вам на документы?

Дядя Саша закивал, замигал, замахал согласно руками и вообще повел себя с Моисеем, как с глухонемым.

— Да вы говорите, говорите. Я кое-что слышу...

— Мне бы в срочном порядке!.. Для паспорта!

— Потеряли?

— Нет, что вы?! Как можно... При мне он! Только вот срок ему вышел.

— А я летом потерял. Или кто вытащил на толкучке. Вместе с бумажником. Какой-нибудь урка неразумный. Деньги-то я в другом бумажнике держу. В домашнем.

— И что же теперь?.. Без документов проживаете?! — закричал дядя Саша Моисею в ухо.

— Зачем же... Дали вот новенький. До конца моих дней в юдоли земной. Вот какой симпатичный. И с фото собственного изготовления.

— Можно... подержать?

— Сколько угодно. Любуйтесь на здоровье.

Дядя Саша бережно принял в руки чужой паспорт. Раскрыл его, поднес к лицу, понюхал.

— Совсем новенький... Клеем пахнет. А вам и не дашь семидесяти. Я полагал — шестьдесят...

— Громче говорите.

— Хочу сказать... Лет вам много! А лицо не старое.

— А-а... Это потому, что я мяса не ем. И живу на людях, в самых людных местах врашаюсь. Запечатлеваю лица... Ведь вас можно пырнуть ножичком — и где ваше лицо? А я: чик! — и вы бессмертны. Будете лежать в альбоме триста лет. Потом вас переснимут, и еще триста лежите...

Старик Моисей ушел за перегородку. Вернулся, держа в руках нечто напоминающее галстук.

— Идемте сниматься.

Валуев поспешно скинул пальто и почему-то пиджак. Старик Моисей похлопал его по плечу.

— А фрак наденьте. И вот вам галстук. Приставьте к груди. — Подал картонный муляж на веревочке. — Подвесьте, подвесьте. В хорошую полоску нарисован. Солидно и современно. А главное — бесплатно. Как приложение. Так что водружайте...

Моисей повел дядю Сашу в «ателье». На эстрадке заставил Валуева долго пятиться, затем дернул за руку вниз, усадил задумчивого клиента на табуретку.

И мгновенно Валуев словно лом проглотил — закостенел, удлинив шею, задрав подбородок и вылупив глаза. Моисей еще только снаряжал к действию свой фотоагрегат на трех, с металлическими копытцами, ножках, а дядя Саша, глядя в зачехленное дуло аппарата, обмер. Не размагнитился он и тогда, когда в «ателье» не вошел, а, можно сказать, въехал на троечке шумливый, при орденах и медалях, заливчатый субъект лет сорока пяти. Темно-синие галифе, гимнастерка под ремень, сапоги гармошкой с донельзя обжатыми книзу голенищами; русый чуб, обсыпанный сединой, и — ни грамма живота — поджарый, жилистый, лицо в резких, мужских морщинах.

— Живыя имеются-я?! — словно команду подал. — Гей, частный сектор! Здорово, дед Моисей. Требуется нарисовать меня в лучшем виде. К Ноябрьским праздникам. На семейную доску Почета. Шикарный чтобы портрет! Уловил, художник, или повторить? Химикалии имеются?! Бумага мою личность выдержит?!

— Располагайтесь, товарищ Коршунов... Сейчас и запечатлею. При всем вашем параде. Немного терпения...

Дядя Саша тем временем сидел, не шелохнувшись, глядя в одну точку. И только крупные уши его с появлением шумного клиента заметно зашевелились, будто на них ветром подуло...

— Кто это у тебя, такой серьезный? Небось, выпиваете в рабочее время? Ох, частный сектор, частный сектор... Так бы и ликвидировал вашу лавочку, да руки не поднимаются. Умелец ты, дед Моисей, редкий умелец. Подожду, пока сам не помрешь... Стойте, батюшки! Да это кто ж такой тут расселся?! Что, думаю, за стату́й торчит? Да никак и впрямь — Сан Саныч?! Ну, здравствуй, почмейстер! Значит, освободили тебя? Правильно, все по справедливости, выходит. А кто, думаешь, Фросе твоей письмо подписывал? То-то и оно, брат! Без Коршунова лежал бы ты сейчас где-нито на нарах... И фотографировали бы тебя не так, с галстуком, а по всем правилам: фас и профиль...

— Спасибо вам, товарищ Коршунов... Сейчас вот только сфотографируют меня... Дак и хоть в ноги вам! Хоть что...

— Все! Обессмертил! — хлопнул в ладоши Моисей. — А снимочки завтра, уважаемый. Вы свободны.

— Дорогой товарищ Коршунов... — начал медленно и в то же время истоиво подниматься с табуретки дядя Саша.

— Ну, здравствуй, голова! Здравствуй, неудачник... Хотя какой ты неудачник?! Ведь живой-здоровый!

— Неужто это вы, товарищ Коршунов?.. Защитник мой...

— Собственной персоной! Аркадий Иванович! Коршунов! А ты как думал? Сейчас пойдем, дорогой... У меня день рождения нынче. Трех бывших партизанчиков наскреб. Со всего района... Разлетелись кто куда, ястребочки. Будешь четвертым. Ты хоть и не полный, так сказать, не целиком... Не чистых кровей партизанских... А все ж таки — человек свой! Нашенский. И пошли, стало быть! Вот только снимусь при параде. И айда! Вспомняем все как есть... Кого за здравие, кого за упокой. Принимаешь приглашение?

— Да я что?.. С превеликим я... Только мне документ выправить необходимо. Без паспорта я, товарищ Коршунов... маюсь.

— В колхоз, что ли, вступил?

— Да нет, не вступил. На почте я, в Гнилицах.

— А как же без паспорта? Утерял?

— Ни-ни! Со мной он... То есть — временный, который просроченный. Заменить бы его...

— Во проблема, понимаешь! Я его к столу партизанскому приглашаю, а он мне про паспорт заливает... Смотри, штемпель, обижусь!

Дядя Саша жалобно вздыхает. Потом вымученно улыбается:

— Пойдемте со мной, товарищ Коршунов... Сведите меня, Христом-богом умоляю! Боюсь я... Отвык. Все один да один в жизни своей...

— А Ефросинья твоя? Или умерла?

— Да не дай бог! Чего ей делается?.. Дома она. Только совсем охромела. На дальние расстояния не пригодна уже...

— А то бы ты, значит, с ней в милицию пошел? За ручку? Ну, Валуев! Ну, голова... Да ты оглянись, браток! Война кончилась... Ишь, оробел человек...

— Оробеешь, ежели без прав.

— Во, заладил! Достанем мы тебе паспорт. Не горюй. Ну, оштрафуют малость...

— Это бы хорошо! Я и денежки вот принес. Фрося завязала.

— Откуда у тебя денежки в Гнилицах?

— Скопила баба... Едим с огорода теперь... Картошечка... Огурчики.

— Да-а, в войну, брат, людей не штрафовали. В войну, если ты чего просрочил или проштрафился как... Разговор короткий был. Теперь чего не жить. Жизнь мирная — волокита бумажная...

Наконец старик Моисей завлек товарища Коршунова сниматься. Слышно было, как бормотали они за перегородкой, словно поругивались. Когда вышли в прихожий тамбур, старик Моисей выписал на столике обоим клиентам квитанции. Получил с них деньги.

— Вот, держите, товарищ Коршунов, бумажку. Не любите вы бумажек, так я вас понял?... Бюрократию мирную...

— Смотри-ка! Глухой, глухой, а примечает.

— У вас голос командирский, товарищ Коршунов. А что, если не секрет, — тоскуете по военным дням?

— Не по военным дням тоскую, дура старая, — понизил Коршунов голос на ругательном месте, — по друзьям-товарищам тоскую, по всему, что связано с этой войной проклятой! По теплым беседам откровенным... У костра. По чаю партизанскому, по улыбкам чистым... Понял, дед? А по войне только Гитлер тоскует. На том свете...

Дядя Саша надел пальто, взял в руки кепку, приоткрыл дверь. В образовавшуюся щель пулей вылетел заскучавший в фанерном заведении Катыш.

Дядя Саша неожиданно помрачнел. Коршунов подхватил его под «крендель», вел, как барышню. Пытался разговорить.

— Сейчас я тебя в парикмахерскую на санобработку! Дураки мы, Сан Саныч. Надо было остричься прежде, тогда сниматься...

— Знал бы, что такой вредный фотограф, — и не снимался бы, — посетовал, закипая, Валуев. — Остряк, понимаешь! Самоучка...

— Чем же он вредный оказался?

— Несправедливостью. Он сказал, что я — таракан! Насекомое... Что-де не за паспортом надо бегать, а смысл жизни прояснять. А где его прояснять — небось и сам не ведает. Ты мне паспорт выдай, я тебе тогда не только за смыслом — за чем угодно побегу, хоть через всю Россию!

— Да успокойся ты, мать честная! Вот побреют нас, и пошли, отведу к Полуверову. К начальнику паспортному. Меня здесь все знают, понял?

— А кто вы?

— Коршунов я. Коршунов! Аркадий Иванович!

— Понятно.

— Остановись! Ничего тебе не понятно. Страшней другое. Вот, к примеру, — тупые ножницы! Я ужас как стричься не люблю. Страдаю, когда волос режут. И когда ногти — тоже... Ведь живое все, плотское. От одного тела. Вот я тебя и привлекаю. Совместно страдать легче. Бр-р! Мое, живое — и вдруг шпендрик какой-то в белом халате ножнями тупыми тебя раз-раз! По живому... Искромсает. А ты сиди, улыбайся: Подставляй места... Боишься, Сан Саныч, парикмахеров?

— Парикмахеров не очень... Я больше начальства разного...

Товарищ Коршунов резко остановился на дороге, то есть на улице, на которой не было домов. Довольно грубо потрогал дяди Сашин лоб — наотмашь, ладонью. Росту они оказались примерно одного. Обладая военной выправкой, приобретенной в лесу в годы войны, товарищ Коршунов держался ровнее, фигурку имел юношескую, хотя и был моложе Валуева всего на пять лет.

— Только откровенно... Черти с рожками? Такие мохнатенькие... По рукаву пиджака бегают? Являлись?

— Нет.

— А я думал, горячка у тебя... Белая. Твердишь одно и то же...

— Да нет, миновало... Наружу губой вышло. Окидало после бани. А так ничего... Даже не кашляю.

— А чего тогда скулишь?! Боишься чего? Паспорт, милиция!

— Я головой был... Волостным.

— А связь с нами кто поддерживал? Кому доверяли партизаны?

— И с немцами связь имел, — задумчиво произнес Валуев. — Что ни говори теперь, а числился... головой...

— Задницей ты числился, а не головой! Вот идивотина, понимаешь... Ты думаешь, я — ангел? Вон — орден-медали, контужен-ранен. Должность в райсовете. А страхи и у меня были. И мне кишки сводило. И грехи, как положено, имею.

Товарищ Коршунов и дядя Саша вышли на главную площадь городка. Прежде здесь сходились в кольцо самые крупные здания: универмаг «номер один», храм Христа Спасителя, горисполком, почта, кинотеатр «Красное полушарие». Теперь ничего этого не было. Вернее, существовали и горисполком, и почта, и кинотеатр — только помещались они в одном-разъединственном многоэтажном здании на краю городка. А центральная площадь приобрела вид заброшенного поля, на котором почему-то перестали высевать злаки. Правда, на месте бывшего храма, в его приделе, сохранилась маленькая кирпичная часовенка: сюда-то и увлекал дядю Сашу товарищ Коршунов. В часовенке теперь справлялись самые что ни на есть прозаические обряды, как-то: стрижка, бритье, маникюр. Но — слава богу — справлялись.

Примерно в центре разоренной площади Коршунов попридержал дядю Сашу за рукав, желая досказать ему про свои грехи.

— Летом сорок третьего, в самую пеклу, в июле, отряд я свой из блокады болотами выводил. Выводил, да не вывел... Обложили целым полком. С пушками, с собаками. Два раза в прорыв сунулись, как на стенку каменную. Туда-сюда... Глухо. Один выход: на небо. Или — в землю. А тут листовки! Нам-де Коршунова, партизанского батьку, живьем отдайте. А вас, глупые партизаны, так, мол, и так — пропускаем без задержки. Уходите. Только вяжите Коршунова, и лады. Понял? Во! Ситуация, одним словом. А я в том районе уже многим поперек глотки стоял. И оккупантам, и прихлебателям ихним. Ну, партийцы собрались. Совет держим. Сперва без разговоров — пробиваться. Всей кучей. А это почти верная смерть, или плен, ежели ранят. И хана отряду. Тогда партийцы решают так: командира и знамя отряда временно закопать. В землю. До снятия блокады. Я неза-

медлительно кулаком по столу! А мне: тише, Аркаша. Жить надо. Войску. Сражаться в дальнейшем. И — полезай, стало быть, в яму, товарищ командир.

— Полезли? — поинтересовался Валуев.

— А ты думал?! Отрыли в сухой почве могилку. Моху мне вокруг головы наложили. Трубочку от телефонного провода в рот... И засыпали. Осторожно. В самой чаще лесной. Листьем-травой замаскировали. И — на прорыв! Одна часть людей — с белым флагом — по одной тропе, другая, большая часть — по другой. Те, что с белым флагом, вплотную к немцам подошли и давай чесать из всех видов! Погибли вскоре... До одного. Зато другая часть вышла из кольца. А на следующий день и каратели отхлынули. Комары их заели. С непривычки в болотах нашенских, сам знаешь, кому приятно? А я лежу, дышу в трубочку. По мне даже конный проехал... А пеших шагов ихних, вражеских, и не счесть, сколько я их выслушал тогда.

— Сочувствую, — почесал нос дядя Саша, — натерпелись и вы страху.

— Привык очень скоро. К своему такому положению. Только вот когда по малой нужде захотел, вот где страшно сделалось! Ну, значит, приспичило... Конфуз и только. Терплю... Сколько часов прошло под землей — не знаю, только вдруг слышу: откапывают. Кто? Неизвестно. Свои, чужие? Вот тут я едва не обмочился. Однако свои! Разведка прибежала. Выскочил я из могилки и — шасты! — за дерево. Ребята думали — умом рехнулся, а я стою, поливаю.

7

Стригли и брили непосредственно в часовне. Для живой очереди к часовне приделан похожий на большой перевернутый ящик тамбур. Здесь можно было курить, вести громкие разговоры и даже закусывать.

Сейчас тут, в еще не холодную осеннюю субботу, томилось всего четыре человека: два нетрудоспособных старичка, какой-то сонный тип, отгородившийся воротником шинели, и Лукьян Григорьевич Светлицын — гнилицкий инвалид.

Катыш, действуя на редкость разумно, моментально закатился под лавку, где и затих до лучших времен.

А Лукьян Светлицын так обрадовался дяде Саше, что начал уступать ему свое место, неловко тычась в пол протезной колодой. Получалось даже как-то нелепо. Валуев, застеснявшись, сел, потом встал и опять приземлился, заметавшись без всякой надобности: напротив, вдоль другой стенки, пустовала еще одна скамья.

Дядя Саша и стричься-то вовсе не рассчитывал... И с Коршуновым в паспортный отдел идти не предполагал... Во всяком случае — не так внезапно собирался он туда, не столь решительно. Не созрел он для такого шага, не выбродил... Да и не чудо ли: единым духом берут за рукав и прямоком тащат. Столько он сомневался, столько изготавливался к прыжку, и вдруг — милости просим! Не-е-ет. Тут надо обмозговать, что-то уж больно резво понесло. Хорошо вот — Лукьян повстречался. Свой, из Гнилиц. Сейчас, ежели предложит домой ехать, сразу и согласие можно дать. А за паспортом после приехать... По санному пути. В валенках...

— Продад, Лукьян Григорьевич, телушку?

— Сводил! Из рук в руки — берите, пользуйтесь. Там, Алексаныч, таки рожки на бойне! Яркие... Теленочек как взглянул на дядьку, так и присел. От одного взгляду — ноги отнялись. И чего еще узнал: убивать ее сегодня не станут. Только аж в понедельник. Все поприятнее знать...

Коршунов, пожав руки двум дедам из очереди, как к себе домой, прошел в глубь часовенки. Никто не опростествовал — даже не шелохнулся.

А дядя Саша вздохнул от облегчения. К Коршунову Валуев относился подобострастно: как-никак дважды выручил, а точнее — от смерти спас. Помиловал. Теперешнего, беспаспортного, дядю Сашу личность Коршунова, такая цельная, заслуженная, такая стремительная, не могла не угнетать, не настораживать. Были они как бы на разных этажах жизни: Валуев в своем полуподвале, где сидел тихо, смиренно, не выпирал, а и вовсе тайлся; тогда как товарищ Коршунов по всем пространствам летал, вплоть до чердака! И попробуй такого не пусти куда-либо... Да он тебе, не остывший от войны, гранату под канцелярский твой стул шваркнет! Если ты за нос его начнешь водить.

Полегчало дяде Саше без жизнерадостного присутствия товарища Коршунова. И осмелел Валуев настоль-

ко, что заговаривать с людьми начал. И прежде всего — Лукьяну досаждать.

— Выходит, Григорьич, телушку тебе жалко?

— Развязала она меня, слава те! Хорошо теперь, просто. . . А вы никак тоже подстригаться, Александра Александрович?

— Понятно — не щи хлебать. Ты вот телушку жалеешь, что убьют ее. А что она такое — телушка? Да ничего особенного. Мясо она. . .

Дядя Саша воинственно оглядел присутствующих, в том числе и сидящего следом за дедами человека в шинелишке. Сейчас воротник, за которым этот человек скрывался, опал книзу, и дядя Саша увидел странно знакомое лицо. Кто же это? Городской, верно, житель. Еще по мирным, довоенным временам примелькался. . . А впрочем, какой-то другой, не довоенный. Новый какой-то. Таких раскосых да чернявых у них и не водилось прежде. Азиат небось. . . А зубы, а вот зубы знакомые. Те, которые спереди. Как две пули — металлические.

Лукьян Светлицын в это время к самой двери часовни подо двинулся, так как следующим на подстригание являлся. Настороженно ждал он, когда единственная парикмахерша общелкает ножницами напористого Коршунова.

И дядя Саша, не привлекая ничего внимания, решил заговорить с чернявым, в ком, после долгих сомнений и колебаний, признал мелькнувшего однажды перед глазами полицейского, с которым еще в лагере дрался его оынок Кеша; сына этот злобный мерзавец ударил тогда кирпичом по голове. . . Помнится, зубы у этого человека так же вот выпирали изо рта. Только были они тогда натуральными.

— Вы что же, крайний будете? — шепнул дядя Саша туда, за чужой воротник. Для начала.

— Мы! — ослепительно улыбнулся знакомый незнакомец. — А то валяйте без очереди. Нам не привыкать.

— А я вас признал, так что извините, если напомяну, где мы с вами встречались, — жарко шептал Валуев.

— Гуляем? Будут брить — порезать могут. Если кто выпивши.

— Один такой лагерь, возле села Большие Гумна — помните?

«Сколько ему лет? — подумал про себя Валуев. — И полста можно дать, и хоть меньше — тридцать, тоже не удивительно. А вдруг он совсем другое лицо? Похож или родственник всего лишь? Тому самому? Что тогда?»

Человек со стальными зубами был коротконог, так что, сидя на лавке, едва доставал до полу мысами солдатских ботинок. Двумя руками держал он серый оцинкованный тазик, в котором шуршал и слабо попахивал «природой» березовый веник.

— Похоже, как в баню идете? . .

— В баньку. . . — Человек прижал тазик к животу. Лицо его еще шире расплылось в металлической улыбке. И вдруг азиатский мужичок весело так ткнул Валуева указательным пальцем под ребро.

— Ой! — выскочило у дяди Саши.

— Вот тебе и «ой!», — отвернулся к старинной дубовой двери обладатель тазика.

Но Валуев заупрямился. Обычно задавленный всевозможными предчувствиями, колеблющийся и таящийся от посторонних глаз и речей, сегодня дядя Саша то и дело, казалось ему, делал отчаянные шаги, позволял себе выходы, приводившие в трепет его самого — прежнего. . .

— Слышь-ка. . . Любезный. Сынка моего. Под Большими Гумнами. Кирпичиком по голове. . . Как же это понимать? Разве такое можно позабыть? Кешу моего. . . По темечку? Ну, попал он тебе в драке по зубам. Дай сдачи. Как все. . . Кулаком. Так ведь? А ты его — кирпичиной. И не раз, а несколько приложился.

— Так вы серьезно? А ну, дыхни! Да-а. . . Почему в парикмахерскую? Тебе, товарищ хулиган, в аптеку нужно. У тебя голова злая. Дурная голова — лечить будем.

— Думаешь, обознался? Не беспокойся, любезный, я извинюсь, если что не так. . . Мне бы только два словечка от тебя: жив сыночек? Или не выжил он тогда? После кирпичика? Видел ты его после? Кешу нашего?

— В гробу! Вместе с тобой, дурак упрямый.

Старики, сидевшие в очереди, понимающе пригорюнились, отрешенно скрестили руки на тощих ногах. Беседа покрикивающих людей не обещала им ничего хорошего.

— Чего пристал, дурак пьяный?

— А ты не серчай. Не мудрено и обознаться. Я ведь на вас сквозь колючку проволочную смотрел: в глазах рябило, и расстояние приличное. . .

— Язык бы тебе резануть! За твои слова. . .

— А похож потому что. . . И тот вроде китайца был. Только вот зубы не из железа, свои были зубы. Может, он их тебе — того? Выбил? Сынок-то мой, Кешенька? Вот ты и вставил блестящие. . .

Терзаемый Валуевым человек судорожно вскарабкался на лавку, встал ногами на то место, где только что сидел. Тазик его с грохотом покатился по тамбуру. В руках вскочившего остался веник, которым он принялся энергично размахивать, как бы разгоняя комариную тучу. Деда дружно покосились набок, в сторону от узкоглазого, опасаясь веника. Из каменной часовни высунулась рыжая парикмахерша с бритвой в руке. Затем вместо ее головы появилась в дверях намыленная физиономия Коршунова.

— Вот! Смотрите! Все глядите! — выхватил азиат откуда-то из-под веника брезентовый бумажник с документами и замахнулся им на дядю Сашу, как ножом. — Гляди, шайтан, гляди, собака, все четыре года в армии воевал! Где лагерь?! Где колючая проволока? Кого я кирпичом по голове? Да я бы тебя из пулемета порезал! И сына твоего! После таких разговоров, понял-усвоил?!

Лукьян Светлицын, как только закричал мужчина с тазиком, моментально кинулся на помощь дяде Саше. Пересадил Валуева на другую лавку, примостился рядом, обнял сзади рукой за плечи. Внушительно стукнул деревяшкой об пол, призывая скуластого к тишине-покою.

— Идите, Александра Алексаныч, стригитесь вместо меня. Я обожду. Да коли дел более никаких не получилось — поехали по домам. А? Ну, что же вы так кричите? — обратился Лукьян к озлившемуся незнакомцу. — У нас тоже бумажники есть. Которые с документами. И мы воевали, — приподнял он свою пограничную фуражку и несколько набекрень, лихо посадил обратно на голову.

Из-под лавки на махавшего веником человечка свирепо зарычал Катыш. Вот он, осмелев, выдвинулся из укрытия и, подойдя к опрокинутому тазу, стал его обнюхивать.

— Прошу прощения. . . — бормотал дядя Саша. — Вижу теперь, что обознался. Слезайте. А все — зубы. . . зубы, говорю, подвели, скребут те маковку! Похожие очень. . . Правда, те были настоящие, а здесь — железо.

— Поехали, Алексаньч, по домам. . .

— Поехали, дорогой! А с паспортом как же?

— Еще съездим! И для меня дело найдется. У меня еще свинка есть. Вдруг да опоросится?! Поросеночков повезем на сдачу.

— Ездют, понимаешь, придурки разные. . . Скобари всякие! На людей кидаются, — ворчал разобиженный человек, поднимая с полу тазик. Ворчал, затихая.

Из часовенки вышел обритый и остриженный под бокс Коршунов. От него пахло тройным одеколоном. Правой ладонью гладил он себя по сухому остроконечному подбородку.

— Што за шум, а драки нету?

— Обознался я. . .

— Драться с таким! — презрительно сплюнул сквозь холодную сталь чернявый. — Умалишенный человек.

— Пусть, — соглашался дядя Саша. — Лишенный. . . Куда денешься? Ни ума, ни паспорта. . .

— Хорошо, что напомнил! Пошли, идем к Полуверову тебя сведу. Пока не раздумал. День рождения у меня или что?!

— Не, товарищ Коршунов. . . Идите, пожалуйста, гуляйте. Ваш праздник. Ни к чему тут я. Да и остричься нужно. . . Пришли, ждали.

— Стригись, погожу. Хотя чего тебе подстригаться? Все равно опять зарастешь в Гнилицах своих. . .

С Лукьяном Светлицыным условились, что в пять-шесть вечера Валуев будет в крепости у попа Никанора. Оттуда и по домам. . .

Душистые, помолодевшие Коршунов и дядя Саша вышли на главную улицу, составленную из двух-трех каменных коробок, выгоревших изнутри и теперь заново заселенных. Городскими учреждениями. Исполком помещался в высоком, стройном здании бывшего собора, где строители напрорубали окошек и настелили несколько новых этажей.

Жалобным взором глядел Валуев на разоренный городок, в котором когда-то родился, и, естественно, не узнавал его. Улицы оплела старая рыжая трава; там, где

были дороги, — струились робкие тропки. Ничего такого не возникало, что хотя бы на миг смогло возратить или приблизить Валуева к отшумевшей пожаром жизни... Где он? Куда попал после бури? Или с мозгом его, с памятью приключилось чего? Вот и «китайца» зазря потревожил. С виду — будто он, а на деле кто-то другой.

Теперь, значит, доброхот этот Коршунов... Ведет в милицию. Зачем? Для чего? .. Опять же — в парикмахерскую завлек. На кой? Бдительность усыпляет. Хочет без шума сдать... А у самого — день рождения. Стал бы какой человек в свой день рождения кому-то за паспорт хлопотать? Может, кто и стал бы, только не такой ястреб, как Коршунов. Ведите! .. Ведите! Он не против... Давно к этому дню готовился. А вот готов ли?

— Хочешь есть? — бравым голосом нарушил товарищ Коршунов прощальные мысли-мысльки дяди Саши.

— Кого? — не понял, остановился Валуев.

— «Кого!» Лопать, говорю, желаешь? Да что тебя спрашивать об еде! Усох там, в своих Гнилицах... Как мумия египетская!

И Коршунов потащил дядю Сашу в барачного типа заведение, над дверью которого симпатично синело жестианное слово «Столовая».

В зале никого. Время — ни обед, ни ужин.

Сели за стол, на котором имелась солонка с солью. Валуеву товарищ Коршунов заказал полный обед. Себе — чай.

— Выпить не предлагаю. С этим после... У меня в доме. Незачем перед делом.

— Так, значит, в милицию? Поведете? ..

— Сведу, не беспокойся. Ешь теперь.

— А что же, сами кушать не будете?

— Я чай буду кушать. А ты ешь! Небось отвык от городского варева. Ешь, угощаю... Борщом для начала.

— Спасибо. Только за борщи сам могу уплатить. Вот они — денежки.

— Да откуда у тебя денежки?!

— На штраф скоплены. А что, товарищ Коршунов, вопросик имеется... Поинтересоваться хочу. Можно задать?

— Задавай, почта, вопросики. Задавай, пока не поздно... ..

— Это как же понимать?

— А так и понимать: задавай, пока голова у меня по-рожня. Именинник я или кто?! И еще, если пожелаешь, зови меня просто Аркадием. Можешь?

— Нет, товарищ Коршунов. Пока не могу. Повремени малость. Не привыкну сразу. . .

— А что у тебя за вопросец?

— О должности твоей. Она у тебя что. . . какая? Солидная или спокойней?

— Солидная. . . Не волнуйся.

— Спасибо. А вот Польшаев, тот должность имеет — будь здоров! Весь в коже, и щеки — не чета вашим.

— Кто-кто? Польшаев? Так то ж гнида обыкновенная. Сравнил хрен с пальцем. У нас таких в отряде не было. И не могло быть. Выводили дустом. Польшаев твой — урод. Вот он кто. Временный человек.

— А вы не временный? Вы что же — постоянный?

— Тело смертное. И у меня. А душа. . . Дело мое, правда моя. . . Нет им смерти!

— И получается, что вы, товарищ Коршунов, верующий человек. Потому как — и у вас душа имеется. Бес-смертная.

— Иди ты знаешь куда! Ешь, говорю, и не отклоняйся!

— А вот еще. . . — принимаясь за гуляш, поинтересовался дядя Саша. — Помните, взрыв тут у нас в городке произошел?

— Еще бы не помнить! Нас тогда и в оборот взяли. . . После взрыва. Мертвой петлей захлестнули!

— Вот и у меня с этого взрыва все наперекос пошло. Сынка Кешу заарестовали наутро. И самого — за проволоку. И соседей всех, кто проживал в городке. . . Весь мужеский пол подчистую. . .

— Слушаю тебя, Сан Саныч. Потом в зубах поковыряешь.

— А сынка моего, Кеша, до сих пор нету. Исчез.

— Сколько их, которые исчезли. . .

— Вот и хочу спросить у вас, товарищ Коршунов: стало быть, ваша это работа: взрыв? То есть — ваших партизан?

— Нет, дорогой. Взрыв совершил одиночка. Как ни странно. . . Беспартийный патриот. Кочегар по фамилии Петров.

— Много тогда порасстреляли в городке. И в лагере — многих. . .

— «Многих, многих»! Заладил одно! Больше сплетен. Шептуны тебе такое кадило раздуют! Мало ли что — «порасстреляли»! А ты как думал?! Война и есть война. Мы их, они — нас. По черепу! Истребление, понимаешь? У них вон череп этот — зна́ком отличия был. . . Эмблемой! Череп и косточки. А ты хотел, чтобы все тихо-мирно. Двести человек офицерьа взорвали! И чтобы они же после и кланялись тебе: спасибо, товарищи русские граждане, лихо вы нам кровь пустили! Так, что ли?! — стукнул Коршунов себя по колену кулаком, закричав генеральским голосом. — Да их не только взрывать, живьем в землю закапывать, чтобы неповадно! Ты что, с луны свалился? Учить его, как с врагом поступать! В минуты войны. . . Ишь, каверза, вопросы, понимаешь, задает! Вот такие суслики, как ты, Сан Саныч, и шепчут, поди. . . Сидят по своим норкам, а погода поутихнет — повылазят и фьют, фьют, давай события обсвистывать. Которых в глаза не видели. Чего вот ты паспорт боишься получать? Вибрируешь чего? Совесть, поди, не чиста? Молчи! Знаю тебе цену. Помогал нам. Все помню. А поначалу все ж таки согрешил! Было дело? Уломали тебя в волостные головы! Вот и мучайся, коли согрешил!

— Ну? — перестал жевать дядя Саша.

— Вот и гну! Думаешь, не помню, как ты в лес немецкую рацию в мешке с солью доставил? Целый год по ней с Ленинградом куковали. Пока эта рация в болоте не утопла. Вместе с девочкой-радишкой. Да, да! Покачнулась с тропочки — и в окошко! Такие бездны черненькие в наших болотах имеются. А рация та у девочки на спине, как грузило. . . Потыркались палочкой — в одно, в другое окошко. . . И ушли. Некогда было. Силы вражеские подпирали. . . Или когда Фрося твоя на саночках к нам примчалась. Карательный отряд опередила. Хромая женщина, а как пуля.

— А ведь баба тогда и не знала, зачем едет! — оживился Валуев. — Лети, говорю ей! Сынка дело касается. Вроде как нашелся, говорю ей, сынок-то наш. . . И полетела. А бумажка для вас в сбруе конской запрятана была.

— В хомуте. Все помню. Потому и шами тебя угощаю, почмейстер! Ну, поел? Тогда пошли в милицию.

Подошли к зданию, на котором было много табличек. Учреждения города ютились по принципу: в тесноте — не в обиде. На истерзанном фасаде горькие следы военного времени: штукатурка почти вся содрана, в красном кирпиче лунки от пуль и осколков. Над рядом окон языки сажи, выплеснутые пожаром, еще не смытые мирными дождями и снѣгами.

В коридоре нижнего этажа Коршунов усадил дядю Сашу на деревянный диван. Велел дожидаться, пока не позовут. А куда после этого сам делся, за какой дверь исчез — Валуев заметить не успел.

Сжавшись в комок на скрипучем, вокзального образца, диванчике, дядя Саша затравленно ощупывал грустными глазами дверные таблички. И рассуждал...

Если Коршунов привел его сдавать как преступника, тогда почему угостил обедом? Где связь? Опять же, у этих нервных людей поступки бывают самые неожиданные. При всех он тебя оскорбит или даже побьет, а наедине... Поцелует. Или вот — шей купит. Зря он, похоже, затеял с товарищем Коршуновым отношения. Да и за паспортом ударился не вовремя. Надо было зимы дожждаться. Тогда люди больше по домам сидят. Даже такие горячие, как Коршунов. А значит, и встреча их могла бы не состояться. Потому как Коршунов к зиме давно бы уже сфотографировался. Да и Моисей зимой не работает: павильон его фанерный промерзает насквозь, и никому в нем тогда не усидеть.

Внезапно дяди Сашины мысли полопались, как гнилые нитки: незнакомый старичок в пенсне и старинного покроя куртке-толстовке распахнул одну из дверей коридора и, шаркая подшитыми валенками, резко позвал:

— Прошу!

И усатый старичок картинно выбросил сухонькую ручку сперва в направлении Валуева, затем в сторону кабинета, из которого только что сам появился на свет.

Дядя Саша вскочил, испуганно одернул пальто.

— Собачку брать с собой не советую. Рекомендую оставить в коридоре, предварительно привязав к дивану. Чтобы не заблудилась в казенном доме.

«Странный какой-то этот Полуверов, — подумал о старичке дядя Саша. — И на милиционера совсем не похож». А вслух произнес:

— Собачка обождет! Не извольте. . .

В малюсенькой и очень казенной комнатке возле окна стоял стол типа кухонного. За ним и перед ним — по табуретке.

— Памятуя о том, что война принесла нам страдания, гибель людей и разруху, — начал торжественно старичок, — каждый, в ком есть совесть, должен сознавать, что делает, подписываясь на заем или принося денежные сбережения для уплаты членских взносов. . .

«Ишь ты, откуда повел. . . Задами обходит. . .» — чуточку расслабился дядя Саша. А чего? . . На него не кричали, кулаком по столу не колотили. Пока все было терпимо. Может, и обойдется? . .

Старичок пододвинул тряпочный кисет с самосадом к краю стола. Валуев подобострастно улыбнулся старичку и торопливо начал делать козью ножку.

— Вот вы, милостивый государь, где вы были в суровые годы последней войны? Заранее предвижу ответ! Был именно там, куда послал долг советского гражданина! Не так ли?

— В оккупации был я. . .

— Это еще ни о чем не говорит. То есть ни о чем плохом или скверном, гадком. . . Я вот тоже был в оккупации, но знамя борьбы из рук не выпускал! Лично по городу листовки расклеивал. А вы, извиняюсь, партизанили?

— А я. . . Так ведь знаете все! Чего уж там спрашивать. . . — и дядя Саша отчетливо вдруг припомнил свою рыбку из аквариума. Так она вся перед его глазами и всплыла, не шелохнется. Одинокая и в обычных условиях едва различимая. — Зачем уж крутить-то? Чего ради такие разговоры? Так что или документ, или. . .

— А на заем?

— То есть. . . не понял вас? Взаимы извольте? У меня вот, пожалуйста. . . Пять сотен для этого самого. . .

— Как?! Как?! — закаркал, наливаясь кровью, старичок.

— Господи. . . — привстал с табуретки дядя Саша. — Мне бы хоть временный. . .

— Во-о-он! — совсем посинел дедушка. Вскинул тщедушную ручку в направлении коридора и тут как бы

вдруг проснулся, выйдя из кошмарного состояния. — Стойте! Вернитесь! Оно. . . Кажется, мы не совсем поняли друг друга. . . Памятуя о том, что я сверх всякой меры. . .

Дядя Саша выскочил в коридор, где его радостным лаем встретил переволнованный Катыш. По коридору, прежде такому безлюдному, весело, в приподнятом настроении бежали куда-то граждане. Во главе небольшой кучки пронесся и сам Коршунов.

— Догоняй, что ли! — крикнул он оторопевшему Валуеву. — Пожар! Тут, недалеко. . . — успел он пояснить в дверях парадного. Катыш, не переставая возбужденно лаять, порывался за людьми, с недоуменной укоризной оглядываясь на остолбеневшего дядю Сашу.

«Нет. . . — озабоченно сказал себе Валуев. — Пусть горит. Лучше уйти отсюда. Пока не поздно. Бог с ним, с парспортом. . .»

Из своего кабинетика, шурша валенками, нарисовался крикливый старичок.

— Осмелюсь поинтересоваться, куда это все побежали? — приподнялся на цыпочки дедок.

— Не знаю. Мы люди темные. . . Деревня. Кричали про пожар. А так кто ж его знает. . . Может, учения какие.

— Пожар, говорите? — Старичок, сдернув правой ладонью пенсне с глаз, принялся разглядывать дядю Сашу, словно впервые увидел. — Памятуя о том, что на пожар обыкновенно бегут все без исключения, вызывает удивление некоторая ваша инертность. Где ваша заинтересованность? Да любой человек за возможность лицеизреть пожар. . . Мда-а.

— Нет, — твердо повторил для себя дядя Саша. — Пусть горит. До свиданья. Скажите только, а вы действительно Полуверов будете?

— Так вы меня за Полуверова приняли? Ошибаетесь, почтеннейший. Я — Полуэктов. Просто близкие по звучанию фамилии. То-то, я смотрю, человек ненормально себя ведет. Вот оно что. . .

— А скажите, если не трудно: он, этот Полуверов, конечно, воевал? В данную войну?

— В данную войну, мудрейший вы мой, все воевали. Это если философски рассуждая. А Полуверов и подавно!

— Значит, тех, кто был в оккупации, Полуверов должен как бы не любить? . .

Старичок лихо прищемил к носу пенсне, еще раз пристально, как товар на рынке, осмотрел Валуева. С удовольствием и как-то дерзко погладил свои усики.

— Он их, которые в оккупации. . . — старичок противно подмигнул. — Он их своими, значит, руками. Достанет из сейфа огромный такой пистолет. . . Системы Джоуля и Ленца. . . И — трах! Ну и, как это чаще всего бывает, посетитель падает на пол. Замертво. С табуретки.

— Шутите? — робко улыбнулся Валуев.

— А вы что же? . . . Всю жизнь — на полном серьезе? Неужто ни разу так и не пошутили?

— Я не об том. . . Может, когда и веселился. Сегодня-то не до смеха. Извините, нужно идти. Мы нездешние. . .

— Не смею задерживать. И все же осмелюсь предложить: почаще будьте несерьезным! На вашем лице такая глобальная озабоченность. . . Как вы только ноги представляете? Под такой ношей?

Полуэктов с вывертом протянул дяде Саше пергаментную холодную руку. Валуев скрепил рукопожатие и с замиранием сердца повернулся идти от этого придурковатого человека.

Запахнув плотнее пальто и не обращая внимания на пожар, который случился где-то неподалеку, дядя Саша медленно двинулся желтой от опавших листьев улочкой. Большой козырек кепки отгораживал его взор от неба.

Пройдя мостом за речку Песчанку, Валуев, сам того не замечая, привел себя к месту, где некогда родился. И жил.

. . .Какая ты большая, Земля наша. Еще больше — просторы, в которых ты плаваешь. А геометрия жизни человеческой проста. Две точки, две вершинки, и между ними вся твоя судьба. Точка твоего возникновения, где женщина-мама родила тебя, позвала на свет, дала впервые напиток земного воздуха. Изба ли то деревянная или коробочка каменная, откуда вынесли тебя на руках в тряпье и, приоткрыв кружевную завесу, что отгораживала от тебя вечность, показали мир, где предстоит тебе совершить путь до следующей точки, путь, прозванный людьми Жизнью.

И вот, беспаспортный, очень смешной, хотя и не совсем одинокий (в это самое время его догнал Катыш), остановился Валуев перед местом, где когда-то стоял домик его родителей.

— Гляди-ко... Никак строят?! — вслух подивился Александр Александрович, только теперь приметив, что на останках валуевского фундамента какие-то люди сооружали черную, будто из головешек, из бревен «бе-у» избенку.

Строил молодой солдат с красными погонами на гимнастерке без ремня; помогали ему древняя старушка и девчонка. Все трое давно заметили постороннего наблюдателя, но старательно изображали равнодушие. Дядя Саша неумело и, похоже, некстати попытался завязать с ними разговор.

— Неужели дом строите? Бог на помощь...

Солдатик резко взмахнул руками, в одной из которых яростно сверкнул топорик.

Обиженный неласковым приемом, в бешеном ритме залаял на строителей Катыш.

— Не надо на них лаять, Катыш. Люди домик строят, а мы их отвлекаем от хорошего дела. Лаем... И вообще... Сейчас и пошли... Только спрошу, как теперь улица данная называется? Так ли, как прежде, — Крепостная?

— Крепостная! — весело закивала девочка и еще громче повторила: — Крепостная!

— Не кричи, — сурово посмотрел на нее солдатик. — Бабушку испугаешь.

Бабушка была глуховата. Она повернулась на шум, приложила скрюченную, бугристую ладонь к уху.

— Исть будем? — спросила солдатика.

Тот незло отмахнулся, как от мухи. Обратился к Валуву:

— Гуляете тут? Или кого разыскиваете?

— Да вроде как гуляю... Жил я тут прежде. Неподалеку. В свое время. Хорошая улица. И речка под боком. Здесь, бывало, сморода черная удавалась. Такая крупная, толстая... ягода.

— Ее и теперь тут ужась сколько! В июле было... — зазвенела голосом девочка.

— Ты мне? — обернулась к ней бабушка, обладавшая певучим, сохранившимся голосом плакальщицы. — Или Ванюше?

— Дяденьке я! — закричала прямо в ухо старушке. — Про смороду!

— Уймись, Дашка! Заладила: «Сморода, сморода!» Одна от нее вонь, от смороды вашей, — улыбнулся служивый, придерживав топорик и щелкнув похожую на него Дашу ногтем по лбу.

— Сестренка? — улыбнулся в свою очередь дядя Саша.

— Она. Значит, проживали в здешних местах? До войны?

— И до войны. . . И до революции. . . Так что — пожелаю вам наилучшего. . . На новом месте.

— Спаси-ибо! — ответили хором все трое, даже старушка враз со всеми угадала. Не промахнулась.

— А то бы и переезжали! На старое место! — крикнул вдогонку длиннополой фигуре Валуева солдатик.

Дядя Саша даже идти перестал. Озадачило приглашение. После чего сокрушенно махнул рукой и поспешно, чуть ли не бегом бросился догонять Катюша.

— Смешной! — пискнула девочка.

— Это, видать, пьяной. . . Блываается по белу свету, — сообразила бабушка на свой лад.

А сам мужчина, солдат с широкими плечами, еще долго чему-то настойчиво улыбался. Он строил.

9

— Руки вверх!

Скрипнули тормоза. Дверца «виллиса» отворилась. Лучезарная, попыхивающая золотыми зубами физиономия Полысаева высунулась из отверстия.

— Прошу, Сан Саныч! Кони поданы. Тоись — лошадиные их силы. Садись, не пужайся. Прокачу вместе с собачкой. Как деток малых. В любом направлении. Угодить тебе хочу, Валуев. Обиду загладить. Нанесенную в годы испытаний. . . В горячке событий.

В первое мгновение, когда Полысаев крикнул девичьим своим голосом: «Руки вверх!», дядя Саша чуть на мостовую от этих слов не загремел. . . Кровь от лица ушла, больно забилась в сосудах головы. Сердце захлопало, как дырявая калоша по бездорожью. С Валуева будто вновь грубо и беспощадно сдернули одеяло, пока он дремал в воспоминаниях о родном доме на Крепостной улице.

...Ах, какой нехороший этот Польшаев, какой бесцеремонный. Ну, погоди же, дядя. Поиграем и мы напоследок. Повеселимся тихонечко.

— А что, товарищ Польшаев, хотел я вам сказочку одну рассказать. Дозволите?

— А ты садись, садись в транспорт-то. Здесь и расскажешь.

— В некотороим царстве, в некотороим государстве стоял на дороге в канаве сейф.

— Слышь, Александрыч, долго мне тебя упрашивать? Нет, это ж просто овцебык какой-то! Больно ты упрямым за войну сделался, дорогуша. Помнится, прежде-то мягче тебя во всем городе человечка не было. . . Не мужчина — масло сливочное. А сейчас — эх тебя заморозило. Садись давай живо, поговорить хочется. И есть о чем. И подо что найдется! — и тут Польшаев из-под руки, в районе подмышки, выдвинул белую головку «Московской». — А то ведь разную небылицу, сказочки всякие о своем бывшем сослуживце проповедуешь. . . Молчу, молчу! Поехали. . . В хорошие тебя гости свожу. К женщине яркой и хозяйственной. Там и расскажешь. . . Байку свою. Покалякаем. У меня к тебе предложение. По части трудоустройства твоего. И перемены жительства. Ну, решил?

— Обеспечен я. И работой, и жильем. Нам чужого не надо. А к женщине вашей почему не съездить?

— Вот и славно. Заводи, Коля, шарaban! Эй, собачка, ть-ть-ть! Сюда, дура! Мцы, мцы! Ныряй в дверцу, кишка слепая. . .

Катыш, заскулив, нехотя подпрыгнул вслед за дядей Сашей. Поехали.

«К пяти бы часам управиться, — подумалось Валуеву. — Лукьяна бы не подвести. А так оно, конечно, быстрее будет — на машине».

Слезли с «виллиса» возле белого, свеженького, под железной крышей, кирпичного домика. Этакого щеголя в ряду убогих застроек улицы.

Польшаев, когда приехали, взял Колю-шофера под локоток, повернул к себе лицом. После чего из кожаного пальто достал кожаный бумажник, вынул из него красную десятку, положил на колено пареньку.

— Ночуешь, Коля, в Доме крестьянина. До утра хоть в футбол играй. А в десять ноль-ноль чтобы под эти ворота. Уяснил?

Коля сложил десятку вдоль пополам, сунул ее небрежно за ухо, как карандаш. Погладил по лбу сидевшего сзади на отдельном сиденье Катыша и, вроде обращаясь к собачке, зачастил:

— Уяснил, ваше благородие! Будет исполнено! Чего изволите? Рады стараться. . .

— Ты не паясничай, ты еще мальчик. Нельзя тебе со мной так разговаривать при посторонних. Я отец семейства уже, а ты даже в армии не служил. А туда же: «Рады стараться!» — отвернулся от Коли разобиженный Польшаев.

Выбрались на прелую травку обочины. Катыш справил нужду возле рябины, на которой еще краснели не съеденные уличной ребятней грозди ягод.

— Чтобы в десять! — крикнул шоферу Польшаев, не оборачиваясь на дорогу. — В армию собирались забрить шкета. Отсрочку на год исхлопотал. Другой бы благодарен остался. . . А этот все нос воротит. Ему, вишь ли, теперь служить хочется. Свет повидать. Будто он в армии куда-нибудь к папуасам попадет! А не в Вологодскую область. . . Винтовку в зубы и — на караул. Склад с портянками охранять.

Коля тем временем, бешено развернувшись, уехал из проулка.

Польшаев торжественно ввел дядю Сашу в чужой дом, не забыв на крыльце отпихнуть от дверей Катыша, как лягушку.

— Ишь, нацелился! Там, понимаешь, полы крашенные, кружева. . . Мух нету, не только собак! — ворчал Польшаев.

— Обожди меня, Катышок. Я скоренько. — Валуев демонстративно нагнулся и погладил собачку. — А вы бы полегче с животным. Не троньте ногами. Оно ведь и слова понимает. Зачем же пихаться? Этак и вас кто возьмет и пихнет. Разве приятно?

— Ладно, извини. Пожалел зверя. . . Ты случаем не в секте какой, Алексан Саяныч? Не убий, не укради? Собачку не вдарь. . . Лихо ты война обработала.

Вошли в комнаты. Действительно, внутри домика было так уютно прибрано, все так зализано, как будто здесь и не люди жили, а только светлая память о них. Как в музее. Пол, стены, рамы, даже потолки — все крашено белым маслом. На кушетке и стенах заграничные

коврики с оленями, разной птицей и вершинами горного пейзажа. Стол под тяжелой скатертью. Подкачали стулья: были они дешевого, канцелярского обличья и выглядели случайными, не по своей воле пришедшими на чужой праздник.

Хозяйка возникла из дальних покоев вся в оренбургской шали в кистях и в туфлях с каблучищами. Будто в театр собралась. Даже губы накрасила. Под носом ласковые женские усики выступили.

Дядя Саша, сняв кепку, пальцы поспешил, чтобы волосы лучше пригладить. Давно он такого шика семейного не наблюдал. Стоял, втянув губы в рот, дивился. Нос чесал. А когда сплунуть приспичило, по старой привычке, — не сплюнул, сдержался. Сделал глотательное движение и снял тяжелое пальто, собираясь повесить его туда, куда укажут. И вдруг — застеснялся! Изо всей силы. Только сейчас обнаружил он на своей шее картонный Моисеев галстук. Жалкую подделку. Вот, значит, как получилось, не отстегнул, стало быть, второпях, присвоил чужую вещь. Хотя и дрянную. То-то еще в парикмахерской рыжая тетка, повязывая простыню вокруг дяди Сашиной шеи, подозрительно губы так надула... Словно ее оскорбили.

Валуев, вешая на штырек под марлю вешалки пальто, яростно сорвал с себя галстучек, запихав наивное изделие во внутренний карман.

И все-таки, несмотря на ошарашивающий комфорт помещения, в которое завлек его Полысаев, дядя Саша не оставил намерений досадить бывшему шефу и сразу пошел в атаку.

— Может, слышали, есть такой в нашем городе человек — Коршунов Аркадий?

— Знаю. Шумная личность. Кидается на всех, кто в партизанах не был. И выпивает... Однако человек заслуженный. В области его уважают. А что ты его вспомнил, Алексан Саныч?

— Встречу я с ним имел. Нынче. Интересовался данный человек почтовыми довоенными бумагами. Которые мы с вами вывозили, да не вывезли... товарищ Полысаев!

— Какой еще Полысаев, когда Полетаев! — грубым голосом поправила дядю Сашу хозяйка дома.

«К чему бы это?» — мелькнуло у Валуева.

А пышная дама в кистях покопалась страшными багровыми ногтями под вешалкой и — раз! — отшвырнула в сторону Валуева какие-то тапочки мужские. Дядю заставили снять сапоги. Натянул он эти войлочные тапочки и почувствовал себя без сапог и пальто, как без штанов. . . Настолько беспомощно почувствовал, что оглянулся на свои, изъятые, вещи.

Хозяйка плавно, без суеты накрыла на стол. Положила всем на тарелочки колбасы копченой лепестков по пяти, селедочки, сырку — всего понемногу.

«Господи!» — вздохнул дядя Саша и поскреб нос.

Выпили из больших рюмок-стаканчиков. Дама наравне со всеми.

«Сильная женщина. . . И характер, видать, крепкий, мужеский».

— А мой-то с курсов чего пишет. . . Живу, грит, впроголодь. От столовской пищи «абжоба». Так и написал, грамотей плюшевый. «Вспоминаю, грит, твои шти со сметками, и плакать хотца!» Это он ши, извините, вспоминает, а до меня ему, козлу, дела нет!

Полысаев успокаивающе похлопал дамочку по плечу.

— Я вот тихого гостя к тебе привел. Покорми, привет. . . Поговорить мы с ним должны. Один исторический факт осмыслить. Ешь, дядя Саша, оттаивай. А я погожу, покуда не поподобреешь. . . Ты ведь злишься на меня? Злишься. Бросил я тебя при отступлении. . .

— И почту бросил. А денежки прихватил.

— Денежки, говоришь? Так во-он ты куда! Значит, денежками попрекаешь? Огненными, кровавыми, пламенными. . .

— Прежде всего — казенными. Почтовыми, товарищ Полысаев!

— Да почему «Полысаев», если Полетаев?! Фамилии не запомнить! Тоже мне гости. . .

— Денежки, дядя Саша, разбомбило. Не переживай ты за них. Все пожгло, поразметало. Во время военных действий. Никто их с той поры не видел. Не было их, денежек. . . Сказки.

— Были денежки. Война в воскресенье началась. Не до денежек людям сделалось.

— Про все-то ты, дядя Саша, знаешь. Как волшебник. Допрашиваешь?

— А вы лучше товарищу Коршунову расскажите. Интересноется он... — «Вру, и врать хочется!» — веселил себя Валуев. А вслух продолжал:

— Вы меня тогда бросили на произвол судьбы, товарищ Польшаев. С малолетними племянниками. Из-за вас я в оккупацию попал. Из-за вас мне теперь жить не хочется. Потому что так жить нельзя, как я живу. . . В прежние годы меня бы великомучеником признали. За мою жизнь. И решили мы с товарищем Коршуновым, с партейцем неподкупным, на чистую, значит, вас воду вывести. Пусть люди узнают, на что Польшаев колбаску нынче ест. И селедочку разную! — Дядя Саша втянул вместе с губами в рот водочку, крикнул и уже намеревался плюнуть на пол, как вдруг женским басом грохнула по нему хозяйка:

— Чего губы-то жуешь?! Я те плюну, шкилет! Наелся. . . Польшаев, Польшаев — знай твердит! Фамилии не выговорить, а туда же, о денежках бренчит. . . Кто ты такой?!

Дамочка схватилась за концы пухового платка, перекрестила их под подбородком, стягивая злобно, словно желая задушить себя таким способом. Затем она угрожающе поднялась и, как птица, нависла над дядей Сашей.

— Почему же. . . Мы фамилии хорошо знаем. И свою, и товарища Польшаева в том числе.

— А ты протри очи, пьянь подорожная! На кого едешь?! — заорал вдруг доселе уравновешенный Польшаев. — По ком панихиду справляешь, шибзднк?! А вот накось, читай! Что это? Что это, спрашиваю?

— Это паспорт. . . Натуральный. Постоянного действия. . . — С восхищением разглядывал дядя Саша документ. — Со штемпелем. . .

— А ты читай, читай, грамотей! Между глаз бы тебе штемпель поставить за такие слова гадкие. . . Вот читай: По-ле-та-ев! Полетаев я, Петр Ильич. Понял? И тебя, доходягу, впервые вижу!

— Это как же? . . . Полетаев? Почему Полетаев?

— Потому что вы есть пьяный! В чужой дом вломившись! В тапочки моего мужа влезли. А ну, беги отсюда, иначе свяжем и в подвал! Крысам на гравировку! — перешла с баса на шепот хозяйюшка.

— Ладно. . . Ухожу. Чего там. . . Кушайте сами. И тапочки сниму. Зачем они мне?

Валуев скovyрнул тапочки с ног. Прошел к вешалке одеваться. Достал из кармана и машинально пристегнул к шее бумажный галстук. Набросил на плечи пальто, кепку нахлобучил. И так, не обуваясь, разутый стоял, повернувшись лицом к хозяевам.

— Спасибо за угощение. . . И что же, выходит, не Польшаев будете?

— Нет.

— И мы — незнакомые?

— Чужие вовсе.

— Тогда прошу прощения. . . Не туда попад.

— Бывает. Сапожки свои трофейные не забудьте. Снаружи дождик.

. . . На дворе откуда-то из-под крыльца вышел, потягиваясь, Катыш. Понюхал воздух, обежал вокруг хозяина. Понял, что хозяин выпивши и теперь не замечает никого. Тогда Катыш дважды звонко пролаял.

— А-а. . . Катыш! Хороший ты мой! Куда мы с тобой попали? Опять не туда. . . Опять не туда.

Катыш бодро вышел на тропу, занял место впереди хозяина и так повел его из чужой, незнакомой улицы через еще более незнакомый родной город.

10

Над рано утихомирившимся городком уже темнело. Дядя Саша бежал, стараясь к пяти часам поспеть на ту сторону реки, в крепость, где Лукьян, должно быть, уже посматривал на свою трофейную штамповку со светящимся дифферблатом.

Возле незакрытой еще столовки, той самой, где товарищ Коршунов угостил его щами, случилась у дяди Саши новая встреча. Шумно скачущего по деревянному тротуарчику Валуева остановил какой-то мокрый тип в дырявом макинтоше. Катыш бросился было под ноги незнакомцу, однако тот весело зачмокал губами, захлопал ладонями о колени, и Катыш постстал.

— Не узнаете? — весело осведомился незнакомец. — Марки у вас на почте покупал. До войны.

— Вот как. . .

— Помощь не требуется? Могу оказать.

— Спасибо. У меня все хорошо, — тяжело дышал Валуев.

— Догоняем кого или в обратном порядке? А я вас нынче уже видел. Вы к Полуэктову заходили.

— На прием. . .

— К Полуэктову и — на прием? Сильно сказано! Полуэктов — пенсионер. И на общественных началах взносы собирает. Да на заем подписывает. Очень важная птица! Еще он газету читает, а после ее же и курит. Что он вам сказал?

— Вообще-то я по делу заходил. . . Да выходит, что двери перепутал.

— Знаю ваши заботы. . . За паспортом вы заходили. И вашу озабоченность разделяю. Кстати, помочь вам тоже не откажусь. . .

— Благодарствую. . . Только меня люди ждут. С минуты на минуту. . . Я еще приеду. А сегодня уже стемнело и дождик. . .

— Куда вы опаздываете? Я дело хочу предложить. После которого вам не только дождик — землетрясение понравится.

Валуев жалко заулыбался, как заплакал. . . Не забывая оглядываться по сторонам. Народу на одноэтажной улочке не было совершенно. Из столовки доносились то ли тихие песни, то ли грустные вопли. Освещался городок с перебоями. Взорванную в годы войны электростанцию на Песчанке постоянно чинили, налаживали. С войны не могли наладить. В зале столовой на опорных столбах висели две керосиновые лампы незначительного калибра.

— Сколько вам лет? — спросил у Валуева неизвестный в макинтоше. — На мой невооруженный глаз — этак с девяносто пятого?

— С девяносто третьего. . .

— Обладаю! Даже двумя вариантами. Хотите. . . — тут мужчина вынул из-под макинтоша какие-то бумаги, стал в них копошиться, близко поднося к глазам. — Скажем, Погодин? Устраивает? Или вот — Шапиро? Оба с девяносто третьего. А Шапиро, так тот даже Первого мая родился! В международный праздник.

— Дело не в этом. . . — заволновался потрясенный дядя Саша. — Зачем же Шапиро? . . . Чужое — зачем? Дело в том, что я Валуев, натуральный. . . Зачем же? . . .

— А затем, что я паспорт предлагаю. И не какой-нибудь временный, не справку липовую, а досконально бессрочный документ! До конца дней. . . И всего пятьсот

рубλικов. Как в сказке: вы мне рублики, я вам паспорт. С вашей фотокарточкой. У вас есть снимки три на четыре?

— Еще не готовы. . . Да бог с вами! Зачем он мне, такой паспорт! С чужого плеча. . . А может, этот Шапиро где-нито рядом живет, а я по его паспорту веселиться буду? Пустите меня. . .

— Тогда валяйте в паспортный стол! К Полуверову. В оккупации были?

— Не я один. . .

— Факт. Только у всех остальных паспорта есть, а у вас его нету. Идите, идите. . .

— Послушайте. . . А нельзя ли Полуверова, ну, хоть Христом-богом попросить. . . Так, мол, и так. Выдайте Валуеву паспорт. А я отблагодарил бы. Грибочков сухих. . . Боровичков. Связочку. Клюковки. . .

— Понимаю вас. С кем не случается. . . Ну, согрешили там, в оккупации. . .

— Волостным головой меня назначили. Пять месяцев числился. . .

— Ой, ой! И не говорите дальше. Ой! Какой ужас. Сколько у вас?

— Что сколько? Годов мне?

— «Годов»! Денег сколько?! Учтите, Полуверов взток не берет. Но чтобы охмурить его — тут подход нужен. Система целая. И все разобрать нужно. Так что, ежели хотите моего содействия, для начала в столовой и обмозгуем всякие тонкости. Давайте знакомиться. Меня Витей зовут, — протянул пожилой незнакомец руку.

— Витя. . . А как же дальше? По батюшке вас? . .

— А вот это излишне. Без батюшки проще будет. Витя, и — привет!

— Валуев Александр Александрович. . . То есть — Саша. Если по-вашему. — Они пожали друг другу руки. Ладони у обоих были мокрые от дождя.

— Ну же, двигайтесь. . . В столовой тепло, сухо. И выпить дают!

И потянул Витя дядю Сашу, как магнитными силами, на расстоянии, без всякого соприкосновения тел.

Дядя Саша в последний раз оглянулся по сторонам, хотел позвать Катюша, но собачка, и прежде не единожды кормившаяся на задворках пищеблока, вероятно, отсутствовала в том направлении.

В столовой, как ни странно, было много народу. Люди курили, говорили, пили что-то, а двое — повар в белом колпаке и фотограф Моисей — ни много ни мало — играли в шахматы.

Более кучно посетители держались в самой глубине зала, у буфетной стойки. Дядю Сашу Витя усадил ближе к выходу, подальше от ушей.

Неожиданно в компании, что шумела больше других, кто-то жалобно-жалобно, как на одной струне, задребезжал-запел тонким голосом: «И родны-ы-е не узна-аю-т! Где могилка-а-а моя-я!» Дядя Саша посмотрел на голос, однако женщины в компании не обнаружил. Выходит, мужична так высоко взял. . . И это был один из последних фактов, отмеченных дядей Сашей до того, как он отпустил тормоза и позволил себе принять лишнего.

Витя принес в стаканах выпить. И два бутерброда на тарелочке.

— Чур! Я первым угощаю! Состоялось. . . — Лязгнули, будто буфера поездные, граненые стаканчики. И сделался дядя Саша ручным-ручным, словно у него в черепе дырочку просверлили и все жиденькие силы его души враз наружу вытекли. . .

Далее Витю угощал дядя Саша. Целовал бывшего покупателя марок в хитрые губы, подпевал чьему-то бабьему голосу, и вдруг Валуева потянуло сказать речь. Конечно, хотелось, чтобы слышали все! И дядя Саша, дабы обратить на себя внимание, разбил об пол тарелочку из-под бутербродов. Но никто бровью не повел. Зато повар в колпаке решительно подошел к Валуеву, достал прямо из дяди Сашиного кармана десятку и положил ее себе в карман.

— За следующую тарелочку возьму в двойном исчислении, — объявил он бесстрастно и пошел доигрывать с Моисеем шахматную партию.

Тогда дядя Саша встал и заплакал. Бешено утешал его Витя. Гладил по голове, дергал за длинные полы пальто, целовал в ямку рта, пытаясь вернуть дядю Сашу в прежнее деловое состояние.

Попутно Витя произвел на Валуеве мимолетный обыск, завладев львиной долей купюр, скопленных теткой Фросей на штраф беспаспортному мужу.

— Я пришел сказать вам. . . — рыдая, извещал столующихся граждан дядя Саша, — сказать, что мне очень

плохо! Я не по своей вине. . . Я. . . никого в жизни не убил, не ранил. . . Даже скотину! Рыбку, рыбку, окунька однажды. . . И никого больше! Тогда почему же мне так страшно?! Никто не спросит. . . Единственно — товарищ Коршунов: каким был, таким и остался. . . Хорошим человеком! Даже вот щами изволил угостить. И хлебом пожертвовал. . .

Всерьез дядю Сашу никто не воспринимал. Разве что Моисей, который слушал, улыбаясь, не забывая при этом двигать фигуры по доске. Повар внимал мрачно, с каменным лицом. Как американский полицейский.

Из сидевших одиноко без компании Валуеву посочувствовал какой-то сердобольный крестьянин, перекусывавший прямо в треухе и овчинном полушубке. На одной из его рук, левой, неснятая, топорщилась шерстью варежка.

— Страшно тебе? А ты прими, сокол. Не убивал, говоришь, ты? А ты — убей. Сразу полегчает. . .

Витя показал крестьянину на пальцах, что он-де того, дурачок. Повернул дядю Сашу спиной к этому человеку. И тут, должно быть тоже возжаждав обратить на себя как можно больше внимания публики, приподнялся над возлебуфетной компанией поющий женским голосом человек и так неистово взвыл, покраснев до черноты и оскалив стальные зубы-пули, что от его блатной песни даже невозмутимый повар подскочил, обрушив с доски собственного короля под стол. И началось. . . Вернее, этим все и кончилось. Потому что в визгливом человечке дядя Саша вновь опознал того самого, якобы полицейского, опознал и полез, полез туда, в ненавистное лицо — с кулаками.

— Дайте мне кирпич! Я его тоже кирпичом! . . Это он моего Кешу жизни лишил! Китаец этот. . .

В руке Валуева сверкнула бутылочка из-под морса, которой он несильно ударил певца по крутому плечу. Человек с железными зубами грустно улыбнулся, отбросив с плеча бутылочку, а с нею и дяди Сашину костлявую длань. И неожиданно запел прекрасную русскую песню. «То-о-о не ветер ве-е-етку кло-о-о-нит. . .» Раз! — ударил он Валуева кулаком в подбородок. «Не-е-е ду-у-бра-а-авушка-а-а шумит!» Еще удар, теперь по уху. «То-о-о мое-е-е сердечко сто-о-о-нет, как да осенний ли-и-ист дрожи-и-ит! Ах!» И тут певец пустил в ход свои стальные зубы, едва не откусив дяде Саше кончик носа. У дяди

Саши не было сил. У него был порыв. Недолговечный, как старческая улыбка. . . Выручил Валуева сержант милиции. А также повар, умевший играть в шахматы. Кашевар даже колпака белого с головы не снял, конвоируя дядю Сашу в участок, и продвигался по темной вечерней улице, как врач, держа больного за левое крыло. Правым крылом овладел знакомый всему городку пожилой милиционер Кириосов. В звании сержанта.

Дядя Саша и не думал сопротивляться. Он продолжал плакать и одновременно горестно напевать «Дубравушку». А тот человек, с которым они сцепились, успел слиться в суматохе. Так что следом за дядей Сашей и его сопровождающими брел всего лишь приуставший, неразговорчивый Катыш. Сказывались километры пути и нервное перенапряжение, полученное собачкой в горниле столь бурного для обыкновенной дворняжки дня.

Очнулся Валуев часа через два после дебоша. Лежал он теперь на голых досках. Двигаться вовсе не хотелось. В голове все еще звенел печальный мотивец и ворочались где-то у основания языка прекрасные образы, облеченные в слова «кручина», а также «подколодная змея». Вскоре дядя Саша почувствовал, что в теле его резко похолодало. Первым остыл кончик носа, который хоть и весьма незначительно, однако пострадал от холодных зубов певчего драчуна. Внезапно Валуев припомнил, и довольно отчетливо, что дядька, с которым они дрались в столовой, был совершенно лысым. Тогда как тот, прежний «китаец» в полицейском мундире, имел длинные прямые волосы черного цвета. «Выходит, в парикмахерской обрился. Для маскировки. Вот и пойми их. . .» — печально недоумевал дядя Саша. Он с превеликим трудом повернулся внутри пальто чуть набок, ровно настолько, чтобы прикрыть бархатным воротничком остывающий нос. И опять неожиданно Валуев подумал о совершенно постороннем и к ситуации не относящемся. Раньше, когда он жил в городке на своей Крепостной улице, в доме у них была точно такая вот бархатка для наведения глянца на обуви. Одна, стало быть, на воротнике, другая для обуви. . . «К чему бы такое?» — подумал дядя Саша, не отрывая глаз.

«. . . Не иначе — в милиции нахожусь. Казенным домом пахнет от стен. Холодно и нары. Интересно, за что? Не иначе — посуды много перебил. Не за драку

же. . . Драться не мог. Сил нету. Мускулов. Может, сболтнул чего лишнего? По неосторожности? Бубнил, бубнил и ляпнул! В присутствии. . . Вот и получай, значитца, паспорт, скребут те маковку! Припаяют пятерочку. Дальнего следования. . . Ну и слава богу! Там уж тебе ни паспорта, никаких других бумаг не потребуется. Да еще, глядишь, где-нито сынка встречу. . . На просторах земли. Кешу, кровиночку. Вернется Катыш в Гнилицы, поймет Фрося, что не получилось у них с паспортом. Интересно, доберется собачка самостоятельно или растеряется? Тогда блякать ей по белу свету до его, дяди Сашиного, полного освобождения. Однако должен вернуться, ушлый он, Катышок, смекалистый. . .»

Один глаз у дяди Саши смотрел в воротник, другой не смотрел вовсе. Закрытый был. Выключенный. Как фонарик. «Может, и смотреть не на что. . .» — утешал себя Валуев.

И тут, в непосредственной от него близости, кто-то вежливо покашлял. Приглушенно, должно быть в кулак. По-культурному.

«Кажись, люди?!»

Глаз открылся. Прямо перед собой, видимо над дверью, Валуев разглядел забранную проволочным мешочком слабенькую электролампу синего стекла. Из-под лампочки, вежливо кланяясь и шаркая подошвами, появился человек мужского пола.

«Ишь ты. . . Не один я здесь. Небось уголовник или еще какая шпана. У такого бритвочка в подкладке. Приставит к носу — и сымай сапоги или еще чего. . .»

Дядя Саша закрыл глаз, стараясь не шевелиться.

«Пусть думает, что пьяный и сплю».

Прошло немного времени, и Валуев почувствовал, что у него отекает бедро и рука в плече неприятно замлела. Долго так, без шевеления, не належишься. Это во сне — хоть на желудок, хоть на сердце свое навались — не страшно, не больно. А наяву человек шевелиться должен, иначе с ума сойти можно. Ладно. . . Покашляю.

— Проснулись, товарищ Валуев? А я вас давненько тут поджидаю.

— А вы бы того. . . Толкнули меня. Не барин. . .

— Толкаются на рынке, товарищ Валуев. А мы с вами в государственном учреждении.

— Это какое ж такое учреждение?

— Которое отделением милиции называется.

— Понятно. . .

— Долго вы спали, товарищ Валуев. Заждался я вас. Измучился, откровенно говоря. Что со спящим, что с мертвым. Особенно когда синяя лампочка в помещении. А я у вас, товарищ Валуев, до войны на «Огонек» подписывался. . .

— Не знаю, не помню. . .

— Хотите семечек? Полузгать?

— Не имею зубов. Закурить бы. . .

— Курить не положено. В учреждении.

— А время какое, не скажете? Который час?

Тип перестал шаркать подошвами, отвесил глубокий поклон и почему-то долго не отвечал дяде Саше на вопрос. Валуев даже смирился с таким его поведением, приняв молчание соседа за внезапный отказ общаться вообще. Примерно через минуту вежливый незнакомец вновь отвесил поклон и тихо так засмеялся, будто где вода просочилась и зажурчала. А затем чужим, командирским баритоном, властно и серьезно, спросил дядю Сашу:

— А вам не все равно — сколько?!

— Вы об чем? Думаете, до суда дело дойдет?

— Ничего подобного. Я насчет времени. Спрашивали, товарищ Валуев?

— Да бог с ним, со временем. . . Это я так. . . Несерьезно.

— Так вот, товарищ Валуев, я считаю, что никакого времени нет.

— Ну и хорошо. . .

— Не имеет значения, сколько сейчас времени, товарищ Валуев. Потому что никто не знает, сколько его вообще в природе, времени вашего.

Дядя Саша почесал нос, не вылезая из воротника пальто, и, все так же лежа, подумал:

«Ишь ты. . . Ученый человек, видать. А я-то о нем — «уголовник». А все лампочка. С гулькин глаз. . . Поди разберись тут. . .»

— Американцы говорят, что время — деньги. Челуха, товарищ Валуев. Вернее — фальшивые деньги. Обман зрения. Раз нельзя взвесить, нельзя обмерить, значит, и разговаривать не о чем. Согласны, товарищ Валуев? Сколько его до нас с вами утекло? И сколько еще утечет после того, как мы с вами, товарищ Валуев, лапти отбро-

сим с этих вот нар? Соображаете? Ну, сколько, по-вашему?

— Не знаю, не измерял. . .

— И любви — нету. Как таковой. Предположим, товарищ Валуев, что вы кого-то любите. А я ваш предмет любви, то самое, что вы любите, беру на мушку и убиваю. Лишаю жизни. Вы с горя спиваетесь или умираете, что равносильно. И где тогда ваша любовь? Нету ее. В природе. Как таковой. Одни разговоры. Ни любви, ни времени. Нету. Клоп на стене — есть, а любовь отсутствует. Что же вы молчите, товарищ Валуев? Протестуйте.

— Не по моей линии.

— Вы кого-нибудь любили, товарищ Валуев? Скажем, в молодости?

— Почему же в молодости? Я и сейчас. . . Сынка, Кешу, Ефросинью свою. . . Да хоть бы и Катышка, песика, люблю, почему не любить?

— Чепуха, товарищ Валуев. Это не любовь. Это жалость. Нюни это. От скопления в железах соленой водички, которой название — слезы. Жалеее ближнего, как самого себя. А ты вот чужого пожалей! И все равно это — не любовь, а просто так — чуйства. . . Любовь — это бог. А бога нет. Доказано многими учеными людьми.

— Бога-то, может, и нету, а я, значит, вот он. . . Перед вами. В натуральную величину. Хоть руками трогайте. И жалею, а стало быть, есть жалость. Извините, не нашего ума дело, а все-таки сомнение берет. Говорите, что нету любви. Была, имелась, и вдруг — нету. К такому привыкнуть требуется. . .

— А могли бы вы, товарищ Валуев, убить тех, кого любите? Выражаясь архаически?

— Для этого дела убийцы есть. . . А я по другой линии. Не только никого не убивал, даже не ранил. За все годы жизни.

— Никого — это понятно. Может, вы баптист. А вы самого дорогого человека убейте! Вот подвиг, вот любовь! Не можете?! Значит, и не любите никого! Одна видимость, как таковая. . . А тот, кто любит, тот ради близкого человека на все готов. Даже на убийство, не говоря уж о самоубийстве!

— Вот как. . . — заволновался потихоньку дядя Саша. Тут он принял сидячее положение, подставил себе под

ноздри полочкой большой палец, почесал указательным переносицу. Запахнул плотнее пальто и, нашарив ладонью кепку, изготовился ко всяким неожиданностям. Он вдруг решил встать и уйти отсюда — почему-то не понравилась ему бесовские речи соседа по камере.

— Вы меня извините, только я пойду. Меня человек ждет. С лошадьку.

— Ради бога! Не смею задерживать. Просьба: когда сквозь дверь проходить будете — не поцарапайтесь.

Дядя Саша подобрался к двери, потрогал ее — заперто.

— Идите, идите. . . Я не возражаю.

— Закрыто.

— Специально закрыто. Для вашей пользы, товарищ Валуев. Чтобы — думать. . . Чтобы не отвлекаться и думать о высоком, о звездах. А вы о чем думаете? Небось о том, что вы есть самый несчастный человек Советского Союза? А нужно думать о высоком. Особенно если тебя унизили, а еще пуще, если ты сам унижился. В тюрьмах, в больницах, на смертном одре. . . Взять, к примеру, меня. Я убил свою жену, которую очень любил. Уничтожил как таковую, потому что любил сверх всякой меры. Я избавил ее от мук старости, от измен и болезней, лишил ее многих унижений. . . Я любил ее, люди!

Дядя Саша решил пока что упорно молчать. В разговор не вступать, дабы не распалить и без того жуткого человека.

«Кажись, не пьяный, а смотри-ка, что плетет. . . Почисте всякого уголовника. Здесь ухо остро держи. Притиснет к нарам. Мужик грудастый».

А подозрительный субъект отвесил Валуеву очередной поклон, распрямился под самой лампочкой, лицо его высветилось.

«Ба! — затрепетал дядя Саша. — А ведь я, кажись, и этого дядю где-то встречал! Спросить? Нет уж. . . Не на того ли пленного немца нарвался? Который, в свою очередь, на майора-танкиста смахивает? Отобравшего при отступлении мою почтовую «коровину»?»

— . . . И тогда — в любом положении, где бы вы ни очутились, хоть под нарами, хоть в скалу замурованы, и тогда вас, товарищ Валуев, обступит абсолютная свобода! То есть — свобода духа, — продолжал, улыбаясь мягко, незнакомец.

Валуев дождался момента, когда типчик переместится по камере в сторону окошка, сделал обезьяний прыжок к дверям, заколотил костлявыми кулаками по дереву. Через минуту за дверью послышались шаги.

— Кто стучал?

— Пустите меня! — завопил дядя Саша. — Откройте!!!

— На двор, что ли?

Скрежетнул засов. Валуев пихнул дверь, бросился наружу.

— Куда?! — схватил его в охапку караульный.

— Пустите! Права не имеете. . . С ненормальным содержать!

— Сиди, не рыпайся. Где мне тебя содержать, когда во второй камере двери сорваны. С петель.

— Я в коридоре посижу. . . Можно?

— Заходи обратно! Цаца, понимаешь. . . Плохо ему здесь. Смотри, дядя, не обостряй отношений!

Дядя Саша молча опустился на корточки возле дверей. Закрыв голову руками. «Ну, конечно, этот бандит и отобрал у него пистолетишко. «Коммунист, бежишь?!» — его голос. Может, диверсант какой? Да что же это делается. . .»

Караульный поработал засовом, ушел. За спиной Валуева «диверсант» шаркнул ножкой и, всего вероятнее, поклонился.

— Не забудьте, товарищ Валуев, когда вас будут расстреливать, не забудьте подписать меня на «Огонек». Так сказать, по знакомству.

За дверью камеры, в сонном коридорчике райотдела, вновь послышались чьи-то шаги, много шагов. И голоса! «Чьи бы это, господи? Никак — Лукьяна Григорьевича? Ах ты ж умница какая! Век буду бога за тебя молить. . . Так оно и есть! И товарища Коршунова — речь! Стучать нужно. . . Иначе могут мимо пройти. . . За разговорами. Промаяхнуться могут!»

— Товарищ Коршуно-о-в! — отчаянно закричал, заколотил, забился о дверь Валуев.

Его выпустили в десять часов вечера. За нарушение порядка, которое он произвел в столовой, пришлось уплатить штраф — последние пятьдесят рублей. Свой просро-

ченный, не имеющий силы, временный паспорт дядя Саша при составлении протокола намеренно не предъявил. Сейчас этот паспорт обладал как бы антисилой: предъяви — и начнутся новые неприятности.

Личность его подтвердили товарищ Коршунов с Лукьяном Светлицыным, и этого оказалось достаточно. Вместе с ними он и вышел из милиции на воздух, совершенно измученный самим собой и теми нелепыми обстоятельствами, в которые поставил себя добровольно.

Оказывается, Лукьян Григорьевич, не дождавшись Валуева в крепости, домой один не поехал. Он вдруг, ощутив беспокойство, решил справиться в милиции: нет ли там его друга-товарища?

— Каков из себя? — спросил дежурный.

— Худенький такой мужчина. Грустный. На почте работает. По фамилии — Валуев.

— Зачем он вам?

— Взять его хочу. На поруки. Домой пора ехать. Мы из Гнилиц.

— Ничего не выйдет. Ваш друг вчера нахулиганичал. В помещении столовой. И здесь, в камере, шум производит.

— Больной он. Истощение у него, понимать надо... На нервной почве голодание, — пробовал разжалобить дежурного Лукьян.

— У нас не курорт, чтобы здоровье поправлять...

Тогда Светлицын не поленился разыскать товарища Коршунова. Лукьян Григорьевич еще в парикмахерской часовенке догадался, что Коршунов к дяде Саше относится как-то по-особенному, глаз от него не прячет и даже улыбается в его сторону, а стало быть, хорошо между ними и обратиться за помощью к Коршунову можно.

— У меня к вам просьба, товарищ Коршунов. С хорошим человеком беда приключилась. В милицию посадили. По пьяному делу... А ему еще ехать далеко. Здоровьишко слабое имеет, а главное — попутчик он мне и друг большой. Детей моих любит. То сахарку сунет, то сухарик подарит. А то и просто сопли с губы снимет. Не побрезгует... Добрый он, а супруга его Фрося и вообще — ангел натуральный. Всю деревню обшивает, машинка у нее, ножная. «Зингер». И все — бесплатно.

— Постой, постой, да о ком речь-то?

— Да почтовый-то наш работник, дядя Саша, вот о ком, или не слышали? Стриглись на пару сегодня. . .

— Сан Саныч?! Да ты что?! А я его к Полуверову на прием сосватал. А тут — пожар в одной землянке. Мальчик порохом печку топил. Все побежали тушить, а почмейстер и пропал. Ожидали его на прием. Да так и не дождались. А он, гляди-ка, куда подался! В милиции сидит.

Дежурного товарищ Коршунов уговорил довольно сноровисто. Решено было штрафануть дядю, чтобы не лягался на людях, и — дать по шапке.

Из отделения все трое вышли в темную ночь. Даже вершины деревьев не просматривались на небе. Городок, попавший под колеса войны, лежал не шевелясь, напоминая о себе запахом дыма да редкими искорками неуснувших окон.

— Ну, Сан Саныч, гуляй! Дыши кислородом. . . Пошли ко мне живо. За стол. Юбилей у меня. Полвека.

— Поздравляем! Доброго здоровья! — заулыбались гнилицкие мужчины.

— А почему закричал в камере? Сан Саныч? Диким голосом. Разве можно так нервничать?

— А вас услышал. . . Голоса ваши. Лукьяна и лично вас.

— Обрадовался?

— Не. . . То есть непременно обрадовался!

— Ну и что? И сиди тихонько. Ожидай. Нельзя в милиции шуметь. Кто кричит, на того милиция обижается.

— И еще — рыбку вспомнил. Я ей корму обещал сообразить. Да запамятовал. А вас почуял, и вспомнил сразу.

— Обойдется твоя рыбка. . . Ты ей насекомых, разных клопов-тараканов скармливай. Глядишь, обоим польза.

— А еще в камере со мной мужчина сидел. Больной. А может, и хуже. Жену, говорит, убил. Бабу, значит, свою. На почве любви. Такое плел, такое плел!

— А-а-а! Куликов?! Актеришко. . . Все кланяется и при этом язык показывает?

— Кланяется, точно! А вот языка — не видел. . . Может, и показывает. Только там у нас полумрак, в камере. . . Да и не разглядывал я его, зачем?

— Жену-то он действительно убил. С приездом офицером ее застал. На сеновале. Керосином сарайку облил и поджег. Капитан проезжий в окошко выбрался. Куликов ему не препятствовал. А жена как глянула, что муж

внизу стоит, так назад, в огонь, и запрокинулась. . . А теперь он, Куликов этот, придурком притворяется. Грамотные, они всегда так. Учитель пения, понимаешь. . . Нет чтобы: так, мол, и так — сгорела жена. Виноват, сено поджег. Куда там. . . Сразу сходят с ума. Дверь в камере сломал. Дежурный жаловался. Ну, да завтра за ним придут. Из области.

— Интеллигентный человек. А вдруг он — шпион какой-нито? . . . Подозрение имею.

— Куликов-то? Учитель он. Пения. И родился в нашем городке. Да знаешь ты его, не прикидывайся!

— Переволновались вы, Алексаньч, — посочувствовал Валуеву Светлицын, с трудом поспевавший за все еще взбудораженным дядей Сашей.

— Разве это — Куликов? — дядя Саша остановился. — Почему же я его не узнал?

— Перебрали. . . Потому что, — улыбнулся Лукьян Григорьевич. — Оставил я вас одного. А зря. Сейчас бы дома уже спали.

— А к Полуверову? Скулил, скулил, а до дела дошло — и смылся. Полуверов завтра выходной. — Коршунов вынул из галифе коробочку с папиросами «Казбек». Угостил дядю Сашу и Лукьяна.

— Не хочу я к Полуверову. И так тошно. . .

— Да чего тебе тошно-то? Чего ты все ноешь, елка-палка? Вот, ей-богу, совесть у тебя не чиста, Валуев! Обмажутся в трудные минуты жизни, а там и ноют. И откуда ты такой нежный вылупился в наших краях?! Пошли, живо! Кормить-поить буду вас, хватит плакаться.

— Не, товарищ Коршунов. Спасибо, конечно. . . Только — отпусти. Не смогу я праздновать. . . — взмолился дядя Саша.

— Нездоров он, Аркадий Иванович. . . Свезу-ка я его домой.

— Ну и катитесь! Нет в вас. . . музыки! Партизанской. . . Шуму лесного.

— Рыбке вот. . . корму не купил. Умру, кто ее тогда порадует?

— Слушай, Валуев. Поди-ко, пару слов тебе сказать хочется. Извини, Лукьян. Есть у меня к нему вопросик, сугубо в одне уши.

Дядя Саша опустил руки по швам, робко, будто под-росток перед красавицей, замер.

— Скажи ты мне, голова. . . Только полную откровенность. Сам видишь, я тебе не враг. Объясни ты мне свои страхи. Почему? У тебя — что, не все чисто за пазухой? Может, пакость какая за подкладочкой? Потаенная? Не скрипи зубами, у тебя их нету, зубов. . . Может, расписочку какую-нито оставил? И лежит она теперь в заморском архиве? А я тут за тебя кланяюсь разным голосистым Полуверовым. . . Кланяюсь, а ты — бух! — и не тот окажешься. Не просто дядя Саша, а сволочь дядя. . . А? Что скажешь?

— Ничего больше не скажу.

— Темнишь, выходит?

— Не обижай!!! Чего сверлишь?! Подписочки. . . И без подписочек не живу, гнию заживо! Мертвый я изнутри. . .

— Фу ты, черт! Испугал, почмейстер. Ай да мертвяк. Голосистый какой! Во, чума! Спросить нельзя. Одним словом, порядок? Так и скажи. Недаром ты мне в душу забрался. Жалко мне тебя. И объяснения нет — почему жалко? Стал быть, полный ажур с этим самым?

— Какой там ажур, товарищ Коршунов, если я голова при немцах был? Ну какой ажур, какой порядок?! Не будет мне ажур. . . Никогда!

— Нервный ты, Сан Саныч. . . Раздражительный. Нельзя так после войны. Да и в войну нельзя. Убьют моментально. . . Мужики мы или кто? Давай руку! А кричать неприлично. То есть — нервничать. Так я говорю, пограничник?! — Подошли к Светлицыну. Коршунов пожал им, потряс руки. Повернулся и ушел в темноту. На свой праздник. Как бывало — в дебри свои уходил. Партизанские.

— Обождите, Алексаныч. . . Не угнаться мне за вами. Давайте я за вас подержусь на ходу. Как за клюшку.

— Держись, Лукьян. Спасибо тебе за беспокойство. Вызволил. Хороший ты.

— Это товарищ Коршунов вызволил. . .

— И товарищ Коршунов хороший. Вот только нечем мне вас отблагодарить. . . И некогда.

— Успеется! Слушайте, Александра Алексаныч, хочу я вас про собачку спросить. . . Неужто потерялась? Такой песик шустрый!

— В Гнилицы он подался.

— Неужто — дорогу помнит?

— Катыш? Хаживал он этой дорогой. И со мной, и самостоятельно. Как только перебор у меня в райцентре, так сразу собачка на шоссе выходит — и напрямиком в Гнилицы. Ты мне лучше про себя, Григорьич. С такой... неудобной ногой по милициям бегал. Замучил я тебя небось?

— Бегал, а чего?! Нога у меня легкая, сам строгал.

— А культя? Культя-то разве не больно?

— В основном — к погоде...

— Эх, Лукьяша! Цены тебе нет.

— Гляди-ко, захвалили напрочь...

— Григорьич, а ты в курсе, ведь я при немцах «головой» был?

— Как то есть — «головой»? Ах, вы про это...

— Пожалей меня, Григорьич... Никто ведь взрослого человека не пожалеет толком.

— А чего ж... Понятное дело, жалею... Так что — и не сомневайтесь, ежели что... А про это вы зря... Про «голову». Понапрасну убиваетесь. С партизанами связь держали и все остальное...

— И с немцами! С фашистами! Держал... Взяли за галстук. В глаза полминуты посмотрели... Да пальцами по столу побарабанили. Тут я и рассыпался, дура... Ох, дура! А все потому, что в партию не вступил! В свое время. Еще в нэп — агитировали. Отмахнулся. Тихий, говорю, не активный. А состоял бы в партии — хрен бы тогда предложили «головой» сделаться! Я бы тогда в подполье ушел. Или сразу в лес... к товарищу Коршунову. Эх, Лукьян, Лукьян, пожалей напоследок, скажи доброе слово! Умру я скоро, издохну... Вот увидишь.

— Может, и к лучшему, что беспартийный вы... Партийного — они бы вас не «головой», они бы вас, сами понимаете, застрелили бы без разговоров.

— Геройскую бы смерть принял. Рук бы об себя не марал...

— Ой, и что говорит человек! Потерпите, Алексаньч, дружок. Вот уж и крепость показалась... Слышите, собачки на горе брешут?

— А вдруг и мой там? Кривоногий...

— Очень даже может быть: собака собаку издалека чует.

— Фрося моя наказывала о сынке поспрашивать... А — кого? Товарища Коршунова? Не знает он про это...

Знал бы — сам поведал, не утаил. А старичок Полуэктов и подавно не в курсе.

— Вернется ваш сынок. Раз ни слуху ни духу, значит, где-то существует. . .

— Откуда тебе известно такое?

— А вы разве чуете по-другому?

— Я — другое дело. . . Я — отец.

— Я за вас переживаю. Законсервировали его, одним словом. На данный отрезок времени. Помаринуют, а там, глядишь, и — порх! — прямиком в Гилицы. Встречай, батя, сынка. . .

— Жалеешь, Григорьич? . . Жалей, жалей. Добрый ты. Проникновенный. Прямо в душеньку проникаешь. Правда, пользы от такой жалости, как от новорожденного дитя. . . Пожалела меня как-то девочка маленькая однажды. И так это ловко у нее получилось. Рассказать или скушно тебе, Григорьич?

— Слушаю вас, Александрович!

Остановились в воротах под крепостной аркой. Тут набегали собаки Никаноровы. Обнюхали дядю Сашу и Светлицына. Расселись на тощих задках, поскуливая от голода и распушенности. Лукьян Григорьевич к стене прислонился. Валуев стоял и рассказывал, глубоко засунув в карманы пальто озябшие кисти рук. В воздухе густо потемнело, так что реденькой бледной бороденки Светлицына было уже не разглядеть.

— В самые первые дни, как меня «головой» сделали, приехал я в тот сельский Совет. В деревеньку лесную, старинную. . . Туда и без войны редко кто добирался. Ну, значит, зима. Слезли с саней. Перед казенной избой. Где раньше власть местная помещалась. От полозьев, от колеи проезжей — туда, к дому сему давнишние следы, заросшие поземкой, тянутся. Туда и обратно. А на крыше веранды — флаг. Советское, понимаешь ли, знамя. Красное. . . Кто наследил, тот, видать, и вывесил. А со мной полицейских двое приехало. Полезли они срывать. А мне жить не хочется. Смотрю на флаг, как его срывают, и все думаю. . . Вот теперь, думаю, и есть ты, Валуев, настоящий предатель! Не тогда, когда «головой» сделаться согласился, а сейчас, когда флаг срываешь. . . Слышу: «Куды его?» — повертел в руках полотнище тот, который срывал. А вокруг бело-чисто. И бросить эту красную вещь даже некуда. Отовсюду видна будет. «Дай, говорю,

сюда! Пригодится...» — «Для чего, спрашивает, пригодится? Разве, сморкаться в него теперь?» — осклабился, дурень глупой. Выхватил я тряпочку, за пазуху сунул. А для оправдания действий говорю: «Теперь, в войну, любая материя дороже золота. А эта, говорю, вот какая еще крепкая!» Полицейские переночевали, утром в Кукуево уехали. Там у них казарма была. Лесу вокруг Кукуева — самая малость... Спокойнее, значит. Без лесу. Без темени... Ну, съехали они. А я один остался. Сижу. За голым столом. Башку на доски бросил — решаю, когда пулю в лоб себе запустить: сразу или Фросю повидавши? Досиживаю день, никто ноги в сельсовет не кажет. Тихо. Зима. Люди, похоже, ожидают, как я тут действовать начну. А мне гадко... Смерти ожидаю. И вот как громом шаракнуло: тук-тук в двери... Слабенько так, несерьезно... Что, думаю, за случай? Голову от стола отвожу, замер — ожидаю. Тук-тук... опять. Малость погромче. «Войдите!» — кричу. А сам даже привскочил, во фрунт вытянулся. И входит маленькая такая, беленькая селяночка... В веснушках прошлогодних. Бочком в двери пролезла, к стене прислонилась. Ногу за ногу заплела и смотрит из-под лба. Скобочившись. «Можно к вам, дядя?» — спрашивает. Я говорю, что-де можно. Еще как можно! Проходи, говорю, садись. Прислали за чем? «Нет... Сама я. Дяденька, а пошто флажок сняли?» А я ей и соври: «Это, говорю, не я снял. Это те, которые в Кукуево уехали. Вот он, — показываю, — цел и невредим!» — и ящик-то от стола выдвинул. А в ящике, кроме флага красного, еще и пистолет мой находился. И патроны к нему. «А пистоль вам для чего? — спрашивает она меня. — Вы же — не партизан». — «А я из него сам убиться хочу. Можно? Понимаешь ситуацию?» — «Понимаю... Только не надо. Давайте лучше флаг сначала прибьем». И прибили. Да... И так все просто оказывается. Тишина. Зима по-прежнему. Нигде даже не хрустнуло. Сидим с девочкой за столом. Легко так сделалось. Будто в ледяной воде освоился, притерпелся. «Ну, — говорит девчужка, — теперь вы стреляться будете... Так я пойду. А лучше не стреляйтесь. Не надо. Хотите, я вас пожалею?» К столу подошла, с моей стороны. Отрывисто так, по-детски, по голове меня погладила. А под конец не удержалась, дернула за волосы. Видать, мамка ей такое не раз показывала... «Я бы вас и мертвенького пожале-

ла, не испугалась бы, — объясняет. — Только мертвые очень страшные». И начала мне про какого-то мертвого рассказывать. Вот так, Лукьяша... Девочка, капелька... На ладони уместится. А мозги мне тогда вправила.

— А с флагом как же? — заинтересовался Лукьян Григорьевич.

Дядя Саша не ответил. Он только оглянулся в аллею, где огромные мокрые шумели деревья, живым зеленым кольцом окаймлявшие крепость.

— А что с флагом?.. Снимали его изредка. Прятали, как могли. И при первой же возможности — вывешивали. И когда товарищ Коршунов с отрядом появился — на флаг внимание обратил. Руку сердечно пожал. Что с флагом?.. Он и сейчас поди на той веранде.

— Видите, как хорошо! Вовремя девчонка постучалась. И вы живой живете. Разве ж плохо? Не надо вас жалеть. Незачем! Пусть Никанор жалеет. Его это специальность. И про «умру» — зря говорите... Девочки, которые утешают, они ведь не ко всякому разу приходят. Это вам знак был. Смотрите, Александрыч!

— Убаюкивай... Сам-то небось «головой» не был. Побегу делал. Героические. Меня жалеешь вслух, а про себя втихомолку-то носом небось вертишь... Я побегов не делал. Ног не терял. Откуда мне бегать было? Никто вроде меня не держал, проволокой не огораживал. А вот — не убежал я... И до сих пор не уйти. От речей схидных и взглядов каменных. Даже товарищ Коршунов и тот засомневался. Даже он... Клеймо на мне, Григорьевич, клейменный я, понимаешь? Тавро... Дьявольское.

— Загоняете себя... Как зайца. Травите. И кто тут пожалует, если сам не смилуешься?

Когда наконец шагнули в калитку за ворота, толстой дверью едва не пришибли человека с тросточкой. Неизвестный то ли подслушивал их, таясь в сумерках, то ли в безлюдье вечером случайно пересеклись его маршруты земные с путями гнилицких странников. Человек занес тросточку над головой, левой ладонью прикрыв себе глаза. Беспорядочно залаяли собаки.

Дядя Саша отпрянул. Лукьян — наоборот — со скрипом шагнул навстречу палке, протянув вперед руку.

— Чего машешь, отец?.. Мы это... — поспешил заявить Григорьевич.

«А вдруг — Кубышкин? Попробуй такому объясни — что к чему».

— Прошу вас, не надо, дорогие товарищи!.. Умоляю.. . Нету при мне ни денег, ни часов нету. Ничего не имею.. . Стоящего.

«Старик Моисей! С тросточкой.. . Чего это он в крепости по ночам?»

— Здравствуйте, товарищ фотограф! — дядя Саша улыбнулся голосом. — Извините нас за беспокойство. Только мы здесь ночуем. У знакомого нам священника. Не готовы ли снимочки мои? Три на четыре?

— Пропустите меня! Я больной и старый человек!

— А кто вас держит? — обиделся Лукьян. — Идите мимо.

— Снимочки мои, товарищ фотограф, поберегите.. . Я за ними потом приду. По первому снегу.

Старик Моисей весь подобрался, как перед прыжком, скрючился и, ни слова не говоря, исчез в отверстии калитки, как из самолета выбросился. На полном ходу.

В доме отец Никанор убирал с кухонного стола кружки. Товарищ Кубышкин, растопырив конечности, ходил по кухне в обнимку с самоваром. Будто с дамой танцевал.

Пришельцам отец Никанор неподдельно обрадовался.

— Товарищ Кубышкин, доливай самовар! Блудные дети возвратились.

— Пойду сена лошадке задам.. . — затоптался у входа в кухню Лукьян Светлицын.

— Задавал я, не суетись, Григорьич. К тому же — спит твой Боец. Еле растолкал, стоячего.. . Пожевал и опять за свое: аж носом свистит.

— А мы с фотографом чуть не подрались во дворе. У которого я на паспорт снимался. В воротах столкнулись.. . Так он на нас с палкой так и пошел, так и пошел.. . Решил, что мы его грабить здесь, возле церкви, будем.. .

— Дурак он или выпивши.. . — Лукьян Григорьевич, садясь на лавку, далеко вперед выставил свою деревяшку.

Кубышкин, который у печки разжигал лучину для самовара, внимательно осмотрел протез.

— А дрова тоже деревянные!

— Истинно так, товарищ Кубышкин, деревянные. А старик Моисей, он же — фотограф, ходит ко мне спо-

рить. Доказывает, что бога нет. Говорит, ежели бы он имелся, войны бы не было. Есть, говорит, не бог, а закон природы, по которому все мы — икра лягушечья, не больше. А я ему и говорю: «Ты, говорю, что же не квакаешь? Квакай, говорю, и успокойся. Ты, говорю, думаешь, я, что ли, бога видел? Не меньше тебя знаю, что его мало... А вот же — не квакаю. А есть которые и квакают, и хрюкают, и вообще червем ползают. Хоть и люди. Все, говорю, от данного человека зависит. От его воспитания. И миропонимания. То есть — от царя в голове. Я академиев не кончал. Простой мужик. Однако нюх у меня есть. На дух».

И тут Валуеву припомнилось, что гнилицкие бабы до сих пор отца Никанора не забывают; о его «лекциях» церковных ходят легенды. Рассказывают, будто в оккупации поп этот странный, справляя по воскресеньям в облезлой, без креста церквушке богослужение, после очередной молитвы или прямо с середины монотонной проповеди вдруг начинал говорить примерно так: «И да воспротивимся, братие, врагу нашему, супостату окаянному, псу тевтонскому, пришедшему к нам с огнем и мечом, чтобы от него же и погибнуть, возмутимся телом и духом вашим и нашим, воздавая силе дьявольской по заслугам, и да не будет ему покоя на русской земле ни денно, ни ночью — во имя отца, и сына, и святого духа — аминь!» А далее — опять по писанному — и так до очередной самодельной вставки на тему «смерть немецким оккупантам». По молчаливому уговору гнилицкие, а также окрестные прихожане слушали Никаноровы проповеди с бесстрастным выражением лица, нестройно подпевали ему, а после, в быту, сочувственно подкармливали его, а также обтирывали.

— Я мужик немудреный. В миру Василием Кузьмичом прозывался. Метр пятьдесят два сантиметра во мне росту. Можно сказать, из-за такой невышины и в попы определился. В церкви-то я на амвон поднимусь да как гаркну: «Господи, владыко небесный!» — и вроде на метр выше делаешься.

— Бога нет! — закричал товарищ Кубышкин. — И не будет.

— Правильно, товарищ Кубышкин. Грамотный вы человек. Если нету, значит, и не будет. Ложились бы спать-почивать.

Кубышкин послушно снял с себя женский передник, повесил на гвоздик возле рукомойника. Ушел за печку.

— Можно и я на печь полезу? — поинтересовался Лукьян Григорьевич.

— А чаю?

— Лучше поспать. Переволновался я за день, мозги слипаются.

— Хочешь, налью тебе лафитничек? Миротворной настоечки? На угомон-траве?

— Это как же? — встрепенулся Валуев. — Выпивают у вас, стало быть? В церковном доме?.. А я слышал, что — запрещено. Законом.

— Каким законом? По которому все мы квакать должны? Успокойся, Александра Александрыч. Я этой настоечкой товарища Кубышкина пользую.

— Вкусно! — донеслось из-за печки. — Очень.

— И помогает... больному?

— Способствует. Временно. Плеснуть?

— Нет, зачем же? — застеснялся дядя Саша. — Мы — здоровые.

— А тебе, Лукьян?

— Вот если... в руку. Культю натру. На ночь. Сейчас дерево отстегну. Бревно свое, чурочку...

— У всех свое бревно, крест свой. Только мое бревно — не отстегнешь так вот запросто...

— Ты это об чем, Александрыч? Ишь, загрустил опять...

— У меня бревно хорошее, — кричал Светлицын. — Носит оно меня. По белу свету... — Лукьян Григорьевич бросил под лавку протез, размотал сплюсненную штанину. Высвободил красную культю. Дядя Саша отвернулся. Отец Никанор вынес бутылочку из своей комнаты. Покапал на ладони Светлицыну. Приятно запахло медом и еще чем-то растительным.

— Об чем, говоришь, я? — переспросил Никанора Валуев с большим запозданием. — А об том, что вся моя жизнь невезучая, гадкая — вот оно какое бревно-то! Вся судьбина тяжкая, свинцовая! Только я ж ее спихну... Сброшу к дьяволу! Скажи, отец Никанор, а чего это у тебя собак столько? В крепости твоей? Боишься кого? Караулить здесь вроде нечего, одни камни торчат. Чего тебе-то боязно? При боге своем?

— Собачки здесь, Александра Александрович, бродячие, все бездомные. Сиротки собачки. Это не у меня собачки. У крепости они. Стены им любви. Я ведь их и не кормлю почти. Нечем. Мисочку, конечно, наливаю, когда сами кушаем. А кому из них достается — не ведаю. Так что не я здесь боюсь, а скорей — собачкам на земле страшно. Вот стены их и заманивают. Стены, крыша — это прежде всего от страха отгородка, а потом уж и — от холода-зноя. . .

— Кривоногого мово не видели? Катыша, собачку?

— Не обратил внимания. Кривоногих тут множество большое. . . А что же, потерялся песик?

— Домой он ушел. Узнал, что в милицию меня привлекли. . . И потрусил по шоссе. Восвояси. . . Я так думаю.

Перестав умащивать обрубок ноги, Лукьян Григорьевич резво подпрыгнул, встав на уцелевшую конечность, и совсем по-детски, скоком, как бы играючи, задвигался от стола к печке, за которой и скрылся.

— Легкий какой человек! — с удовольствием посмотрел ему вслед отец Никанор. — Не то что некоторые. . . Мрачные люди.

— Я, что ли? Мрачный?

— Самое страшное на земле — это мрачные люди. От них все беды. А избавиться от таких людей нет никакой возможности. Прокаженных, к примеру, опутал проволокой — и проживай спокойно. А тяжелых, мрачных людей чем опутаешь? Ни указом, ни молитвой.

— Думаете, я себе нравлюсь? Серым таким нытиком? Зачем я такой? Не хочу, не желаю. . . А справиться — мочи нет. . . Привык уже к себе. . .

Укладывались на боковую, когда в раму снаружи окна кто-то постучал. Никанор пошел отбрасывать крючок на двери. Вернулся, держа в руках розовый конвертик, склеенный вручную из каких-то деловых бумаг, скорее всего — из накладных.

— Вот. . . Моисей тебе снимки принес. Звал его в дом, наотрез отказался. «Я, говорит, моцион совершаю. . .» А сам мокрый, как собака, и кашляет, вернее — чихает.

— Стоило ноги мять из-за этого. . . На что мне они теперь, карточки его?

— На память, на што! Одно к одному. . . Человек ему с доставкой, можно сказать. . .

— Не буду я документы получать. Все! Отпадает эта работа. . .

— Получишь. Можно сказать — не велика птица. Забыли тебя, и доволен будь. Другой бы радовался. . .

— Чему? Что забыли?

— Что не мешают жизнью пользоваться. Все его, можно сказать, ублажают, обхаживают, а он знай — кукуется да морщится. Вон, Моисей. . . Да это скажи кому — не поверят: сфотографировал и снимки в непогоду на дом доставил!

— Буржуй. Частник липовый!

— А Лукьян — липовый?! Нянькается с тобой. . .

— А Лукьян и не шастает по ночам. . . Цену себе не набивает. Он бы те снимки днем принес, Лукьян-то!

— Ой, и фрукт ты, Алексаньч, ей-богу, фрукт! Финик, понимаешь ли. . . А на Лукьяна не обижайся, даже если он тебе разонравится. . . Грех на него обижаться.

— Знаю. Он вам дрова привозил.

— Золотые дровишки! Они у меня и по сей день не вывелись. Исключительная растопочка из них. Все на лучину пустил. Сахарное дерево. А береста — хоть нос подтирай — батист!

— И физкультурники хорошие. . . — проворчал с печки так и не уснувший Кубышкин.

— Это он рукоделие наше вспомнил. Мы с товарищем Кубышкиным подрабатываем малость. Как в миру бают — халтурим. Две лучинки да перекладинка. А про-меж лучинок на веревочке — физкультурник. Сожмешь лучинки — физкультурник на руки встает. . .

— Так это вы? На рынке инвалиды такое продают.

— И мы. . . — кивнул Никанор. — У нас тоже внутри желудки есть. Еще стаканчик, Александрович?

— Хватит, начался.

— Не одобряешь моих физкультурников? Так ведь — борьба. . . За это самое. . . За существование жизни. . .

— Пристыдил ты меня крепко. Так-то и обидеться недолго. . . Изругал взял. . . А сам тоже хорош: священник, батюшка, а в бога-то не веришь.

— Бесплезно о боге разговаривать. В наши дни. Петь можно. С клироса. А рассуждать — пустое дело. Про атомную бомбу слыхал? На японских людей сбросили? Без всякого бога-дьявола обошлись. Раз! — и города нету. . . И людей в городе — тоже. . . А ты про бога. Ино-

му, чтобы его услышать, — сердца достаточно. А иному целое радио подавай, и все равно не уловит.

— И выходит, что никакого от вас утешения. . . Потому и церковка захирела, облезла вся, как коза шелудивая.

— Средства на ремонт нету. А потом — бесполезно тебя утешать: ты, Александрович, из тех, которые не утешаются. Ежели б ты утешался, да я б — костыми лег, утешил. . . Сколько в тебя ни лей жалости, а ты все по-рожной. Как бочка бездонная.

— Нет! Врете все. . . У меня особо, нежли у других. У всех беда, я знаю. Да не всех так бросает. От одной стенки к другой. . . И свои, и чужие! То под дуло, то за проволоку. . . А я тихий был, безвредный. Без фокусов. . . Простой мужчина.

— Тихий, безвредный, говоришь? . . . Вот и согласился на предложение.

— Это еще на какое?

— Да на вражеское. А был бы непростым, нетихим был бы — глядишь, и возмутился бы, и не пошел на согласие. А то: без фокусов он! Без совести ты, дядя. . .

— Как понимать?

— А птичка такая в Сибири водится. . . Душой-совестью именуется!

— Попрекаете? Смерти моей желаете? Даже товарищ Коршунов мягче обошелся. . . Не гляди, что партийный. . .

— Перед своей землей — все партийные! Враги приходят и уходят. А родина-земля в сердце остается. Ее никому вытоптать не дано. Пока жив человек. . .

— Значит, ничем не поможете? Злой вы поп оказались! Исцелитель липовый. . . А если я скажу, что. . . того: порешу себя?

— Скажу: нехорошо это. Несерьезно. А там как знаешь. . . Потому как — одна видимость, что сам, по своей воле. На самом-то деле: по сигналу хозяина.

— Значит, есть бог?!

— Обязательно. Только это совсем другое. . . Не нисусы разные, не марины да николаы, а — Сила! Сила всеобщая. Которая всем хозяйством в природе заправляет. Не на земле, а всюду. . . И таких земель у нее, как блох на Руси. . .

— Как же он за всеми-то блошками уследит?

— Уследит. Не твоя забота.

— И я — блоха?

— Ложись отдыхать, Александрович. Ты — человек.

Сегодня отец Никанор сам лег на лавку, а дядю Сашу принудил, приказом приказал, лечь на коечку.

Сон долго не шел. Валуев лежал, продолжая пытаться себя сомнениями и укоризной. «Прав Никанор, нельзя было соглашаться. . . Первого шага нельзя было делать. Не могу и — все! Увольте. Больной, глупой! Делайте, что хотите, — не могу. По роже — пусть, в пах — тоже пусть. По полу катают, топчут — пусть! Не могу, не буду. Расстрелять бы не расстреляли. Ну, в лагерь могли пихнуть. Так все равно отведал же после и лагеря, и расстрелять по навету хотели. Когда за работника энкаведе в гестапо проходил. . . Зато, кабы не согласился тогда, и от попа выговоров не имел бы. . . Эко, сразу упал. . . Ниже всех. Согласился — и живи, как тля! Жди, пока раздавят. И хоть бы обидел кого. Скромно так жил, вежливо. . .»

Утром пили чай. Кубышкин достал из печи чумазый чугунок с кашей. Откупорил, сняв крышку. Взвился пар в нахолодавшей кухне. Поели. Молча. На разговор никого не тянуло, будто все были после большого похмелья.

Лукьян еще до чая и каши снарядил Бойца в упряжь. Льняная бородка Светлицына бодро взметывалась по двору, а затем и в кухне Никанорова жилища. Светлицын помалкивал, но движения его были красноречивы: он с видимой охотой собирался домой. Громоздкая нога его весело отбивала определенный ритм, ритм жизни.

Сели в телегу. Отец Никанор вышел из домика — провожать. За руку он держал товарища Кубышкина, которому был чуть повыше пояса, и от этого казалось, что товарищ Кубышкин держит за руку мальчика, приклеившего себе темную бороду.

Сыро было только на земле. После вчерашнего дождя. Небо прояснилось, холодной синью заливало пространство над головой. Голые ветви крепостных тополей и лип почти не заслоняли этой великолепной сини. Над колокольней, где ветром с купола был сорван один лист железа, над черной дыркой в куполе, кружились крикливые вороны.

Неожиданно товарищ Кубышкин воскликнул:

— Лошадка! — радостно так, будто забытое слово вспомнил.

Лукьян Григорьевич улыбнулся и тронул Бойца.

Из города выезжали при солнце. Там, над все еще ржаватым недалним лесом, оно возникло — отчетливо. Собственно, так вот начиналось почти каждое утро этой недели: вначале, незамутненное, полное деловой энергии, выкатится светило, а ближе к полудню дорогу ему захламят серые, быстротекущие облака. Затем довольно поспешно серое подернется свинцовым блеском, а следом, во глубине облаков, глядишь, набрякла уже синева тяжелая, каменная. И вот тебе — тучи. С дождем, который там, в своих верхах, наверняка был уже снегом, растаявшим при падении.

Однако теперь, когда телега скатывалась с крепостного холма, взору седоков открывалась изумительная картина. И дядя Саша, как дитя, чтобы не вывалиться из двуколки, прижался к спине Лукьяна, неотрывно, жадно разглядывая небо и землю. Видение воцарившегося утра ударило по глазам, и далее он ехал как бы ослепший, пораженный громом света, проясненностью далей. Он ехал и думал для себя необычно торжественно.

«Свету сколько. . . Простору. . . А я почернел, выгорел изнутри. На земле так красиво. . . А я такой серый, мрачный. Прав Никанор: тяжкий я человек. А еще странно, что ничего от мыслей таких в природе не меняется: и сам прежний, и голос, и походка, не говоря о других людях, о солнце, о земле. Все на месте, держится, не дрогнет. . .»

Отъехав от городка с полкилометра, не сговариваясь, оглянулись. Крепость на холме, не заслоненная опавшими листьями, лепилась на круче — беленькая, серый плитняк-известняк на солнце пообсох и поярчал. Остатки желтого на деревьях подзолачивали видение. . . Внизу, вокруг холма и дальше, за речкой, серым кострищем лежал городок, над ним, как стрелки травы, пробивались к небу дымочки, обозначая жизнь. Вот на шоссе встречная показалась машина, настоящий автомобиль грузовой. Она гулко трещала дизелем и была по всем данным — трофейной техникой. Но это была — машина. Дитя двадцатого века. И она, сия пахучая и трясучая тварь, придавала утру какую-то обнадеживающую солидность. Запахло отработанный горючкой. Синим облаком над обочиной потянулись выхлопные газы. И все это очень понравилось гнилицким ездокам.

— Григорыч, купил чего в городе? Котомка у тебя потолстела. . .

— Купил. . . Тряпочек два сорта: на детей да на бабу. Калошей на все ноги. Валенцы на двойню. Да вот «подушечек» кило. На ораву. . . Чай сладкие распивать.

— И вся телушка?

— И за это спасибо!

Лукьян Григорьевич покрутил вожжами над головой, как пропеллером. Поправил на плече, под фуфайкой, лямку, что удерживала на обрубке ноги протез.

— А себе чего купил? Тоже небось калоши?

— Да нет. . . У меня пока все справное. Солдатское. Я хоть и без ноги приехал, однако — с мешёчком!

— С каким таким мешёчком?

— А с заплечным.

Сейчас обоим хотелось поговорить, подвигать челюстями. Город, в котором они чувствовали себя скованно, настороженно, теперь остался позади. . . Лукьян Григорьевич как бы подтаивал постепенно, заметно воодушевляясь по мере приближения к дому.

— Вещевой наш мешёчек — очень мудрой конструкции шутовина. Во-первых, не вдруг его потеряешь. Он у тебя как горб на спине, ежели в странствиях. А далее — он тебе и мебель: заместо кресла, и постельное: подушка — милое дело; и кладовая, и гардеробная, а также — буфет с закуской и выпивкой — все тот же мешёчек. А главное — уверенности придает. Лучше всяких погон.

— А что хоть привез-то в своем гардеробе? Из заграницы? Небось полосатый мундир — лагерный?

— Не. Иголок я привез. Патефонных. Пять кило. На них и отъелся. Иголочка патефонная после войны самым ходовым товаром сделалась. . . Песен людям захотелось, музыки. Лихо я тогда сообразил. . . Еще в войну за границу, когда последний раз утекал из плена, вышел я на разбитый магазинчик. Разная чепуха несъедобная. И вдруг — игопочки! Ну, я их сразу и запаковал в мешёчек. И всюду таскал за собой. Даже в госпитале, когда гангрена вышла, в личной тумбочке держал те иголки. Как гостинец.

— А чего ты столько детей настряпал? Пятеро человек! За три неполных года. . .

— Да я, вопчем-то, молодой. Сорок мне в мае было. Еще в сельпо окно я тогда разбил. . . Костылем. Да и

Верка моя — баба не дура: дождалась, не ослабела. Со старшеньким. Семь годочков мальцу. В школу надо бы справлять, да говорит: не хóчу! Без сапогов, ишь ты, без кожаных — «не хóчу!». А вот и ничего! На других-то за зиму насмотрится, настрадается. . . На другой-то год босиком побежит! С зависти. . .

— Хорошо. Это старший. А еще четверо? Откуда они за три-то года всего?

— Ну, значит, средненький, Вася мой. . . Он, как бы тебе сказать, Веркиной сестры младшей, Кати, — сирота будет. Катеньку немцы за связь с партизанами повесили. Вот Вера Васеньку и схватила. Прямо в пеленках. Отца, конечно, нету. Кто ее, Катеньку, знает, с кем она там связь держала, в лесах темных? А мальчонка хороший! Весь в мою Верку. Так что и не отличишь от остальных. Далее — близнята сполучились. Анютка с Капкой. А теперь Ваня ногами пошел. Год ему с месяцем.

— Да-а. . . Арсенал у тебя, Григорьич. . . И правильно делаешь! Чем их больше, тем и проще. Столько жизней вокруг! Целых пять душ!

— Соснуть посередине дня — не дадут, это уж факт! Шары — будь уверен. Такой шум организуют. . .

— Зато какой шум, Григорьич! Живой, теплый шум. Вон у меня с Фросей один мальчик намечался — и того след простыл. . .

Ехали медленно. Рысью Боец уже не ходил. Двухколесная телега-«беда» с тяжеленными оглоблями-деревьями цепко держала мерина в своих жестких объятиях. Так что и захочешь упасть, да своя же шея и не пустит.

Проехали еще один лес, не очень большой. Начались поля, серыми пятнами разбросанные по земле избы колхозников. Над ними нависали длинные текучие волосы старых берез да вздыбленным бревном маячил журавль-колодец, а то и поржавевший, давно бездействующий ветряк неизвестного назначения.

Веселили взгляд зеленой щеточкой взошедшие озимые — признаки юности, восхождения. . .

А за полями этими, за темными, задумчивыми избушками, опять начинался лес, но уже — обширный, густой, взявший жилые островки полей в кольцо и как бы защищавший их грудью.

На дороге показался слепой инвалид. То ли дед, то ли просто небритый мужчина. В одной руке — палка, в дру-

гой — ручонка очень бледного мальчика, одетого в огромный стеганый ватник. Штанов у мальчика скорее всего не было. Из-под ватника сразу начинались голые синегрязные ножки.

Слепец еще издали уловил приближение повозки, высвободил левую руку, оттолкнув при этом поводыря, и протянул ее, лишённую двух пальцев, поперек дороги — на манер шлагбаума. Он ничего не просил. Лицо его было запорошено синими крапинками, размером чуть больше средних веснушек. Глазницы прикрыты безволосыми веками — не до конца. В щели глаз что-то сочилось, по-сверкивая.

— Чего ему дать? — зашептал возбужденно дядя Саша. — Сама недалеко ушли. . . Вот у меня рублевка осталась. . . Ото всего. Положить, что ли?

— Нужна ему твоя рублевка! Он же без обуви. . . Мать честная! — всплеснул по-бабьи руками Светлицын. На что Боец ответил моментальной останковкой. Он мог и распрячься весь до ремешка. Но сегодня обошлось.

— Ты что же, не видишь, мальчонка-то у тебя посинел вовсе?! Заболает дите — кто тебя поведет тогда?!

— Не шуми, дядя! Угадал ты: не вижу. Не только мальчонки — свету белого. А ты, ежели сострадательный такой, взял да и помог бы! Закаленный у меня Петя, а и то — скоро морозы надует, как тогда?

Теперь и дядя Саша обратил внимание на меньшего. Да, конечно. . . Босой мальчишка, ужас и только! И все же таки слепец в глазах Валуева был много несчастнее мальчика. . . И дядя Саша поспешно вложил свою рублевку в изуродованную ладонь калеки. Ладонь тут же сжалась в неполный кулак, сминая рублик.

И Лукьян свою рублевку положил. А потом почему-то долго рылся в мешке, кряхтел и наконец спрыгнул на обочину. В руке его что-то болталось. Тряпочка какая-то.

— Эй! Друг, слышь, постой! Погодь, говорю! — замахал, засемафорил Светлицын тряпкой и вдруг побежал вдогон тем, двоим. . . Но вскоре споткнулся, упал. Выругался беззлбно, даже со смешком. Тем временем мальчик попридержал слепца, что-то объясняя писклявым, птичьим голоском. Странники остановились.

Торопливо, как только мог, Лукьян Григорьевич добежал до них. Кое-как опустился перед мальчишкой на колени, стал поднимать заледеневшую ножку. Разодрал

матерно на два лоскута, перебинтовал ребенку ступни, засунул ножки в калошки. Для надежности прихватил обувь веревкой — прямо под подошву, к ноге и — на узелок. Опираясь все на того же мальчика, разогнулся с колен, довольный — захихикал, потирая прозрачную свою бородку.

— Хоть до Киева! Смотри, не проколи где, а то — потекут. . . Ну, веди дядю, веди, сыночек. . .

Напоследок приподнял со лба мальчонки тяжелый козырек недетской кепки, заглянул туда, в глазенки. . .

— Спасибо, дяденька. . .

— Не за что! У самого таких скворцов! Эхе-хе. . . Счастливого пути, стало быть!

— Сколько их?! — спросил неприятным голосом инвалидов.

— Двое их. И — лошады! — быстро ответил мальчик.

— Оба — мужики?

— Да, дяденьки большие. . .

— Ладно, пошли. . . — застучал по земле палкой незрячий.

На повозке дядя Саша жевал свои тощие губы.

— Пожалел посторонних? А свои. . .

— Близнецы одной парой калош обойдутся. Я им валенцы везу. А калоши — посменно.

— Поблагодарил хоть раненый-то? Доволен, чай?

— Да! Особо — мальчонка доволен. А слепой, конечно, мученик он. . . И нервный, видать. . . Мальчонку жалко. Тяжелый, видать, инвалид человек будет. . .

— Будешь тяжелый! В его бы шкуру тебя! Благодетеля. . .

— Да, не позавидуешь. . .

Лукьян поставил себя задом к телеге, подтянулся на руках, сел, свесив полторы ноги за оглоблю. Боец без понуканий взялся в оглоблях на ход. Поехали дальше.

— Что ж, выходит, что и спасибо не сказал? — допытывался дядя Саша.

— До того ли ему. . . Спросил у мальчонки, сколько их, то есть — нас. А мальчик: двое, говорит, и лошадка. Все как есть. Тогда инвалид, правда, выругался матерно и уточнил. «Мужиков, — спрашивает, — двое?» Даже вроде огорчился, когда узнал, что — «мужиков».

— К чему бы это? — усмехнулся дядя Саша. — Уж не ограбить ли нас хотел? А чего? Да в тряпье у такого Ду-

бровского не только вошь — пушку спрятать можно. Вынет парабеллум, и гони монету!

— Видите, Александрович, как мы с вами о людях-то? По первому взгляду. Разве такое можно? И ведь я, чего греха таить, засомневался. . . А человек просто не видит ни зги, ничегошеньки. . . Ему все интерес представляет: и сколько, и кто? . . И какие мы, которые мимо него проезжают. Как из другой жизни потому что. . . А мы — вот какие, Александрович! Вот как нас беды-то, войны-то уродуют. Плохие мы за войну сделались, грубые. . . Только что шерстью не обросли.

— Больно ты умный, Лукьян, сообразительный. А того, чай, не понимаешь, что война промеж людьми постоянно протекает. И в мирное, и в любое другое время. Потому как — все люди разные. А куда они разные, и дела у каждого — свои. И поступки. Вот оно откуда — раздор и несогласие! И чего-либо доказать — совершенно невозможно. Особенно ежели ты оступился в чем. Сразу от тебя все нос воротят, скребут те маковку!

— Уж и скребут? . .

— А поживи-ка вот ты без прав, поразмышляй о них ночей пятьсот подряд! Да в город поезди. . . пешком! Со змеем-то в сердце, отведай моего едова! Да я бы десять пар калос со своих ног раздарил бы. . . Лишь бы не такое существование. Скрываюсь я, понял?! Который год уже. . .

— От кого же, извиняюсь за любопытство? . .

— Паспорта у меня, дура, нету! Пас-пор-та!

— Во! Я думал: от алиментов али еще от чего такого. . . А паспорта и у меня нету. Что с того?

— Как то есть — нету? Потерял, что ли?

— Нет и не было вовсе. Отродясь. Военная книжечка была. А паспорт иметь не приходилось.

Дядя Саша даже отодвинулся от Лукьяна, затем, что-то сообразив, сморщился презрительно, глядя Светлицыну в глаза. Покачал головой. Даже не головой, а всем туловищем.

— То-оже мне, сравнил хрен с пальцем! Деревня. . . На кой тебе паспорт? В поле мышам предъявлять? А для меня он как. . . помилование. У тебя, Григорьич, характер легкий, ты и так не пропадешь. А мне без него нельзя. Сам видишь, какой я без него. Ненадежный. . .

— Понимаю вас, Александрович. . .

— Ничего не понимаешь. Разные мы. Земля под нами одна, а мы — разные. . . И понять друг друга — нет такой возможности. Можно только вид сделать, что понял.

— Считайте, что я вид делаю. . . Только успокойтесь. Облегчения вам желаю. . .

— Не будет мне легче. . .

— Характер у вас тревожный. Спорченный. Не одно, так другое. Не паспорт — так метрики, не понос — так простуда. . .

— Спорченный. . . Да, конечно. Только не характер, а вся моя биография испорчена. Словно к дьяволу прикоснулся. Ни отмыться, ни откреститься.

— Вам, Александрович, отдохнуть бы. . . В санаторию какую. А так ведь недолго самого себя. . . Человек партизанам помогал. . .

— Партизанам! Это на пятые сутки — партизаны твои пришли, обуздали. . . А согласился я с немцами — один. . . Без свидетелей. . .

— Проступок, конечно, с вашей стороны. . . Хотя в такой гололед да не оскользнуться. . . Иной бы — и вовсе упал.

— Утешаешь. . .

— А что остается? Попрекать мне вас? Ни прав, ни желаний не имею. Я ведь тоже. . . «согласился» кой в чем. Также там, за чертой побывал. Хорошо хоть ногу обрезали. Вроде как — пострадал. . . Так что запросто вас понимаю, Александрович. Вот вы говорите, что все люди — разные в мире. Понятно. Зато когда они страдают — сразу похожими делаются. И понятными друг другу. В плен меня, конечно, силком взяли, не сам пошел. Хотя ранения, которое памерки отшибает, никакого такого не получил тогда. . . Все помню, как сейчас. . .

— Памятúешь, значит, о том?! — усмехнулся дядя Саша, вспомнив старичка Полуэктова.

— По гроб жизни врезалось! Памятúю, ох памятúю! Команда была: окопаться. Как можно глубже. Почему глубже, когда утром село штурмовать, — никто не знал. Осень уже была. . . Как теперь. Холодная. Земля жидкая, кусачая. Измучились, копавши, но зарылись — наглухо. Весь вечер и ночь до половины — шурудили лопатами да бревна катали. . . А затем отбой подан был. Спать разрешили. Люди мертвым сном рухнули. А когда рассвело да проснулись, команды нам уже немцы подавали. Ну, и рас-

терялись все. Построились. Без оружия. И пошли, землю разглядывая. . . За колючку. Это уж после, когда очухались, — в побеге засобирались. . . А по самому началу вроде как согласиться пришлось — с позором. А позору — поболее вашего будет. Проспать все: и свободу, и Советскую родину, и все остальное — одним махом! В бою — куда ни шло, там тебя пулей оглоушит — и ты сам не свой. . . После такого не мудро и в плену очнуться. . . Начал я побег свои делать. Совесть мучает, понимаешь. . . Здоровый боров был. Не скоро иссох. Месяца два старым салом держался, как верблюд. Утеку — поймают, придавят. Соки повыпустят в карцере. А мне вроде и легче. Потому как — вину искупаю, стремлюсь. . . В итоге утек — с концами. А ногу мне перебили уже на нейтральной земле. В Польше дело было. Я передок кинулся переползать, а тут наши в атаку пошли. И обезножил. Атака до шести раз утюжила то место, а я лежал в воронке и небо разглядывал. Пока на меня солдат советский не сел. Задом на спину мою. . . Сидит и руку себе бинтует. Тут я и застонал. Ноги не чувю, одну боль слышу. Солдат подвинулся с меня, спрашивает:

«Ты — кто?»

Одежда у меня лагерная, не поймешь какая. . .

«Из лагеря, — отвечаю, — из пленения. К своим хочу».

«Раненый?»

«Да. Без ноги».

«Вот и я теперь, — говорит, — тоже раненый. Попутчики мы».

И поволок меня здоровой рукой, как трактор. В расположение войск. И все мое горе. Потом гангрена завелась. . . Ногу мне отпилили. И вышел мне отпуск домой! Короче говоря — повезло. Живой, а главное — дома. При бабе и детях. Семейку тяну. Так что и вашу боль-обиду доподлинно, как свою. . . А главное — не озверели мы там.

— Счастливы ты, Лукьян, добрый. . . Сердце у тебя легче, что ли? Или к жизни ты ближе, родней. . . А я все как пасынок!

— Из крестьян мы. . . А вы — город. Там — всяк в себе, по отдельности.

— Да какой там город! Пашут в нем сейчас, в городе нашем. Как в чистом поле. Одна крепость старая держится. . .

В Гнилицы приехали за полдень. Вторым от околицы домом в порядке была большая, из разнокалиберных бревен рубленная изба Светлицыных. Окна на одной стене ниже уровня, нежели на другой. Крыша состропилена плоско. Казалось, кровля осела от времени. Однако лес на венцах еще без гнилых проедов, и, во всяком случае, снаружи дом выглядел прочно. Ближайшие от Светлицыных избы все недавней застройки. Одна из погорелого раската, огнем меченная хатенка, другая из свежего леса. Были и просто землянки, возле которых только еще выкладывали будущие срубы.

Когда остановились у Лукьянова палисада, с крыльца избы, как мелочь из кошелька, сыпанули детишки. Все пятеро — одним заходом, одной волной. Даже Ваня меньшей, свалившись с последней ступеньки и на ходу плача, пошатываясь, устремился за всеми. В момент — и сестры-двойники, и старшенький с двоюродным Васей — все разом повисли на заштатавшемся одноногом отце. И все что-то вместе кричали.

— А мамку в больницу свезли! А мамку! А мамку! А мамка еще Ваню родила!

— Не все разом, разбойники! Слышь, Пётра, — не повышая голоса, обратился отец к старшенькому, — говори ты один. Когда маму свезли?

— Еще давно! — зачастил, заспешил семилеток. — Как ты уехал, так мама и закричала! Председатель дядя Яша Милку запряг сразу. В линейку. И в Лютые Болота! В больничку поехали! А сегодня тетка оттуда. . .

— Пелагея! У кого кошка с одним глазом! — успел вставить свое слово Вася-партизан.

— Не все разом. . . — шептал радостно испуганный Лукьян Григорьевич. — Далее что было?

— А сегодня тетка эта Пелагея. . . оттуда, из больнички, пришла. Чирей у нее срезали. Так рассказывает — мамка ваша еще одного Ваню принесла! Еще, говорит, один Ваня у вас будет!

— Поздравляю! . . . — невесело улыбнулся Валув. — С прибавлением тебя.

— Спасибо! Вот чудо-то. . . Два дня в отсутствии, а делов. . .

— Или не ожидал?

— Ожидал, как не ожидать. . . Только не теперь, не в октябре. . . Под Новый год хвалилась Верка. . .

— Значит, не доносила. Бывает и такое. Витаминов не хватало, или еще чего. . .

— Доносим! Соопча. . . Вон, сколько тут носителей! Доносим?! — радостно закричал Светлицын, подхватив с земли чумазого, в ручьях слез, Ваню.

— Доносим! — запели старшие, а Ваня сразу же и плакать перестал. И заулыбался. Лукьян одним плавным движением снял с мордашки его слезы и сопельки, потуже затянул концы платочка на Ваниной голове и, обратясь к Валуеву, замахал, приглашал того в избу.

— Событие, Александрович! Заходите, будьте добры! Сбрызнуть надо младенца. . . Хоть и семимесячный, а человек!

— Уволь, дорогой. . . Рад за тебя. Только, сам пойми, какой с меня поздравитель? . . Я вот Фросю пришлю. С детьми побыть. А от меня, от кислого — какой праздник?

— Ну, бывайте тогда, Александрович. А то бы и зашли. . . Нельзя вам долго одному. Я вас — о! — как понял. . . У меня шумно, зато не скучно.

— Ладно. Спасибо тебе.

— Господи! Мальчишка родился. . . Радость-то какая!

Расстались.

13

А в Гнилицах тетка Фрося баньку изнутри побелила. За время отсутствия супруга. Она хоть и верующей была и без церковных праздничных служб тосковала, но так повелось: под Майские да под Ноябрьские всегда что-нибудь по дому затеет. Или мытье-скребатье всеобщее, или вот побелку, или еще что, — смотря по тому, где они проживали на данный момент, в каких апартаментах.

Сейчас, к возвращению мужа из города, тетка Фрося домывала полы. И вдруг поняла, почуяла: пришел! Она всегда очень долго, целых полчаса, радовалась его возвращению, не отпускала улыбки с лица. Суетилась, завихрялась по дому и вокруг него. Чего-нибудь некаждодневного совала за едой дяде Саше. Невзначай по голове задевала, поглаживала, как в молодости. А потом и весь день давала понять, что помнит о миновавшей разлуке и рада, что теперь они опять вместе.

Она и сейчас восторженно захромала на скрип калитки, но встреча их тут же и омрачилась — сперва одним, а затем и несколькими обстоятельствами.

— Собачка дома? — еще с тропы поспешил узнать Валуев. — Катыш, говорю, не прибежал?

— Здравствуй, Сашенька! А разве он не с тобой, Катышок-то?

— Значит, нету его... Ах ты ж, господи! Потерялась собачка.

— И как же вы с ним расстались?

— А вот так! Была — и нету теперь... Накрылась собачка!

— Можя, прибежит, возвратится еще? Мало ли — отвернул куда... по надобности.

— Болтаешь... «Отвернул!»! Голову ему отвернули. Вон по дорогам какие артисты ходят. Сварят и съедят. За милу душу.

— Уж так и съедят... Скажешь чего. Здесь и не слыхивали такого.

— А про такое и не кричат на каждом углу! Костерок разведут тихонечко, косточки зароят и — дальше! Благо-словясь...

— Стало быть, не дали?

— Кого не дали?

— Паспорта... Прости, Сашенька, не о том я! А ты не переживай лишки. Собачка вернется или другую заведем. Вон их сколько в дом просятся. Только пусти... Разных видов.

— А такого — вовек не будет!

— Другой будет. Может, и лучший.

— Кто — «лучший»? Ляпаешь не думавши! Лучше Катыша! Да он со мной только по-русски не разговаривал, а понимал — все! Профессор — не животное!.. Пойду в город — искать, спрашивать...

— А паспорт?

— Дали паспорт! Не скрипи... — почему-то решил соврать дядя Саша. Никогда тетке Фросе не врал, а тут сморозил. «Все равно — плохо. Так пусть будет чуть лучше. Хоть ненадолго». Так в себе и постановил.

— Вот он, проклятый... — полез дядя Саша за пазуху. Для убедительности.

— Неужто?

— А и смотреть не на что! Опять временный сунули... Ну, да и живем — тоже временно. По Сеньке и шапка!

— Дали, выходит? Радость... Пресвятая дева! Ах, глупенький, разве можно так сомневаться было? Терзать себя так... Штраф-то хоть приняли?

— Приняли, не волнуйся, — продолжал сочинять Валуев. Но уже — не бесследно, а с покраснением ушей и даже носа.

— Думать надо, столько времени просрочил! Это б и любого штрафанули. Ну, да все теперь. На полгода сроком?

— На год, — уже смело довирал супруг.

— Глядишь, годик без приключений поживем. И уж ты, Сашенька, после-то не тяни, как сроки выйдут. Сразу неси на обмен.

— Ладно. Забудь! Во! Вот он где! Поняла? Я бы его, паспорт этот, на огне зажарил бы...

— Забыла! Забыла! Все, родной... Садись, кормить буду.

— А рыбку? — подошел дядя Саша к своему аквариуму. — Рыбку кормила?

— А как же! Вот и яйцом... Как просил, так и следила.

— А где же рыбка-то?

Дядя Саша нетерпеливо побарабанил пальцами по стеклу. Жадно, внимательно исследовал посудину снаружи. Потом полез рукой в воду, раздвигая тину и водоросли...

— Умерла рыбка...

Выдохнул. Постоял так, опустив мокрые, в зелени руки. Посмотрел на белые потолочные бревна баньки. В глазах возникли слезы. Тетка Фрося пыталась что-то объяснить.

— Не она первая, не она последняя... Вон, и окуньки помирали, а эта, как блоха... В чем и душа держалась. Непременно другую заведем.

— А я ей корму хотел купить... У спекулянтов.

— Заведем.

— Кого ты заведешь, пустомеля?! Другую, незнакомую? А я с этой рыбкой разговаривал. Как вот с тобой. Да она меня в лицо узнавала! Понимаешь аль нет? «Заведем»... У вас, у баб, и все так: что ни пропади — ско-

рей новое заводить... Собачка исчезла — «заведем»! Рыбка умерла — «заведем»! Мужик дуба даст — опять та же песня...

Тетка Фрося не стала перечить. И продолжать разговор не стала. Она запалила лучину, кинула ее в трубу самовара. Извлекла завернутых в тряпочку двух блестящих свежеподвяленных лещей, от которых сразу пошел дразнящий вкусный запах соленой речной рыбы. Прямо из топки плиты, с горячей еще золы, сняла чугунок с очищенной картошкой, которая, за неимением мяса, тушилась с головкой лука и сухими веточками укропа. Даже бутылка льняного масла имелась у тетки Фроси.

— А я вот... — почесал дядя Саша нос, — ничего я тебе не привез. Гостинцев — никаких...

— А сам — не гостинец?! Такое дело прикончил...

Дядя Саша встрепенулся. Сделал шаг к вешалке. Нашарил в потайном кармане малюсенький сверточек. Размером с брусочек туалетного мыла, увернутого в газету.

— Борщом меня в городе угостили. Товарищ Коршунов, партизанский командир. Так я хлебец-то Катышу завернул... Настоящий, ржаной. Без ничего... Вот понюхай... Столовский, за большие денежки.

Тетка Фрося трепетно приблизила кусочек хлеба к лицу. Нервно понюхала, глубоко и резко вдохнув запахи коричневого, душистого вещества. Первый настоящий хлеб после войны...

— Тесто малость... переброжено. С кислинкой будет хлебец... А ржица настоящая. И выпечка ровная. До нуля...

— Вот и съешь его... — поощрял тетку Фросю. — А я леща очищу. Небось председатель, Яков Егорыч, угостил?

— Председатель. И не меня угостил, а передай, говорит, своему невеселому. С праздником, значит, тебя...

— У Лукьяна Светлицына баба шестого ребенка родила. Слыхала?

— И слыхала, и дома у них домовничала. И не шестого, а пятого. Вася Катин — племянником ей...

— Знаю! Все равно — шестого... А я тебя отсылать туда собирался.

— Да сбегаю! Коровку им Феня доит, соседка слева. А я детишкам шей отварила. К вечеру картошки спроворим, с Петюшей старшеньким.

— Лукьян теперь дома. Сами сготовят. Фрось, а ты как?

— Это о чем?

— Ну, здоровьишко и вообще... Седая вон вся. Ревматизм — как?

— А ревматизм как? Он ласку любит. Потру-поглажу, и спрячет зубы. А так — известное дело — корежит.

И вспомнил Валуев, как лет тому тридцать с небольшим пришлось ему первый и последний раз в жизни публичную драку затеять. Из-за женщины.

Пожились они тогда и в городе, в валуевском доме на Крепостной, жить стали. И захотелось красивой Фросе на танцы в городской сад заявиться. Там у себя, в Заболотье, на круг, под старую липу любила она вырваться из ночной темноты и с зазывной припевкой под смех и плач гармошки — серебром рассыпаться, уплыть в пляске неведомо куда, оставаясь в итоге все на том же кругу под дремучей липой. Черноокая, с лицом правильным, чертами мягкими, с глазами сладкого, шоколадного цвета, долгими годами неприступная — кружила она перед нетерпеливыми парнями и вдруг... засиделась в девках, не полюбив, ни на ком не остановив взгляда. Внезапно походку ее малым штришком, исподволь начала искажать хромота. И, когда в городе присватался к ней худощавый и долговязый парень, носатый лицом и выглядевший много старше своих лет, Ефросинья поспешила оценить его внимание, а затем и просто, по-бабьи, полюбить.

Так что — пошли они однажды на эти проклятушие танцы. В городе тогда, перед самой революцией, чуть ли не круглые сутки играл в саду оркестр духовой. А надо сказать, что тетка Фрося, то есть тогдашняя Ефросинья, умела себя одевать. У нее было чутье к этому действу. По журналам за модой она, понятно, не следила. Зато, глядя на городских краль, оставляла для себя из их облика самое ей необходимое, характерное. Какой-то штришок, линию или лоскуток цвета, который враз делал ее симпатичной и незатрапезной.

Пришли они в городской сад вечером. По темноте уже. Она — в длинной юбке, гофрированной, в шнурованных ботинках высоких. Кофта свежая, светлая, с очень какими-то нужными к образу большими пуговицами. А на шее — бант. А возле виска — завиток волос на испанский манер, колечком.

А дядя Саша и танцевать не умел. И тогда, и потом, в продолжение всей жизни, так и не освоил данной премудрости. И вот стоят они не то чтобы в сторонке, но и не на виду у всех. Однако Ефросинью кавалеры вмиг учуяли. Носами в ее сторону так и повели! А вскоре и приглашать потянулись. Первым ее молоденький прапорщик вызвал. Отказалась. «Занята я», — проворковала. Начали другие удочку закидывать. Штатские попрыгунчики. И тут один, Валуева знакомый телеграфист, порх! — голубем к ногам Ефросиньи. С дядей Сашей поздоровался.

«Одолжи, — говорит, — супругу своему лучшему другу!»

Ну, помялся Валуев. Как тут поступить? Человек вроде знакомый. Болтливый. Даже, можно сказать, — трепло. Не уступи такому — врага наживешь: ославит. Да и не убудет с них, если этот ферт малость подержит в руках его относительно молодую жену. . .

Пошла Фрося, изо всех сил стараясь не выдать хромоты своей. Напряглась, как перед вторым рождением. Но изъян ее таки заметили. Слава богу — не телеграфист. Этот как ухватился за Ефросинью, так и распушил перья. И покуда весь вальс «На сопках Маньчжурии» не развинутил по винтику — ни разу даже головы с небес не опустил.

Зато один из предыдущих приглашателей, тот, кому отказали и, вероятно, очень обидчивый, подошел к концу вальса туда, к Валуеву, и почти в упор, с расстояния в метр, выпалил такие слова:

«Тоже мне — королева бала! Рупь сорок!»

Понял Валуев, что красивую его жену тяжело обидели. Обвинили в хромоте.

Сама Ефросинья не покраснела, не вспыхнула. Она сразу горько заплакала. Молча. Глядя удивленными глазами на обидчика.

Меж Валуевым и его женой о хромоте возрастающей говорить было не принято. Словно и не хромал никто. А тут при всех, публично — «Рупь сорок!».

Валуев не знал, как ему мстить. Что в подобных случаях принято делать? На танцевальных площадках? И только знал, что их с Фросей мерзко обидели. . .

Опустив руки по швам, деревянным шагом отделился Валуев от Ефросиньи. От которой, как от лягушки, уже

успел отскочить смекнувший в чем дело телеграфист. Валуев нагнал того, что «Рупь сорок» сказал, и, не много думая, схватил сзади за кудлатый загривок, потянул густые чужие волосы резко вниз! Кавалер от неожиданности сел на деревянные мостки павильона. Сидел он не долго. Секунды две. А когда вскочил, то Валуев звучно плюнул ему в красные щеки. И началось. Пока не разняли несколько парней, молча, с деловитым сопением, не оттеснили дерущихся в тень деревьев, за ограду танцевальной площадки.

... Дядя Саша ел леща. Лизал косточки, как леденцы, ссасывая с них рыбью плоть. Грел горло горячей картошкой. И видел перед собой, и одновременно вспоминал ее, свою женщину, Фросю свою, с которой они столько прожили и пережили и с которой ему неминуемо предстояло расставаться. Он давно, с первых военных дней, как-то уверовал в то, что умрет раньше Фроси. Особенно после того, как согласился волостным головой побыть. Не отдавая в том себе отчета, он тогда как бы и на раннюю смерть свою согласие дал. Вдруг он почувствовал, как внезапно постарел, как сделался старше жены, старше земли. . .

После короткого обеда заторопился Валуев к себе на почту. И хотя сегодняшний день числился за ним полностью как отгульный, такая необычно щедрая трата времени, какую он позволил себе, посетив райцентр, настолько раживала в общем-то дисциплинированный его организм.

В здании правления колхоза под почту была отведена комната в десять квадратных метров. Но — с отдельным крылечком входа. Все здание целиком являло собой продолговатую избу казенной барачной застройки. Но почта жила как бы изолированной жизнью. Она имела некоторые материальные ценности, помещавшиеся внутри сварного железного сундучка, громко именовавшегося сейфом. Сразу от двери «зал» почты перегораживал деревянный барьерчик, в углу которого имелся неудобный лаз для проникания за конторку.

В штате этого мизерного отделения связи числилось два человека. Дядя Саша и молодая вдова Мария, ведавшая кассой, она же — почтальон в пределах Гнилиц. Она же — телефонистка, техничка и прочее.

За стеной у связистов — кабинет председателя колхоза Якова Егоровича. Заскучав, он, особенно к зиме, ча-

стенку наведывался в гости к Валуеву, предварительно стукнув три раза в стену своим тяжелым кулаком.

Вот и сейчас, получив на свой сигнал трехкратное дяди Сашино костлявое подтверждение, Яков Егорович, шумный, разудалого поведения старшина запаса, в престольные праздники разбиравший на дреколье колхозные изгороди, заявился с визитом на половину отделения связи.

— Здорова, почта! С приездом! А что, Саныч, тянет тебя в город, как волка в лес... И чего там хорошего? Такую ж водку пьют и хлеб такой же русский жуют. По карточкам. Полегчало тебе? — И, не дожидаясь ответа, неся в разговоре дальше. — Подумаешь, город! Я за границей на винном заводе в красном вине купался. В кислом. С утра не к колодцу, а чан такой в земле, как под нефть, зарыт... В него — хлысть! — солдатиком. Обмыл, что надо, и — на поверхность. Теперь бы нам водоем такой, а, Саныч?! Скупнулся бы? Или слабо?

Яков Егорович морщит свой маленький, копеечный носик, трет друг о дружку огромные, глыбистые кулаки. Молодецки улыбается большим, полным крепких желтых зубов ртом. И все же улыбка у него получается какая-то страшенькая. Во всяком случае — невеселая. За войну председатель, как и большинство солдат, слишком много крови увидел. Крови и всего, что с нею связано. И если, скажем, с Лукьяна Светлицына кровь эта смылась первыми мирными дождиками, то кровь, которая коснулась Якова Егоровича, проникла как бы внутрь его существа и окрасила все: речь, улыбку, взгляд.

— А что, Саныч, заместителя твоего не видно?

— Обедает Марья. Газетку разнесла и обедает.

— И много газеток ей разносить? Сколько у нас грамотных? Окромя меня?

— Пятьдесят дворов — пятьдесят штук «Светлого пути». Да учителю «Учительская газета». Сегодня вот — одно письмо даже было. Опять же учителю. Из районо.

— А мне почему не было? Я — председатель.

— Не знаю, Яков Егорович.

— А почему ты кислый, будто пулю ртом поймал?

— Не знаю.

— А я знаю. Сказать? Потому как ты — городской, Саныч. Тухлый интеллигент! Вот тебя и крутит от нашего навозного производства. Повис ты... как в петле. Промеж городом и деревней, Саныч. Из города не вырвался

и до земли нашей ногами не достать. Вот и болтаешься. Так говорю?

— Тебе видней.

— Смотри, как бы дышалку не перехватило!

— Пусть перехватывает.

Без стука, легкая, сохранившая девичью поджарость, вошла почтальонша Мария. Тернула подошвами дырявых сапожек о тряпку возле двери. Сорвала с головы черный, в ярких цыганских цветах платок с кистями. Подошла смело, вплотную к лежащему грудью на барьере Якову Егоровичу:

— Дай спички, труженик.

— А что, Маруся, или курить научилась?

— Тебе не все равно?

Председатель поспешно зашарил у себя по карманам, протянул молодой женщине коробок.

Марии было чуть за тридцать. Лицо дерзкое. В деревне мимо такого не пройдешь, если ты мужчина. Оглянешься. Молодые, сквозь постоянный загар, морщинки делали это лицо смелым, если не мужественным. Такую женщину не гладить хотелось, а сразу обнимать. Мария рано, можно сказать — в юности, родила себе сына. От сорокалетнего положительного тракториста-мужа, который в первые дни войны неожиданно умер от воспаления легких. И частые постукивания председателя в почтовую стенку можно было истолковать как заблагорассудится, не исключая мысли об ухаживании.

Мария выгнулась возле печной дверки. Там, в топке «голландки», были сложены дровишки, подоткнутые свитком березовой коры. Подожгла маслянистую бересту.

— Под вечер студено уже. Особенно в твоём кабинете, председатель.

— На два фронта печка. И вашим, и нашим. А греет одинаково всех.

— А ты разведись со своей Дунькой. Для чего тебе столько фронтов. Чай не война. . .

— Ты мне Дуньку не дразни. Дунька у меня — колдунья. Такую хворобу на тебя напустит — всю краску потянешь, весь колер сгонит.

— На Дуньку я сама — Дунька! Алексан Александрович, кассу примите. Я в город собираюсь. Поступления были. И выдача одна. Лукерья Сизова поросеночка купить уехала.

— Приму... Ключи оставь. А в город — вали, пока снегу нет. Управляюсь.

— Миленький! Александра Александрович... Денька через два бы... Под самые Ноябрьские. Вот бы, а? Отпускаешь, миленький?

— Об чем речь? Гуляй на здоровье.

— А печку без меня пусть председатель топит. Его очередь. Его, значит, фронт.

— Председатель на Ноябрьские, может, и сам куда-нито закатится...

— Тогда подвезешь, председатель?! Я не тяжелая. Душа от бога да костей немного.

— С одними костями и замерзнуть не долго. На линейке.

Мария пристально, без тени улыбки, как мать, посмотрела на председателя. Затем протянула горячую, нагретую у печки руку и цепко взяла Якова Егоровича за красное, отмороженное на войне ухо.

— Ай!

— Ишь, чего захотел... — одними губами прошелестела Мария.

А дядя Саша со скрежетом приподнял крышку ржавого «сейфа» и сунул в него свою невеселую голову.

Приближение зимы складывалось из ночных заморозков, углубления небесной сини, очищения воздуха от запахов увядания и тления, из несерьезной мимолетности солнца и покрупнения звезд на строгом, несуетливом ночном небе.

И все же, когда за двое суток до праздника выпало сантиметров двадцать снега на поля и крыши Гнилицкой долины, — для большинства жителей событие это явилось знобящей неожиданностью.

Дядя Саша проснулся часа в четыре утра. Вспомнил, что сегодня — как вот и вчера, и уже неделю целую — не будет рядом с ним Катыша. А значит, и поговорить будет не с кем... Он и прежде неожиданно замолкал, баррикадируясь в себе, и даже тетка Фрося на такие дни отступалась от него, терпеливо снося безмолвие.

И теперь, вот уже несколько дней по возвращении из города, пребывал дядя Саша в вязком оцепенении. Преж-

де, в подобном состоянии, подходил он к аквариуму, барабанил пальцами по стеклу и, переглянувшись с рыбешкой, говорил ей пару ласковых слов. Теперь и рыбки не стало.

Валуев хотел неслышно одеться и выйти на двор. С кровати он сошел аккуратно. Тетка Фрося звучно посапывала носом: с вечера к ней привязался насморк.

На дворе дядя Саша увидел снег. В первые мгновения подумалось, что не ко времени светает. Потом, когда от земли пахнуло пещерным холодом, понял: зима. . .

Валуев наклонился, хотел подцепить с земли горсть свежего снега, но закружилась голова и кольнуло в поясницу. Тогда он взял снег прямо с крыши баньки. Не сжимая, пушистым положил его в рот. Снег небесный.

— Снег небесный. . . Еще одна зима. . . — сказал Валуев в пространство.

Прежде зима вызывала в дяде Саше прилив сопротивления. Каждый мускул напрягался: перемочь, перетерпеть холода, дожидаться весны, зелени. . . Нынешняя зима даже всегдашнего ожесточения не принесла. Как разгоряченный, не в себе, пылающий некоей идеей человек не чувствует на морозе холода, так и дядя Саша теперь уже не чувствовал страха смерти. . . Снег, снег небесный. Чужой, неземной. И только. . . Неожиданно Валуев ощутил снег пальцами ног. И тут вспомнил, что вышел на двор в дырявых войлочных тапочках.

«Ну и пес с ним, со снегом! Подумаешь, снег. . . Подумаешь — зима. . . Подумаешь — жисть. . .» — колесиком вертелось теперь в голове.

— Сашенька. . . — зашуршало вдруг за спиной. — Ты чего? Или захворал?

— Приспичило. . . вот и «чего»! — недовольный обернулся на зов тетки Фроси. — Чаем с вечера опоила. . . Вот и «чего»! Видишь, мать, зима снова пришла. . .

— Пресвятая дева богородица! Иди, застынешь! Никак и правда — снег? Ой, да какой снежище-то!

— Саван. В стихах так-то говорят. О снеге. . . Белым, значит, саваном накрыло. . .

— Скажешь тоже. Саваном. . . Да саваном-то покойников накрывают. А земля живая всегда. Круглый год. Любое дерево ковырни — живое под кожей. Любую речку. . . Зимой — тишь. А чтобы — саваном. . .

— Ладно! Прицепилась к слову. Не саваном, так — одеялом. Пошли досапывать, а то и впрямь за пальцы хватает. . . Новорожденный-то!

Вскоре тетка Фрося опять уснула, а дядя Саша и не пытался этого сделать. Он решил, что пойдет на почту, затопит там «голландку», произведет своему хозяйству полную ревизию. Он как бы дела сдавать приготовился: все равно, рано или поздно, уедет он отсюда. Где-нито возле крепости, на берегу Песчанки, домик поставит. . . Правда, напрашивалась мысль: из чего поставит? Но это уже дело десятое. Да и поставит ли вообще — тоже значения не имеет. Весь фокус в том, что в Гнилицах он чужой и здесь ему жить нельзя.

В предбаннике, за низкой отгородкой, которой обычно отделяют в избе кормящую сосунков козу или овечку, в куче хлама откопал дядя Саша старые свои валенки, подшитые автомобильной покрышкой; извлек оттуда же обитый серой цигейкой потертый треушок. («Зима, скребут те маковку!») Все это плюс пальто натянул на себя без шума, вышел на снег и неторопливо направился к почте. Шел, оглядываясь по сторонам, рассматривал луну, снега, деревья. Словно музеем проходил.

Время — семи еще не было. Деревня спала. Нигде ни скрипа, ни дымочка. Даже собаки, почуявшие свежий снег, вели себя тише обычного.

И все-таки ночь должна была вскоре растаять. «Прощай, ночь. . .» — захотелось сказать Валуеву. А потом он вспомнил другое и захотелось сказать: «Прощай, Катяш. . . Прощай, рыбка. . .» — завертелось опять колесико. На крылечке правления, еще до выпадения снега завернувшись в тулуп, спал сторож. Дедушка, имени которого Валуев не знал. Дядя Саша и внимания почти не обратил на него, и забыл сразу. Просто глаза по сидящей куче тряпья прошлись, по сугробу, опиравшемуся на ружье системы «бердан».

Заглянул в небо. Так и невозможно было понять: расцветает или все еще от снега белит в воздухе? Скорей всего — и то, и другое. . .

Ступил на середину улицы, пошел по ней, по главной, мимо церкви, оставляя по бокам от себя темные, спящие избы. Кой-где вспыхивал собачий лай, переходящий в ленивый брех, а там и вовсе замолкавший.

Когда прошел деревню до околицы, показалось, что кто-то окликнул. Остановился, жадно вслушиваясь. Нет, помстилось... Да и кому его окликать? Фрося — на том конце Гнилиц. Храпака задает. Разве что — все те же собаки... И тогда, отвернувшись от деревни, пошел дядя Саша по дороге, туда, к лесу, к иной тишине, к иным, нежели здесь, более ровным и чистым снегам полей...

Дорога была мягкой: снег выпал на неотвердевшую грязь колен. Земля, не готовая к зиме, еще не закаменела. Сойдя с колен, как паровоз с рельсов, Валуев наобум прошел метров сто и возле молоденькой березки-подростка, уже безлистой, но крепенькой, стремительной, опустился тощим задом на поваленную жердинку. Жердинка прогнулась до самого снега, даже до самой земли. И таким образом дядя Саша очутился в неловком сидячем положении: колени выше носа.

«Жердинка-то хлипкая оказалась... И тоже — березка. Только — срубленная... Для чего секанули, если не понадобилась?»

Свернув огромную, без прежней экономии табака, цигарку, дядя Саша, внешне бездумно, сидел и курил. На поверхности сознания мысли плавали случайные, суматошные и безобидные.

А где-то под рыхлым слоем фактов вызревало что-то необъяснимое, торжественное и в то же время — разъедающее. Выстраивался какой-то храм, который вот-вот должен был и рухнуть. Появилось ощущение раздутости, словно пучило тревогой, отпугивая и одновременно не отпуская от себя. И сидел Валуев, боясь пошевелиться, будто сдерживал в себе заряд смертельной взрывоопасности. И старался не думать, отчего так жутко сделалось, только перекачивал страх по жилам, как кровь. И нужно было или умереть от этого страха, или выпустить его из себя, как пар, как газ вонючий, губительный.

Порядочно рассвело. В небе летали редкие, одна в метре от другой, снежинки. Малость подморозило. Кряхтя, Валуев поднялся, бросил огромный окурочок на снег. Полежав на поверхности, огарок начал на глазах оседать, все глубже и глубже в снег. Отверстие, которым он уходил, неярко окрашивалось никотиновой желтизной.

От тощего зада дяди Саши в снегу отпечатался забавный след, необширный и несолидный, словно и не человек посидел, а какая-нибудь уставшая лягушка.

Двинулся дальше, к черным кустам. На них холодной пеной кой-где — лохматый снег.

Валенки оставляли автомобильные отпечатки, такие назойливо-современные, несовместимые с вековечностью пейзажа, в который был вмонтирован сейчас человек.

Возле кустарника сел прямо на снежную кочку. Опять курил. Опять бросал окурки. Опять в рыхлой белизне появлялась желтоватая скважинка. И, когда на очередном сиденье обнаружил, что выкурил всю махорку, тоскливо заозирался и в пяти шагах от себя разглядел свои же автомобильные следы и ту стремительную березку, возле которой сидел час назад. Увидел, а соображать, что ходит по кругу, не стал.

Внезапно у кустов что-то хрустнуло, затем будто что-то упало. Дядя Саша оглянулся. Услыхал знакомый голос Лукьяна:

— Да помогите, что ли, Александрович! Подите сюда... Нога у меня сломалась, паскуда! Деревяшка то есть... Сделайте милость, пособите!

Валуев обернулся на голос. Перед тем как глаза ему полностью застлали слезы, успел он разглядеть Лукьяна, лежащего меж кустов, как меж двух медведей.

— Лукьяша... — зашептал Валуев, задыхаясь. — Что же ты, сукин сын, по пятам за мной ходишь?

— А я за хворостом...

— Врешь, не за хворостом...

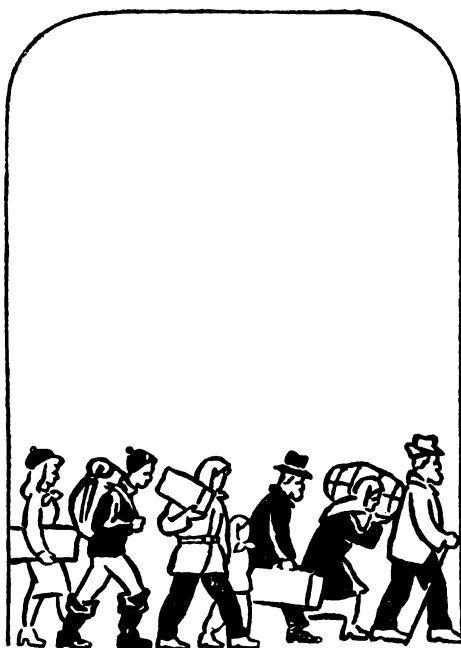
— А чего тогда надумали? В лес почему ушли?! — варугался Светлицын.

Заругался и медленно, как к зверю загнанному, пополз по-пластунски к дяде Саше. Сошлись. Вернее сказать, сползлись. Лукьян Григорьевич ухватил дядю Сашу за голенища валенок. Малость подтянулся. Резво так перебрался руками повыше, поймал рукав валуевского пальто. Еще подтянулся, встал на свою единственную... Выпрямился. Глянул дяде Саше в мокрые глаза...

Вскоре выбрались они на дорогу, понюхали воздух. Запрыгали молча на запах дыма, туда, где над сонными избушками торчала чумазая колоколенка, лаяли собаки и пели обыкновенные птицы — воробьи.

И редкий снег, одна снежинка подлетает, а другую еще не видно, редкий, небесный снег танцевал над ними беспечно.

ВОКЗАЛ



И. Н. Тарсановой

С утра садимся мы в телегу...

А. С. Пушкин

Я знал, что опоздаю на этот скорый. На этот фирменный, с нестандартными занавесками. Я уже передвигался однажды в таком составе. Правда, в направлении, противоположном нынешнему.

Помню, в купе тогда, на столике, в керамическом горшочке даже произрастал настоящий кактус. Колючий и с четырьмя зажившими дырочками в мясистом тельце. Должно быть, кто-то вилкой его потрогал. Чтобы удостовериться в подлинности. Жизнь коротка, а на земле столько непонятного! И многие склонны проверять: а не обманывают ли их?

Разница между прибытием поезда, на котором я въехал в столицу, и отправлением фирменного составляла одну минуту.

Короче говоря, я знал, что непременно опоздаю на этот дефицитный. Знал, и все ж таки несея подземными переходами, ударяя встречных граненым чемоданчиком. По незащищенным коленям. Несея, чтобы удостовериться... Чтобы миллионный раз колупнуть кактус неизвестности. А вдруг — успею? Вдруг да у машиниста дизель в тепловозе заклинит? Или очередной сомневающийся ручку стоп-крана повернет?

И черта с два! От моего нестандартного даже облачка пыли не осталось. Только у фонарного столба плакала или смеялась молодая женщина. С букетиком гвоздик. Который она протягивала вперед, будто красный флажок.

Да еще пятеро взбудораженных провожающих, сце-

пившись руками, громко шептали слова дореволюционной песни «Прощай, радость, жизнь моя. . .».

Погода в сентябре, сами знаете, пока народ на работе, солнечная, соблазнительная. А где-то ближе к часу «пик», когда люди из предприятий на улицу вываливаются, — с неба начинает идти он самый. . . Осенний мелкий. . . Ветер принимается стегать по шеям так, что хочется немедленно зайти в промтоварный магазин и купить себе плащ. Или хотя бы просто примерить его за бархатной ширмочкой. Иными словами: на улице в этот день шел дождь.

А теперь о себе. Не сходя с места, десять лет проработал я в отделе писем одной газеты. Отбросив честолюбивые мечты, десять лет отвечал не только на письма честных тружеников, но также и на послания склочников, графоманов и просто шизофреников. . . Впрочем, приходили и деловые, и даже талантливые письма. Но адресованы-то они были не мне, а все той же абстрактной «дорогой» или «уважаемой» редакции.

Но все это в прошлом. . . На письмо одного махрового жалобщика я ответил словами, не подобающими для профессионального газетчика. Впервые за десять лет работы.

В редакции у нас была гиря-двухпудовка. Мы ее поднимали для разминки. В тот раз, подняв гирю, я неожиданно уронил ее на полированный столик, за которым истлели лучшие годы моей молодой жизни. После чего пришлось написать редактору заявление о добровольной с ним разлуке и, снарядив чемоданчик, поехать к приятелю на Дальний Восток, где на великих стройках века возникали не только новые редакции газет, но и новые города.

Я предпочел самолету архаический поезд. За окном поезда — земля, люди, события. За окном самолета — разреженный воздух.

Молодая женщина с гвоздиками, как выяснилось позже, никого не встречала. И не провожала. Она сама уезжала — да не уехала. Поезд неслышно ускользнул прочь. Тут-то и вручили ей букет гвоздик веселые люди, напевавшие шепотом старинную русскую песню.

Опомнившись, она решила тщательно изучить распи-

сание поездов. Здесь мы и столкнулись с ней. Лицом к лицу. Я не из тех, кто в подобной ситуации незамедлительно несет чепуху, вроде: «Мы с вами где-то встречались!» Однако женщина сама, раскрыв слипшиеся от недавних слез ресницы, вдруг заинтересованно посмотрела на меня.

— Гриша. . .

Она опознала меня. Потом уж и я припомнил с трудом, что где-то между первым и пятым классом школьного обучения мелькали вот такие большие темно-синие глаза. А рот и тогда был широченный и при улыбке сверкал чистыми зубами, как молнией в небе!

— Гриша. . . Гриша Улётов!

— А я думаю: почему смотрят? Может, лицо на мне перемазано и вообще. . .

— Перемазано, Гриша. Морщинками. . . Времечко постаралось. Зато уж нос — прежний! И кудри ангельские — на месте. Белый пудель! Тебя ведь пуделем дразнили?

— Может, и пуделем. . . А вас?

— А моя кличка — Марго! Марта я, Королева. . . Королева Марго!

— И вы меня вспомнили? Феноменально. . .

— Ты яркий, Гришенька. Кудряш, и нос у тебя неповторимый.

Люди возле огромного расписания поездов уже не на табло смотрят, а все чаще на мой нос.

Одна тетка четыре раза оборачивалась. Покуда о чей-то чемодан не запнулась.

Ну и ладно. Не повезло при формировании. Неаккуратный орган получился. С плебейским башмачным загибом. Зато уж в остальном — полный порядок. А могло бы и вовсе разрисовать. . . Глазки бы красные свинячьи вставило. . . По плечам уши развесило. . . Зубы перетасовало бы — коренными вперед! — ходи, улыбайся. Нет, со мной, если хотите, природа по-божески обошлась. Откровенно говоря, серьезными физическими недугами еще ни разу не маялся. Сердце, желудок, голова — все в норме. А я ведь и водку пил, и курю, и нервничаю. Иной в тридцатьто три года стоит у пивного ларька с протянутой кружкой, и не отличишь его от истинного ветерана. А я себя в этом деле переломил. Но об этом после. Не вслух. . .

Итак, внутренности у меня — тип-топ! Чего не скажешь о так называемой душе. . .

Зная жизнь человеческую по мрачным письмам кляузников, душа моя забила тревогу. Ну и ладно. Главное с места стронуться. В определенном направлении.

Отошли мы с Мартой от расписания поездов в глубь зала. Тут на наше счастье какой-то очень длинный лежащий человек проснулся. На деревянном диване. Сел, протирая глаза, и сразу большой кусок незанятого места освободился.

— А я, Гришенька, на поезд опоздала. Мне из камеры хранения чемодан не вынуть было. . . Пожалей меня.

— Я тоже не успел, — поддакиваю, а сам соображаю: почему она со мной так запросто? Двадцать лет не виделись, и хоть бы что! «Гришенька!» — и на грудь цветочки кладет. Вообще-то я человек компанейский. Располагаю, ну, там, к беседе. Но не до такой же степени.

— Гришенька. . . Что делать будем? Следующий скорый до Энска завтра утром. А бригада моя уехала. Я ведь артистка, Гришенька. Старинные романсы пою.

— Мне, знаете ли. . . — объясняю артистке, — в другую сторону. Мне значительно севернее. . . вашего Энска. Газетчик я. . . — Объясняю, а сам быстренько смекаю: если она без бригады осталась, значит, и без денег может оказаться. Ну и ладно. Не слон из зоопарка. Прокормим.

— Перекомпостируем билеты, Гришенька, и — в ресторан. «На улице дождик, на улице слякоть».

— А где же. . . А куда же? Дальше-то?

— Где ночевать будем? А на вокзале!

— Романтика? Карболкой провоняем тут. . .

— На вокзале хорошо. Как в лесу. Никому до тебя дела нет. Побудем ночку. Посторожим друг друга. У тебя такое испуганное лицо, пуделек. . . Ты ведь проездом, Гришенька? Не москвич ты, угадала я? Может, в гостинице остановился?

— Знакомые у меня. . . Друг на Арбате живет.

— Одинокий друг?

— Не совсем. . . Дети у него. Трое. Ну и — жена. . .

— Итого пятеро. Не нужно им мешать. Мы с тобой на скамеечку сядем. Друг к другу прижмемся. Я тебе, Гришенька, колыбельную песенку спою. А там и утро. Пойдем-ка на почту теперь. Телеграмму отстучим. Това-

ришу Немухину. Администратору. О том, что жива я и здорова.

В зале ожидания много народу. Часть людей питалась возле буфетных стоек, где шел пар от бачков с какао. И от горячих сосисок. Сидение на узлах кануло в Лету: большинство ожидающих пользуется камерами хранения; правда, есть и оригиналы. Такие выкладывают чемоданную кладку возле своих ног. Непрестанно ощупывают, оглаживают вещи. Стреляют беспокойными глазами, как из пулемета — веером.

Возле такой забаррикадированной семейки вдруг много смеха произошло.

Сидим, значит, с Королевой. Вспоминаем школьные годы, и вдруг женщина в тусклом болоньевом плащике из-за своих чемоданов как вскрикнет: «Ой!» Резко так. Пронзительно. Даже вокзальный гул перекрыла. Ну, думаю, ладно. Может, потеряла чего баба. Гляжу — улыбается. По-хорошему. И чемоданы свои пересчитывает, широкоплечие. А через минуту по-новой: «Ой!» Звонче прежнего. Даже Марго насторожилась, а длинный дядька, что спал теперь сидя, проснулся и торопливо закурил. Хотя курить в зале ожидания категорически запрещалось.

Рядом с женщиной, которая так весело и громко икала или стонала, сидел маленький мужчина-мужичок в большой кепке и блестящей черной, как металлический капот автомобиля, куртке. Впалые щеки, румяный морщинистый нос. Короче говоря, человек, успевший устать. Его и не видно-то было из-под козырька. Не человек, а так, одна одежда.

Когда женщина вскрикнула особенно лихо, из-за чемоданов вышла крошечная девочка. Она была частью той странной семейки и отделилась от старших, чтобы сообщить нам, посторонним людям, потрясающую новость.

— Папаня маманю шильцем... укалывает! — рассказывала она долговязому дяденьке, нашему соседу по дивану.

— Эт-то как же понимать? — заволновался тот, пряча папироску в рукаве брезентового плаща, совсем как школьник.

Девочка повернулась к нам.

— Папаня маманю шильцем...

Тогда я решаюсь. Встаю, иду туда, за чемоданы. Нервно спрашиваю женщину:

— Вызвать милицию?

Женщина натянуто улыбается, сидя напряженно, как перед прыжком.

— С какой стати? — выдавливают она. — Если вы есть выпивши, тогда для себя и вызывайте... Ой! — приятно взвизгивает мамаша и отворачивается от меня.

Я понимаю, что здесь так живут. И что сам я со стороны некоторым кажусь не менее вздорным и нелепым. Понимаю и отхожу к своему дивану.

Длинный человек рядом с Мартой вновь уснул. Из его рукава вывалился окурок. Девочка, сообщившая нам про «шилце», подняла окурок и понесла к урне. Марта встретила меня улыбкой:

— Отшили тебя, Гришенька, гуманиста нелепого?.. Сразу видно, классиков читаешь. А ты представь, что кликуша сия в свое время изменила по глупости... Этому, в кепочке. Ну, простил он ее внешне. Ради дочки-малютки. А после, чтобы от злости не лопнуть, шило завел. Кольнет любовь свою, а злоба и — пшик! Малость схлынет... С души.

Ишь ты, думаю, какая рассудительная! А сама изогнулась под замшей и ногу на ногу сделала... А ноги все наружу, хотя и сапогами обтянуты. Настолько юбка у нее коротка, несерьезна.

Решили мы закомпостировать билеты на утренний скорый. В пассажирском лишних полдня добираться. Лучше эти полдня в вокзальном ресторане провести.

Возле касс полно людей. Даже возле закрытых. Мы выбрали крайнюю. В самом дальнем углу. С цифрой тридцать три. У ее окошечка будто пореже толпа. Как выяснилось — ничего подобного. Просто люди тощие подобались. Я подсчитал: у соседней кассы их было даже меньше на одного человека.

В самом углу помещения, где в общественных местах чаще всего стоят урны, отгороженный очередью, спал на полу человек.

Очередь продвинулась, и мы с Мартой увидели спящего. Интересно, почему этого «курортника» до сих пор не подобрали и не свезли, куда следует? Был он повержен ниц, а на ногах почему-то имел только один резиновый сапог (другой выглядывал из-под головы); от всего

облика спавшего сквозило солидным, застарелым благообразием. Будто бабушкиными духами. Невесть когда пролитыми на эту поношенную вещь.

Мужичок лежал крошечный, свернувшись калачиком, нежно посапывая и постанывая во сне. И не обладай он ржавой, запущенной бородкой да большими лобовыми залысинами в модной, до спины, прическе, такого дядю запросто можно было бы принять за нашалившего школьника, сбежавшего от родителей в жаркие страны.

В очереди спящего в общем-то жалели. Хвалили за находчивость. «Ишь куда спрятался! За людей. Не скоро его тут обнаружат».

И про наличие всего лишь одного сапога речь шла.

— Да неужто сняли? — кудахтала старушка. — С такого-то блаженного?

А случайный гражданин в скромной периферийной одежде возражал ей:

— Еще чего: «сняли»! Под голову положил. Вместо подушки. Если такие сапоги с людей снимать... — и пошел-поехал.

Когда на спящего посмотрела Марго, близоруко склонившись к полу, благообразный бродяжка мигом встрепенулся, воздел голову и вежливо зевнул, прикрывая ладошкой рот с желтыми, прокопченными губами.

— Закурить не найдется? Чего-нибудь вкусного? Ароматного?

Мы торопливо стали угощать бородатого гнома сигаретами. На мои «ВТ» он только еще раз невесело зевнул, взял у Марты «аполлонину», вставил сигарету в дырочку рта, кряхтя приподнялся, сунул необутую ногу в сапог и, бесцеремонно расталкивая очередь, как слепой, напролом пошел из своего угла в направлении курительной комнаты.

В ресторане мы устроились хорошо. Симпатичное местечко освободилось. На отшибе. Прежние, до нас, люди за этим столиком вдруг сильно запьянели, вот их и вывели. На улицу.

Марта меня за руку взяла. Как маленького. Усадила рядом с собой. Заказали мы грандиозный салат из помидоров. Красный такой утес в сметане. И сухого вина бутылку. Марта сказала «сухаго». Официант сразу улыбнулся ей.словно пароль услышал. Так мне показалось. Марта, конечно, артистка. И потому, наверное, выделя-

лась из прочей публики. Производила эффект. Я возле нее выглядел неестественно. Как телефонная будка возле мечети мусульманской. Помните, у нас в Ленинграде, на Петроградской стороне? И хоть проигрывал я внешне на фоне Марты, унижения покуда не испытывал.

— Гришенька! Бог тебя послал. Хорошо-то как... Выпьем? Кудрявый! За встречу.

— Не пью нынче. Спиртного.

— Чего, чего?

— Этого... нынче. Не употребляю.

— Смеешься? Или хвораешь?

— Боюсь. Я в пьяном виде злой делаюсь.

Марта подозрительно, как мне показалось, осмотрела мое лицо. А я стал оглядываться по сторонам. И тут вижу: благообразный, что на полу в кассовом зале вальялся, блуждает по ресторану.

Степенно так ходит. Словно в краеведческом музее экспонаты разглядывает. Марго тоже дядю заметила. И когда неопрятный бородатик мимо нашего столика проходил, схватила его двумя пальцами за пиджак.

— Присядьте.

Курносый и большелобый мужичок ласково погладил свою лысину, вынул гребешок откуда-то из подмышки. Причесал затылочные патлы. Не меняясь в лице, присел возле нас.

— Не поладили? — спросил отрывисто, не глядя на Марту, тем более — на меня. — Или: дан приказ ему на запад?..

— А вы прорицатель? Судьбу угадываете? — Марта передвинула к нему мой фужер с вином.

— Не угадываю, а соображаю. Для нормальных, озабоченных людей я не существую. А вы меня — за рукав и к столу. Вас что — помирить? Или позабавить?

— Расскажите о себе, — потребовала Марта.

— Значит, позабавить. Хотите случай расскажу? Свежий, вокзальный? Сейчас бабенция одна на диване в зале ожидания... численность населения увеличила. Ойкала, ойкала за чемоданами, покуда сына не родила. Интересно? Граф Салтыков! — сунул он вдруг под мой нос грязную ладошку. — Поэт! И абсолютно свободный! Не член Союза. О, грубый век! О, хрупкий матерьял мечты благой, что холод обуял! Я такой разговорчивый,

потому что одинокий. Иногда, часам к восьми вечера, сюда приходит моя бывшая жена. Уговаривать. Раз в месяц. Я ей от пенсии отламываю четвертинку. Алименты.

Марта оживилась. С интересом вновь стала рассматривать замухрышку.

— Значит, не забыла вас жена? Приходит, навещает?

— Да. Как на могилку...

Марта наполнила фужер Салтыкова. И вдруг схватила меня за плечо, затрясла.

— Гришенька! Слава богу! Вспомнила... Тридцать девять!

— Не понимаю вас...

— Год смерти Шаляпина!

Я решил не удивляться. Особенно в компании подзаборного графа. Прослыть наивным лопухом никогда не поздно. Год смерти Шаляпина вспомнила... К чему бы это? А вслух забормотал:

— Гениальный русский певец... Разве такого забудешь...

— Да нет же! — так и подпрыгнула Марта. — Теперь чемодан из камеры можно забрать. Девятьсот тридцать девять. Из автомата. Скажите, товарищ Салтыков, а что, собственно, произошло с вами? Почему вы так неустроены? Чем объяснить? Водка?

— Слишком просто у вас: во-одка!

— А что, разве я не права?

— Я устал об этом думать...

— Ой, ради бога, простите! Я неуклюжая. Берите сигаретку. — Марта поднесла горящую газовую струйку зажигалки. «Граф» снисходительно прикурил.

Тут возле нашего столика, озираясь, торопливо прошел тощий мужчина с портфелем и в очках. Не останавливаясь, он выкрикнул что-то. Отчетливо прозвучало только одно слово: документы! Я еще в зале ожидания запомнил этого типа.

Если «граф» опустившийся ханыга, алкаш — сразу видно, то дядька с портфелем просто ненормальный. Шизик. Правда, нынче так уж принято: всех мало-мальски нервных людей непременно в шизофреники зачислять. Конечно, этот тощий с портфелем слюной не брызгал и пальцем на стенах не писал, однако ко всем и каждому в зале подходил и про документы спрашивал. Люди кто

за что хвататься, дергаться начали, проверяя наличие документов. А затем с неприязнью отворачивались от человека с портфелем.

Салтыков, проводив тощего дядьку насмешливым взглядом, ухмыльнулся:

— Заботливый шибко. Надоел всем. Лишь бы на глазах у людей поторчать. Я ему говорю: мои, мол, документы, отдай! А он, гад, только взглянул на меня брезгливо... Как солдат на вошь... И отвернулся. «У вас, говорит, их никогда и не было, документиков!» Деляга. В каком, говорите, году Шаляпин помер? В тридцать девятом? Сейчас пойду и ваш чемоданчик извлеку. Удружу. Хотите?

— Благодарю вас. Только сейчас не время. Пусть до утра отдыхает чемоданчик. Пейте вино.

— Я не пьяница. Я пенсионер. Да, да! У меня инвалидность. Бывший летчик... Реактивщик. Приличная пенсия. А дома не живу... Потому что... инвалид! Инвалид должен спать в обнимку с урной! А не с женщиной. И мне здесь, мадамочка, очень хорошо. Среди людей. Среди проезжих. Проезжий среди проезжих. Лягу на диван и еду. Своей дорогой. Куда все, туда и я. Но — своей дорогой! Своей, мадамочка! Спасибо за угощение. Мне идти нужно. Понаблюдать за женой. Сегодня пенсия. И сейчас она придет. А я за ней наблюдаю сначала. Мне ее лицо нравится. Грустное такое. Среди мелькнувших глаз в коловращенье дней запомнил я не вас, а хмурый взгляд камней! — выкрикнул он на прощанье, слезка порозовев от «сухаго».

— А ты, Гришенька, не хотел на вокзале ночевать! Да здесь такие персонажи...

— Сейчас этот персонаж в камеру хранениякинется. За вашим чемоданом.

— Почему — за «вашим»? На «вы» — почему? Сопротивляешься, Гришенька... Моей ласке. В чужого играешь. А ведь мы с тобой так давно знаем друг друга. Так давно...

— Вот именно. Так давно, что едва помним...

— Не хочешь — не надо. Обращайся со мной, как тебе удобнее. А за «графа» не переживай. Не возьмет он чемодан. Ему озорничать нельзя. Где он тогда ночевать будет? Если нашалит? Вокзал — его убежище. А дело к осени. Чемоданчик у меня яркий. Заметный. Зачем

«графу» такой? Милицию дразнить? Да и в какой именно секции лежит — неизвестно. Не могу вспомнить.

А гражданочка смекалистая, подумалось мне. Разбирается, что к чему. Но скорее всего — оригинальничает. Шляпина приплела... И все остальное.

Сидел я в ресторане как на иголках. В подобных заведениях бываю теперь крайне редко. После того как радио про меня нехорошими словами заговорило. Два дня и две ночи с дружками преферанс чертили. Под звон стаканов. А на третий — включаю транзистор: как раз последние известия передают. И слышу явственно: диктор мою фамилию произносит — Улетов! Улетов-де полностью деградировал, морально разложился. А потом, когда диктор крепче стал ругаться, понял я, что это — галлюцинации. И пора мне завязывать с прежним образом жизни.

У меня мама рано умерла. И я этот факт воспринял как самую большую несправедливость. Со стороны жизни. Я маму помню всегда молодой. И всегда — испуганной. И пахла она сердечными каплями. Может, поэтому и я в обиходе с людьми несколько робок и молчалив. Скван генами, короче — наследственное. Хотя, если брать с другой стороны, то есть с отцовской (на него я больше похож, чем на мать), тогда скванность мою и длительное пребывание в сидячей должности истолковать как нечто наследственное — трудно. Отец мой — геолог. Бродяга. Причем бродяга натуральный. Подлинный. С семьей своей только по почте был связан. Денежки высылал. А сам как живая личность где-то скрывался. Да и по сию пору скрывается. Несмотря на солидный возраст.

Когда мать умерла, я к тетке перебрался. К сестре отца. Она мне рассказала про все. Про его, отца, нелюбимость. С матерью у них драма получилась. Осечка вышла. С верностью супружеской. Он каждый сезон удалялся, удалялся... А когда измена произошла — и вовсе удалился. И настолько погряз в своих изысканиях, что когда приезжал к сестре, то есть к нам домой, то выглядел совершенно диким человеком. Я и лица его не помню. Живого. Фотографию знаю. Изображение. А существо, именуемое отцом, — не представляю. Потому как за двадцать лет, что я у тетки провел, родитель мой всего лишь два или три раза промелькнул. Да и то не ярко:

без улыбок, без особых слов чарующих, без впечатляющих движений ума и сердца. Так, побрезжит чуть, вздыхает и — прекратится. Как посторонний звук. Вызванный чем-то случайным и необязательным.

А с теткой мы жили отменно. Приятно вспомнить. Я ее люблю. Совершенно определенно. Родной человек. И даже когда я гирю на редакционный стол ронял, в тот самый жуткий миг я не отца вспомнил, а тетку. Вспомнил и — пожалел: как же она без меня-то? Одинокая? Обнял я тетку, удалил с ее дряблой и доброй щеки слезу пальцем и поехал на восток: учиться с людьми разговаривать. На чистом воздухе.

Сколько о дороге стихов написано. И прозы. А песен... попутных, как шпал под рельсами. И все равно: каким скептиком ни родись, а замелькают за окном столбы, расплескают поля вдоль пути разнотравье, проглянут из-за горизонта дали неоглядные — и зыграет... И нахлынет вдруг ощущение, что и не жил ты вовсе до этих пор, а только готовился к чему-то изрядному, истинному... И вот — началось.

Лирика, конечно... Но что-то в движении непременно есть. Магия. И неизвестно: отцовское, бродяжье зыграло или до краев сидением конторским наполнился, только неведомо стало одно и то же делать, чувствовать, соображать... Каждый день одно и то же. Лица вокруг одни и те же. Звуки, запахи. Тетка... Одна и та же. Хотя и хорошая женщина, душевная. Но — одна и та же. И вот я на вокзале.

Внешне вокзал — так, проходной двор. С одной стороны заходят, с другой выходят. К поездам. И никто из проезжих людей о вокзале как о вокзале не думает, потолка и стены не разглядывает, прелестей архитектурных не ощущает. Все соображают: как быстрее доехать до места. А я решил осмотреться.

Даже где-нибудь в поле — и то интересно. А на вокзале! Не успел очухаться — однокласснику встретил. Всю жизнь врозь, а тут — хоп! «Гри-ишенька!» Далее — «граф» этот вокзальный... Где еще такого встретишь? Нигде. На вокзале все бесподобно. Потому что — выпукло все. Как под микроскопом. Взять хотя бы бабу за чемоданами...

— Мать честная! Так ведь она — рожала! — закричал я на весь ресторан.

— О ком ты, Гришенька? — улыбнулась Марго. — У тебя есть дети? Ты — семьянин?

— Откуда у меня дети... Я о другом. Баба за чемоданами... В зале ожидания. Помните? Вякала. Теперь то я понял: рожала она. Лицо беременной... А я, дурак, милицию хотел позвать...

— И я тоже рожала. В свое время.

— Так не на вокзале! Не проездом...

— Не имеет значения — где. Созреет яблочко — упадет. А то, что на вокзале... Почему бы и нет? Здесь — дивья родить. Не в пустыне. А вот чего она, дура, «скорую» не вызывала до последнего? Небось непременно уехать хотела. А там и родить где-нибудь в своей Ольховке.

На подмостках ресторанный эстрады неожиданно заиграли музыканты. В черных бархатных пиджаках. Такие кроты симпатичные. С отсутствующим выражением лица. То есть — безо всякого выражения. А фортепьянщик сразу же и запел про какого-то дядю, у которого на приусадебном участке созрели вишни.

Лично я питаюсь привык в одиночестве или с теткой, что почти одно и то же. Жевать, глядя в лицо незнакомой женщине, стараясь не чавкать, — занятие утомительное. Я в меру конфузился, в меру стучал о посуду общепитовским металлом... И как-то незаметно съел половину большого салата. И мясо тушеное съел. Пью минералку. Марта фужер в пальчиках туда-сюда возвращает. Есть ничего не ест.

— Гришенька... Поговори со мной. В кои веки встретились. Не разминулись. А могли...

— Вообще-то, мы запросто могли и не родиться, — начал я охлаждать ее пыл.

— Увидела тебя и осмелела. Знаешь, все равно что встречному из машины язык показать. Или еще что-нибудь... Пусть себе удивляется, удаляясь... В данный момент я немножко одинока. И потому — наблюдаю. И тебя вот высмотрела. Не подумай плохо... Просто стараюсь заинтересовать себя. Вон взгляни. Только осторожно. Не спугни. Понаблюдай за той... за тем человеком. В берете. Усики чаплинские под носом. Нашел? Пооригинальней меня будет экземплярчик. Я такое впервые вижу.

Медленно, как бы боясь обжечься, повернул я свое лицо влево. Скосил глаза и, наконец, обнаружил усики.

Пожилой мужчина в берете. Довольно длинные волосы. Не короче моих. Только — с проседью. Сейчас у всех прически много волосатее, нежели после войны. Перед усатым на столе графинчик. Рюмка. Рыбешка соленая в селедочнице. А лицо у клиента интеллигентное. И какое-то нездешнее, нересторанное. Брови черные, нос тонкий прямой — изящная косточка в его основе. А вот подбородок мягковат, расплывчат. Ого! А это уже баловство: темные очки напялил. В помещении. А на пальце перстень миниатюрный, немужичкий. . . На плечах замша. Такая же, как и на Марго. Под замшей рубашка модная, с кнопками. Серая, как дым от туристского костра. Небось тоже артист. Оригинальничает. А проще говоря — выпендривается!

— А ведь это женщина, Гришенька. Обрати внимание, куда она смотрит. Что ее интересует.

— О какой женщине речь?

— Об этой, об этой. В замше. С усиками.

— Да вы что?

— Сомневаешься? А вот погоди. Приведу ее сюда.

— Не смейте! — я не на шутку перепугался. Кто их разберет, артистов этих. Может, такое — только тронь. . .

Марта усмехнулась иронически. Похлопала меня по плечу.

— Ладно, Гришенька. Бог с ней, со старушкой. Ты только понаблюдай за ее взглядом. И, если захочешь, я ее сейчас же позову к нам. По всему видно — веселый она человек. . . Редкостный.

Я строго посмотрел на Марту. Затем понял, что веду себя глупо. Улыбнулся одними губами. Закурил. И еще осторожней, чем прежде, повел глазами в сторону того. . . этого самого.

За столиком усатый был уже не один. Возле него увивался какой-то лихорадочного поведения паренек. Совсем мальчишка. И тоже в темных очках. Юнец ухватил старческую руку, нервно стал ее поглаживать и одновременно что-то быстро-быстро говорить. С близкого расстояния. Почти на ухо пожилому в замше.

— Может, иностранцы? — засомневался я.

— Нет. Просто интересные люди. Гришенька, у меня сигареты кончились. Сходи к буфету, принеси. И еще одна просьба: там, возле буфета, сидят пожилой красавец и девушка. Обрати и на них внимание...

— Да зачем, собственно?!

Марта безжалостно втягивала меня в какую-то самодеятельность, в дешевое кино какое-то... Заставляла обращать внимание, подсматривать за людьми, которые ничего не подозревают. Черт знает что! Шпионка неудавшаяся...

— А еще газетчик! На твоём месте я бы шикарное интервью соорудила. Во-он с тем, который с девушкой. Это ж Скородумов! Народный артист. Здесь колоссальная интрига.

Я прошел к буфету, купил курево для Марты. И неожиданно для себя созорничал: приблизился к столику народного.

— Разрешите прикурить!

На меня глянули серьезные, крупные, навывкате, популярные глаза известного киноартиста. Голосом глубоким и каким-то измученным Скородумов послал меня подальше.

Заслоненная от посторонних взглядов девушка, над которой коршуном повис пожилой красавец, потрепала своего кавалера ладошкой по губам, взяла со стола зажигалку и протянула ее мне. Я высек огонь, прикурил, а когда, в свою очередь, вознамерился послать артиста не менее далеко, Скородумов повернул ко мне страдальчески сморщенное лицо и голосом великомученика проговорил:

— Ну, погорячился... Прошу прощения. Обругайте меня скотиной. Для равновесия. И — прочь! С глаз. «Юноша бледный со взором горящим!»

Я бросил зажигалку на колени лицедея и медленно повернулся уходить. У меня тоже имелся характер. Тем более что Марго как пить дать наблюдала за моими передвижениями. А если без лукавого, если начистоту — мне очень хотелось прыгнуть и побежать. Я ожидал пинка. В зад. Но его не последовало. С трудом отрывая ноги от ковровой дорожки, поплелся я к своему столу.

Марта встретила меня восторженно. Глаза ее так и лучились.

— Неужто с самим поговорил?! Ну и что он, каков? Небось еще красив? Выкладывай, что он тебе сказал? Не томи. Его слово на вес золота!

— Прикурил я у него. И ничего особенного. Мужик как мужик. Крупный, правда. Внушительный. Таких женщины до глубокой старости обожают. Выделяется. А для женщины главное, чтобы из ряду вон, чтобы в глаза бросался.

— Откуда такие сведения? Нет, Гришенька, ты мне в деталях опиши, как он с тобой. По-доброму или... А на столе у него что? Коньяк или боржомом? Толстый он теперь, с брюшком? Или незаметно?

— Да пошел он... знаете куда?! Разглядывать всякого... Еще чего. Вот в кино пойду, там и разгляжу.

— Bravo, молодой человек! Разделяю. — Кто-то бесцеремонно вклинился в наш с Марго разговор. — Вот вы прикурили у Скородумова, а мне, черт возьми, интересно, с кем это он прощается? Симпатичная девочка? Или так, воробышек уличный? — С той стороны, куда я недавно с величайшей предосторожностью поворачивал голову, возник именно тот тип с чаплинскими усиками. Он погладил меня ласково по плечу, улыбнулся просяще Марте и, вздохнув глубоко, опустил на свободный стул возле нашего столика. — Не возражаете? Ах, я ненадолго... — Голос у говорившего был грудной, красивый, не яркий, а скорее матовый. И какой-то ненастоящий. Вернее — необычный. Лево́й, прятанной до сих пор рукой незнакомец выхватил из-за своей спины графинчик и твердо поставил его перед собой.

Тут я хотел уже рукава закатывать. Лезут, понимаешь, всякие перебравшие. И вдруг смотрю — а Марго даже довольна, что хамло это уселось. Мигом вся такая располагающая сделалась... Аж руки потирает от нетерпения. А на лице — не одна, а как бы сразу несколько улыбок появилось! И меня своими глазами ехидными как бы приглашает тоже завестись, принять участие в спектакле.

А усатый:

— Ах, молодые люди, молодые люди! Неужели и вам здесь интересно? Притащить свою молодость не в лес, не в театр даже, а в злачное место... В каба́к! Я не со-

бираюсь поучать, мне хочется за вас молиться. Я говорю выпрени, зато — искренне!

— Видите ли... Мы ожидаем поезд, и вообще... — начал было я.

— Я тоже ожидаю свой поезд. Но предпочла бы заниматься этим в другом месте. Скажем, в саду, где сейчас доцветают астры. Однако я не о том. И не затем. Вы, молодой человек, подходили к Скородумову. А я, черт возьми, должна передать его... э-э... девушке, с которой он сейчас пьет коньяк... Передать ма-аленькую, ничто-о-ожнейшую записочку. Вот таку-усенькую. И не отчаивайтесь, в ней не будет ничего смертоносного. Не вибрируйте. Записку не придется глотать. Надеюсь, вы не хотите меня разочаровать... в своих джентльменских возможностях? Выручайте старуху. И... не нужно падать в обморок! Да, да! Я есть именно старуха. И — увы и ах! — жена великолепного Скородумова. Но я — веселая жена. Не сумрачная. И Скородумов меня уважает. Только вот я постарела. Деформировалась, говоря вашим инженерным языком. Вот и хочу я предупредить некую малышку-глупышку. Об опасности. Беретесь? Гуманный поступок предлагаю совершить. Когда еще подвернется, черт возьми, подобная возможность?

— Нет уж... увольте. Он и так меня почти... нецензурно встретил.

— Старик несдержан. Есть такой грех. Только — не ударит. Это уж будьте любезны: знаю как облупленного. Ляпнуть чего угодно может, а ударить, то есть по губам двинуть, постесняется. Воспитан. По стойке смирно. Могу пари заключить. Не сорвется. Старая закалка.

— Поручите мне! — встrepенулась Марго. — Вашу ма-аленькую записочку. Доверяете? Я как-никак тоже... в какой-то мере... артистка! Консерваторию окончила. Мне это — раз плюнуть! Хотите исполню?

— А молодой человек тоже артист? — осторожно заинтересовалась усатая старуха.

— Еще чего! — вскричал я, будто поскользнулся. — Артисты... Куда ни глянь.

— Не сердитесь, молодой человек. На артистов. И на художников тоже не гневайтесь. И на всех остальных блаженненьких. Не держите зла в сердце. Старайтесь

подняться над этим несчастным племенем... хотя бы в мыслях.

— Ошибаетесь. Нет во мне зла к ним... Напрасно агитируете. Я даже сам стихи декламировал. Болел этой заразой несколько лет.

— Я вам приключение предлагаю. Мужское. Соглашайтесь. Скородумов девочку провожает. На побережье. Вечерним скорым. А в полночь я сама, вместе со Скородумовым, отбываю туда же! А нужно знать: если я куда-то уезжаю, то уж за неделю начинаю ходить на вокзал. Читаю расписание. Кнопки справочного табло нажимаю. Сколько езды, скажем, до Талды-Кургана? Или почему билет в Кушку? И часть вещей заранее привожу в камеру хранения. Работаю я таким образом на вокзале и несколько неожиданно встречаю нынче Скородумова. А усы... Так это у меня — профессиональное. Из реквизита прошлого. Издержки воображения. Я ведь тоже когда-то комедии ломала! В Театре сатиры.

— Не нужно меня уговаривать. Я снесу. Давайте записочку. Но учтите: мне абсолютно все равно, кто куда и с кем уезжает... Кто кому любовницей или женой приходится. — Я посмотрел на Марго, которая презрительно пустила дым в мою сторону. — Меня просят — я делаю одолжение. Последствия меня не интересуют. Пусть этот ваш Скородумов реагирует, как ему вздумается! Давайте бумажку!

Обе женщины — и Марго, и старуха с усами — мгновенно просияли. Задвигали стульями. Загримированная жена артиста взяла неумело, двумя пальцами, графинчик — стала разливать по рюмкам водку.

— За успех! Так сказать, для смелости. А записку я сейчас придумаю. Минуточку... — Дама принялась шарить по карманам куртки. Наконец из потертых джинсов извлекла записную книжечку с миниатюрным перламутровым карандашиком. Когда она привстала, я обратил внимание на ее худобу. В том смысле что — стройная старушка, не кулебяка раскисшая...

— Дорогие мои... — растрогалась после глотка спиртного Скородумова жена, — вы думаете небось... спятила старуха! За мужем шпионит... Черт бы побрал все бабское на земле! Мне сегодня так хорошо... Так интересно. Я даже люблю, желаю, чтобы жизнь меня

время от времени терзала! Да, да, молодые люди... Принимайте меня за кого хотите, но согласитесь, что жить на земле — колоссальное удовольствие! Особенно в дороге приятно жить. Недаром я вокзалы приемлю с радостью. Я обожаю вокзалы! И вы правильно сделали, что коротаете время именно здесь, в этом муравейнике, а не в саду, где сейчас грустные астры. И лысеющие грядки. На вокзале я улыбаюсь! Для меня вокзал — это такой большой детский дом. Здесь я покупаю черствые бутерброды, толкаю людей. И меня толкают. Не дают уснуть. Не дают сосредоточиться. И правильно делают. Ибо в моем возрасте серьезные люди чаще всего размышляют о смерти. Здесь, черт возьми, позабываешь время! Позабываешь, что человеку надлежит раствориться. Без следа. В смысле оболочки. Говоря старомодным языком, в человеке бессмертна душа. Облачко. Которое он создает вокруг себя посредством разума. В этом бессмертии. Я нутром чую правду... Но я женщина. Старая слабая баба. И вот я приклеила усики. И наблюдаю за мужем. Как за блудливой собачкой.. Да! Наблюдаю. И мне — хорошо! Потому что я на вокзале. В движении. В этой карусели... Где все проездом. Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал: «Жизнь наша — временная станция»! А вот я ей, дурочке, и напишу. В записочке... Эти слова. Пусть настожится.

Скородумова вписала в блокнотик цитату из Гоголя, выдрала листочек и, проставив свою фамилию на обороте, протянула шпаргалку мне.

— А сама я тихонько уйду. Скородумов вот-вот домой кинется. Кто ему кофе сварит? По-гваделупски? В полночь — на поезд. А Скородумова после десяти в сон кидает.

— Умоляю! — сложила под подбородком ладони Марта. — Еще немножко. Минуток десять. Подарите... Вы — чудесная! Я вас никогда не забуду. — Марго спешила высказаться. Словно старуха ей рта не давала раскрыть.

— Не могла я вам понравиться, милая. Мы с вами чем-то похожи. Вы мне тоже... нравитесь. С оговоркой. Кстати, не знаю, кто вы? И ваших успехов не знаю. Может, вы — звезда? Нынче молодые быстро поднимаются: радио, телевидение. На чем вы играете?

— Я пою.

— А вокзалы любите?

— Еще бы! Все время в разъездах... Скажите, а тот юбоша... мальчик такой любезный к вам подходил недавно. Руку вашу гладил... Он кто?

— Это внук. Ему пятнадцать лет. У него трагедия. Месяц назад дружок у него застрелился. Из отцовского пистолета. Поставил пушку на предохранитель и решил Колю, внука моего, попугать. Говорит: застрелюсь, мол! Дуло себе в рот засунул и... нет мальчика. А был. Это у Горького в романе мальчика, может, и не было. А у родителей того самострела был мальчик. Да весь вышел... Предохранитель не сработал. Старая машинка. Времен войны. Коля мне первой все рассказал. Все да не все. На следствии выяснилось, что и он, Коля-то наш, дуло в рот себе совал... И курок тоже нажимал. Только предохранитель тогда удержал пулю. Нынешние гимназисты от прежних хоть и отличаются завидной эрудицией, только не спасает она, эрудиция эта, ни от наивности, ни от прочих иллюзий мальчишества... Силу воли проверяли. Друг у друга.

«Артисты, — подумал я, глядя на старуху, — кругом одни артисты! И что за порода людей такая? Лишь бы эффекты производить. А тут — десять лет за одним столом на письма отвечаешь. А писали письма кто? Вот такие ненормальные старухи».

— А мне такие мальчики нравятся! Беспокойные, интересные, — запела песенку Марго. — Пью за вашего Колю! И за его погибшего друга. А то порой и выпить не за кого. Но мир, Гришенька, не без ярких людей! Нет-нет да и мелькнет метеором разудалая душа. Пью за них! За всех героев! Больших и малых. Бывших и будущих!

— Ну, я понес записку...

— Погодите, дружок... — старуха отставила свою рюмку, накрыла ее бумажной салфеткой. — Не нужно такую записку отсылать. А с вами, миленькая, позвольте не согласиться. С мнением вашим о героях. Героев, черт возьми, гораздо больше, нежели мы наблюдаем... невооруженным глазом. Да, да, девочка... Их — большинство. И та баба, которая молча и бесстрашно рожала за чемоданами. Или вон дед замшелый... Колхозный. С ме-

далями. Чужому ребенку улыбается. Разве этот дед не герой? Улыбается... Хотя знает, не дурак, что жить ему осталось — самая малость: в любой миг сигнал может прозвучать. А мы с вами? Если беспристрастно разобратся, то и мы герои.

— Ну, это вы перехватили! — тут я презрительно улыбнулся. — Герои... За канцелярскими столиками... В нарукавниках. Пассажиры мы. Всего лишь. Едем кто куда...

— Не «кто куда», а в одном направлении. И бесстрашно! Вот говорят некоторые, что жизнь дана человеку как подарок... Будто жизнь — пакетик с мандаринами и шоколадкой. У Христа на елке. Человеческая жизнь — это прежде всего подвиг! Каждого, кто прожил, скажем, пятьдесят лет, нужно представлять к специальной медали. А ежели семьдесят выдюжил — к ордену. Каждого... Ах, черт... Дайте я вас поцелую, дружок. Как мама, — и полезла целоваться. — А эти... С пистолетом. Пушистые, светлые дети. О своих близких разве они подумали? Отец погибшего мальчишки инвалид теперь. В сорок лет ногу волочит... Герои, молодой человек, это те, кто жизнь уважает! И ради нее ничего не боится. Ради нее! Даже смерти. Но — ради нее. Иди, неси теперь записку. Нет, постой! Я другую ей напишу. Подобнее.

Я отнес записку. По дороге не утерпел — заглянул в текст. Старуха, пока я ходил, ушла из ресторана. Скородумов даже не взглянул на меня. Он принял меня скорее всего за официанта. Листок я протянул девушке. Она послание при мне читать не стала, скатала в трубочку. Потом даже в рот бумажку вставила. Как сигарету. Не иначе они перед моим приходом серьезно поговорили друг с другом. Девушка вся розовыми пятнами покрылась. Как поспевающее яблоко. А Скородумов глаза устало потупил, указательным пальцем левой руки затылок чешет.

Я вернулся к Марте. Она виновато мне улыбалась.

— Прости, Гришенька. Втянула тебя... Ненормальная. Это я — чтобы не скучно было. Обижаешься?

— А знаете, что она ей написала? Старуха — своей сопернице? «Береги себя, девочка!» И подпись: «Твоя мама».

В ресторане пробыли мы около часа.

Вдруг Марте захотелось подышать воздухом.

Спустились в зал ожидания, сунулись в дверь, над которой висела надпись: «К поездам».

И почти сразу же возвратились под крышу вокзала.

На улице, вернее на перроне, неприятно стемнело. Шел крупный холодный дождь.

Люминесцентные лампы на столбах серебрили влагу.

И мне на мгновение показалось, что город, землю обволокла металлическая паутина.

Внутри вокзала хотя и пахло дезинфекцией, испарениями тел и тряпок — все же это был живой запах. Не то что запах дождя...

— Знаете, Марта... Пойдемте со мной в гости. К моему приятелю на Арбате. Кружим по вокзалу как неприкаянные. А там у него хорошие книги. Старинные. Оружие, иконы. Неплохое собрание.

— Так он настоящий у тебя приятель? Разве ты его не выдумал?

— Он сам себя выдумал. Купит какой-нибудь журнальчик лохматый, екатерининских времен, и вносит в дом на вытянутых руках. Как дитя новорожденное. Уйдет в свой закуток, за шкафы книжные, а там и целует книжечку. В лохмотья. Об этом мне жена его насплетничала. А, скажем, прижизненного Державина обретет или Пушкина — в доме праздник настоящий! С пирогами, пивом, наливками. Два дня отмечают. Гости тоже нюхают, целуют попку. А за чаем вечерним чтение начинается. Ритуал. Сравнивают с нынешними поэтами, смеются до глубоких, искренних слез. Светят глазами, как старообрядцы на кострах! А затем идут блуждать по ночной Москве, выскивать дряхлые особнячки, где жили великие русичи, и, скажем, перед домиком Аксакова или Льва Толстого — падают в снег: сперва на колени, а затем и просто барахтаются, как дети. А с Терентием в итоге и вовсе комедия произошла. Приезжает однажды погостить. Смотрю: лица на нем нет. Не в себе человек. «Тереша, говорю, дорогой, что случилось?» — «Несчастье у меня, Гришка. Плохо. Хуже не бывает». — «Обокрали?» — догадываюсь. — «Из коллекции что-нибудь увели?» — «Вот именно — обобрали! Зря

на свете жил...» Я утешать, понятно... «Подумаешь, говорю, соберешь почище. Дело наживное». А Терентий мне и отвечает: «Эх, Гришка... Ты ведь знаешь, как я молился всему этому. Как гордился, что исконный, изначальный...» — «И что же?» — спрашиваю. «А липа! Никакой я не русский теперь! Бабка вспомнила. Век прожила — не заикалась, а тут и выложила, приберегла, груша сушеная! Француз я на одну четвертую! Наполеон! На двадцать пять процентов...» Я тут, конечно, заулыбался. «Постой, постой? — говорю. — И ты из-за этого скандалишь? Из-за чепухи такой?» — «Я жить из-за этого не хочу! Если бы не дети...» — и пошел. «Дурачок ты, Терентий, — объясняю ему. — Мне бы твои заботы! Во-первых, бабка могла и сморозить. Мало ли что человеку на девятом десятке взбредет! Терентий ты — натуральный!» — «Говоришь, Терентий я?! — радостно завопил книжник. — Веришь, что я Терентий?! Ну, спасибо!» — давай меня целовать. Вот так, госпожа королева. Такие у меня друзья в Москве. А теперь скажите мне, почему у вас немецкое имя?

— У моей тетки, сестры отца, имя и вовсе внациональное: Тракторина! И тоже — Королева. И деревня, где родилась она, — Королево. Русская деревня. А приятель твой лапти не носит? Хотя бы по ночам? Когда прогулки по Арбату совершает?

— Приятель мой — редкий человек. И не нужно его лаптями попрекать. И вообще, таких на Руси почитали. Пойдемте?

— Куда?

— К приятелю...

— Гришенька! Тебе разонравилось на вокзале?! Ты заскучал?

— Нет. Отнюдь. А про Арбат... Так я ведь в какой-то мере кавалер сейчас. Обязан развлекать. Функционировать...

— Кавалер? Это хорошо. Кавалер Гриша. Мне нравится. Мне приятно. И если ты действительно кавалер, сделай одолжение: побудь со мной на вокзале. Потерпи до утра.

— Так я же не спать уговариваю в гостях... Скотали бы время. А в полночь вернулись. Донюхивать...

— Здесь нам заранее диванчик нужно захватить.

Я стоя спать не умею. И тебе не советую. Мне бы... хотя бы... На твоём плечике. Поспать... Сколько лет мечтала.

— Скажете тоже...

Я машинально ошупал своё плечо. Ощутил нагло выпирающую ключицу. И, представив, как душистая голова Марго ляжет на мои кости, я испугался. И одновременно мне стало смешно. К тридцати трем годам я уже почти не краснел от смущения. Но все еще мог в минуты растерянности сказать при женщине какую-нибудь чепуху. Вследствие этого я все чаще держал язык за зубами.

Марго шаловливо пихнула меня, и я упал на диван возле хилого дедка. Старик потеснился, и мы с Мартой уселись.

Теперь справа от нас располагался старичок-колхозник в военной гимнастерке. На коленях у него, на манер подушки, лежал увернутый слоями ватник. Старик отшпиливал от своей груди медали, среди которых выделялся солдатский орден Славы. Он снимал свои знаки доблести и складывал на ватнике в одну общую кучку. Лицо деда, в изломах морщин, заключено было, как в раму, в серебристую бородку и такую же — полумесяцем, но сверху — челку. Живые, беспокойные глаза, наивно открытые в мир, выдавали в нем человека общительного и не сломленного временем. Он то и дело посматривал на окружающих, словно пересчитывал их, словно отвечал за них перед кем-то. Вскоре он не утерпел и заговорил, поясняя свои манипуляции с медалями:

— Побывали в столицах... Пофорсили в регальях. И достаточно. — Старик завернул награды в чистое вафельное полотенце. Убрал в кошелку.

Я боялся, что Марта вяжется с ним в разговор. Так оно, в общем-то, и получилось. Марго заинтересованно улыбнулась крестьянину, наивно полагая, что тот разговаривает с ней, а не с самим собой.

— Ой, сколько их у вас! Медалей... Такой военный дедушка...

— Бывший военный, красавица. Бывший. И военный, и вполне — бывший. На восьмом десятке семь лет

прожил. А ежели в корень смотреть, права ты, деушка: как есть воин я, воином и помру. Планида моя такая. А деревенские мы исключительно только по месту жительства, а унутренне — воин. Угадала ты меня.

— А почему, дедушка, ордена отстегнули? Сейчас так редко встретишь кого с наградами. Тем более с такими... У вас тут, кажется, и крест Георгиевский?

— Он самый! Егорий... Мотри-ка... Разобралась.

— У моего дедушки два таких было. Тоже не носил. Прятал. А чего стесняться?

— А чего их носить? Людей пужать? Это я в Москву намылился... Умник один с толку сбил. Глупости разные наобещал. Поезжай, скрипит, в совбес. Пенсии твоей повышение сделают. Вот и съездил. А в совбесе том — ни сном, ни духом про такое. Сам, козел беззубой, и виноват: послушал кого не надо... Вот ведь и пенсия у меня достаточная: на селе большей и не бывает. А послушал. Не заткнул уши-то... Засомневался. Не стерпел — поехал. Ну, да ладно... Москву нынешнюю повидал. Засиделся, поди-ко, в Гусихе своей. С войны только два раза и поднимался: один раз — на похороны... Вождя. Другой — вот за этой медалью. Двадцать лет меня искала. А я в своей Гусихе при коровьем стаде кнутом жажал! А тут совбес этот... Эх, думаю, чего уж! Одна нога здесь, другая — там... Сле-таю! Хлеба буханочку завернул и на позд. Теперь хлеб дешевый. А в войну-то, бывало, молились на хлебушек. Высшая сила в нем содержалась. Это нынче — разные ватрушки-завитушки! Не то хлеб, не то забава какая. А раньше, то исть в войну, — буханочка гробиком. Такая увесистая. Духмяная. Сурьезный хлеб, одним словом.

Дед замолчал. В себя ушел. В воспоминания о хлебе. И слава богу: балаболит, как радио. Ни на чем сосредоточиться не дает. Правда, я не мировые проблемы собрался обмозговывать. Проще. Скажем, за Мартой понаблюдать: кто она? Почему возникла? О чем ее глаза говорят? Смотрю, а Марго в старика мертвой хваткой вцепилась: сейчас разговор продолжать будет. Ну, я сразу же к газетному киоску засобирался. Не тут-то было! Марта руку мою берет, как гадалка. Гладит. Мягкой своей ладошкой. Тепленькой.

— Сиди, пуделек. Сиди, не двигайся. — Я съезжился. Ожидаю. — Сиди, мне возле тебя теплее. Дедушка, а медали — это что же, для солидности надевали?

— Для смелости. В Москве я робею. Вот и воевал за нее, а теперь пужаюсь... — улыбнулся старый солдат. Щетинистое кольцо его бороды сплюснулось, раздвинулось в щеках. — А народу, наро-о-оду! Вот уж истинно — Москва!

— Дедушка, — наседала Марго, — а вы что же, один приехали в Москву?

— А я и есть один. Женка еще при Сталине померла. Была другая одна, да сбежала. Думала, деньги у меня. А у меня тихо. По этой части. Я ить и выпиваю до сих пор. Когда очень захочу. И конфетки сладкие потребляю. А деток у меня тоже нету. Не дал господь. В богадельню меня было-ть наладили. Для престарелых людей — общее житие. У нас в райвоне. Домик чистенький. Покойный. Только не про меня. Куда я со своим хриплением в богадельню-то, к бабушкам?

— Не поняла я вас, дедушка... С каким «хриплением»?

— Сильно я храплю во сне. Весь домик... туды его... просыпаетца! Взбунтовались бабушки. А и — не больно-то хотелось! Заведения... Курить — на двор! Пару капель выпить... горяченького — вопче событие! Месяц опсуждать будут. Спать, вишь ты, — храплю не так. Да пошли они ко пречистой! Или, скажем, тако дело: у нас в Гусихе вода, ну, золотая! А в том приюте — одна известка в чаю. Хошь пей, хошь зубами грызи. Дома-то у меня самоварец...

— Дедушка, а поезд у вас когда?

— А поезд у меня в пять утра. Сейчас-то сколь?

— Двадцать часов пятнадцать минут.

— Это что же, вечер еще, выходит?

— Да. Поспать можете. Если хотите. Разбудим, ложитесь. Нам тоже до утра ожидать.

— На вокзале-то разве можно спать? Усну, дак и оберут. На вокзале таки подлеты шустрые... Бывало, в момент обиходят. У кого часы, у кого кошелек срежут.

— Вам не нравится на вокзале?

— А кому тут нравится, деушка? На вокзале нужда заставляет сидеть. Одна дума: скорей бы уехать. При нэпе, когда еще Ленин живой был, у меня здесь, на вок-

зале, новые калоши стянули. С валенок. Пока спал и — обработали. Молодой был, спать без памяти умел. Ну и храпел, понятно. А вор, он что? Слышит: человек храпит при спокое... разоспался, нет на ем тормозов... Ну и обихаживает.

— И не страшно одному? В деревне?

— Страшно? Исключительно, когда хвораю, боязно. В поясницу вступит или чего еще... На печь взбираешься, а назад слезть не чаешь. Ажно молитву какую вспомнишь. Дореволюционну. Ну, а коли отпустит — тогда чего бояться? Дровца потюкаешь, на огороде погнесся, избу обметешь... Самовар опять же... Газетка. Телевизор у меня. Вручили. Когда на пенсию вышел. Живешь, глядишь в дырочку... И не страшно. И добро бы так, хоть сначала. А потом — привычка у меня имеется. Навроде курения. Чуть что — сажусь. На лавку. И мозгую. Думаю. Вспоминаю. Мороз в стенку жажнет, глядишь, а мне — пишша! Война помстится. Какого-никакого дружка вспомнишь. Мимолетного. Пулей вдаренного. Или еще правду какую... Для разнообразия. Скажем, корзину плету, а сосед Герасим про космос плетет — наслухался, нанюхался и в ухо-то кричит знай. Быдто он сам тот космос собразил. А я, шалишь, ничего подобного. Сижу, киваю. А сам потихоньку с мамой разговариваю. С покойницей. Она меня за како ни шло балоство укоряет, а я стою ногти кусаю. Босой да свежий. Мальчишка совсем. Исцарапанный, как положено. С-под носу слеза светится. Улыбнись я ему... Невпопад. А Герасим, дурачок, озлится — чего, дескать, смешного, ежели на Луне никого не оказалось: одни камни и хочь бы кака блоха живая.

— Верующий вы, дедушка?

— Дак ить как понимать про то. Взрослые люди, они почитай все верующие. Во что придется. Смотри конечно — во что. В какую блажь или в истинную правду. Как людям удобнее, так и верют. Приспособились. С годами она, линия-то жизни, непременно закрепляется. Быдто рельса прямая лежит, не шелохнется. Приколочена.

Дед вынул из кошелки металлическую баночку из-под чая, извлек оттуда длиннейшую черную нитку, заранее вдетую в игольное ушко. Стал что-то ремонтировать на своем ватнике.

Марта тем временем уже откровенно прижималась к моему левому боку. Я сидел как парализованный, боясь совершить или сказать что-то разрушительное, отпугивающее. Правда, уж слишком за здорово живешь все это досталось. Глянул в окно — увидел красивый цветок. Руку протянул — и вот он у тебя на ладони. Подарочек... За какие такие заслуги? Смотри — любуйся. Да не вздумай пятерню в кулак сжимать: помнешь, погубишь. И выходит: вместо красоты призрак тебе достался.словно ветер к твоим ногам крупный денежный знак ни с того ни с сего подбросил. А нагнешься поднимать — сзади уже бегут. Благодарят и улыбаются. И отдаешь. Протягиваешь. За полмгновения успев привыкнуть к чужому.

Вряд ли Марта всерьез моей личностью интересовалась. Актриса, она роль играла. Для нее вокзал этот — эстрада, подмостки. Искусно играла, изящно. С каким непринуждением сходилась она с людьми. С чужими людьми.

Замер я. А ушами слышу странный разговор. Позади себя. За спинкой дивана. Женский голос:

— Юрий Макарыч, а я ваши сочинения в переплет отдала. Послезавтра изготовят. Читали мы. Вот Игорек вслух читал. Понравилось нам. Очень интересно. А сыночек говорит: пает у нас папа. Может, зайдете домой? Побываете? Заодно и побанитесь... Вон бельишко-то у вас какое серенькое выглядывает...

— Держи тридцатку, Маруська... И — попутного ветру! Бегите, бегите. Побаниться — понимаешь! Зима скоро. Буду южнее перебираться. Для начала в Харьков. Там вокзал хороший. Теплый да сытный. А к Новому году на побережье. В Геленджик съеду. «Па-ет!» Папка ваш — калека юридический! Отброс! Поняла, или по буквам повторить? И не нужно меня домой уговаривать. Вот мой дом! — Видимо, Салтыков сделал широкий жест и сейчас говорил о принадлежащем ему вокзалу, городе, а скорей всего — мире. Но, воспарив столь высоко, «пает» не замедлил вернуться на землю. Обращаясь к нешумной, я бы сказал смиренной, жене, бродяга добавил: — А ты, Маруська, не куксись. Каждому свое. Не переживай лишнее. Тридцатку свою получать будешь пожизненно. Вот так!

— Да разве ж в тридцатке...

— Ша! Не притворяйся. Изучил, знаю. Говорю: тридцатка — значит, тридцатка. Говорю: получишь — стало быть, получишь. Не заржавеет. А меня нету. Утонул я для вас, Маруська. В вине-океяне... И тридцаточка — она как поплавок.

— Несправедливо, Юрий Макарыч... Снитесь вы мне даже...

— Мне иногда война снится. А о чем это говорит? Ни о чем. Плохое на ночь скушал. Нет, Маруська, мне среди вас не доказать себя. Человеку хочется быть великим. Любому и каждому. Вот говорят, что человек уже тем велик, что он человек. А не жираф! А мне — мало! Понятно вам?

— Да понятно, чего уж там... Разве уговоришь блаженного? Счастливо оставаться. А мы пойдем, Игорек. Папа все еще обижается. Скажи папе: до свиданьца...

— И топайте! Может, вам такси вызвать?

По голосу я давно узнал Салтыкова. И если я все-таки позволил себе украдкой заглянуть за диван, как в замочную скважину, то сделал это исключительно не из бабьего любопытства, а машинально. Да и взглянуть-то хотелось не на «графа», который изрядно поднадоел, то и дело встречаясь в вокзальных закоулках, — интересно было увидеть, что там за жена?

Тут Марта захотела курить. Не успели мы в полный рост приподняться с дивана, как двое неизвестных с портфелями прошмыгнули нам за спины и с довольным видом уселись на наши места. Наверняка заранее целились, потому что не промахнулись.

Отойдя от дивана шагов на десять, я оглянулся. Оглянулась и Марта. Салтыков почти не просматривался. Из-за дивана мигал, как лампочка, краешек его лысины. Перед ним стояли двое: молодая женщина лет тридцати с неожиданной по нашим временам русой толстой косой, перекинутой вперед на грудь через левое плечо. Лицо не крашеное, натурального цвета. Рядом с ней, тоненький, с головой, пушистой от светлых кукольных волос, торчал неподвижно, как гвоздик, серьезный мальчик. Казалось, что все свои десять годочков жил он сугубо в одном направлении — только вверх, исключительно к небу.

— Обрати внимание, Гришенька, какое у Салтыкова трогательное семейство. Симпатяги какие...

— А ему скучно с ними. Неуютно.

— Ой! Вра-а-нье! Не скучно ему! — звонко пропела вдруг Марта. Да так, что многие обернулись на ее голос. В том числе и жена «графа» глаза подняла: будто камешки драгоценные сверкнули — такая голубизна вспыхнула. — Враки насчет скуки. Стесняется он их. Гордый. Так бывает. Человек споткнулся, в лужу упал. Ему руку дают, а он эту руку не берет. Сам выпрямляется. Хоть и скользко. Они вон какие здоровые у него да золоченые. А Салтыков болен. Страдает.

— Чем? Тунеядством? — съехидничал я.

— Он самим собой страдает...

— Да где это написано?! Фантазируете...

— Я знаю. Чужие они ему. Такие чистенькие. Удачные. Не доверяет он им. Была бы у него радость какая... Хоть самая заваливающая. Радостью бы он поделился. А печали свои не доверяет. Жена его — с виду женщина добрая. Теплая, терпеливая. Но — чужая.

— Может, он того... импотент?

— Несчастный он. Задуманное не получилось. Такой вот ребенок... Дитя человеческое такое...

— Лысое...

— Ну и что? Многие люди не успевают за жизнь повзрослеть. Надежд-то больше поначалу, нежели разочарований. Да и привлекательнее они, надежды. А там уж как пойдут подножки... Одна за другой. Большинство, конечно, приспособливается. Хватку приобретает. Сами других за горло берут. А те, в розовых-то очечках, все надеются. Все чего-то ожидают. Выхода из несправедливости.

— Хорошо. Согласен. Есть такие, которые сказками питаются. В эмпиреях туманных пребывают. Говорят, в России таких особенно много. Мечтательных. Меня другое удивляет. Даже раздражает. В вас.

— Такого не может быть! Во мне все гладкое. Я, Гришенька, для тебя приятная. Тебе со мной — вкусно...

— Вот-вот! Откуда такая безапелляционность?! Уверенность такая в своей правоте? Как будто вы насквозь — любого и каждого? И меня в том числе...

— Тебя, Гришенька, в первую очередь. Ты прозрачный. Все твои трещинки невооруженным глазом вижу.

— Черт с ним со мной! Салтыкова почему так, а не

иначе разглядели? А если он просто гнусный тип?! Беспутный шаромыжка? А скорее всего — безвольный слабак. Алкаш. Он и сам о себе так заявлял. Про алкогольный море-океан помните его слова?

— Наговаривает на себя. Такие уставшие, вернее, отставшие от поезда часто наговаривают на себя. Им от этого легче становится. Про себя такие люди уверены, что могут горы сдвинуть. Если захотят. А вот захотеть-то как следует и не могут.

— И откуда вы знаете... Тонкости откуда? Песенки поете, и вдруг — наблюдательность такая. Неправдоподобно, знаете ли...

И тут я отважился заглянуть ей в глаза. Марго смотрела на меня... материнским взглядом. Да, да! Мудрым, материнским. Смотрела, как бы извиняясь за свое превосходство.

Как-то по телевидению показывали состязание боксеров. Дрались, дрались. Долго. И один из них явно другого сильнее был. Ловчее. Эффектнее поколачивал. И победил. Свалил соперника. Но и сам расстроился. Чуть не плакал над поверженным. Такая виноватость на лице победившего светилась — просто ужас.

— Знал и я одного такого, уставшего. Все по редакциям ошивался. Якобы пьесы писал. Спросишь: ну как, Любимов, дела? «Все на мази!» — кричит, улыбается. «Полный о'кей!» — и руки потирает. Синие, замерзшие. «Теперь у меня порядок! На худсовете одобрили... И рецензии замечательные!» А у самого щетина седеющая, безнадёжная на скуле... Так и трещит под ногтями, так и чешется... «Все у меня теперь хорошо!» — улыбается. И так двадцать лет. Изю дня в день. И до гробовой доски. Потому что... за непосильное взялся. Не выдюжил однажды. А сознаться в бессилии духу не хватило. Лично я — сел и поехал. Более впечатлительные в газовую духовку голову суют. Люди попроще, без претензий, те вообще о другом стараются думать. В минуты разлития тщеславия. Я вот из всей музыки больше всего старинные вальсы люблю. «Амурские волны», «Осенний сон», «На сопках Маньчжурии»... Короче — духовой оркестр. И ведь Моцарта слушаю, Чайковского, Бетховена. И переживаю, когда слушаю. А вот вальсы обожаю! Плачу, когда в определенном состоянии услышу. И все мне видится какой-то провинциальный городской сад... в ко-

тором я никогда не был. Дореволюционный. Или, по крайней мере, довоенный... А в нем, в этом саду, оркестр духовой вальсы играет. Как где-нибудь в чеховской пьесе... И вообще, классиков наших, писателей люблю перечитывать. До умиления люблю и Тургенева, и Куприна... Особенно — Лескова... Читаю и думаю: неужели все это было? С живыми людьми? Такие слова, такие лица... Времена такие. Неужели все это имело место на земле? Я понимаю, что все это литература. Грезы... Что писатели мечтали. Ворожили. Что в жизни было все куда прозаичнее, нормальнее. Но вот поди ж ты, грезы эти — обожаю! Трепещу...

— И Салтыков трепещет, Гришенька. Потому и ночует на вокзале. А не рядом со своей Василисой Прекрасной.

— И откуда такие сведения? Вы что, знакомы с «графом»? Изучали его биографию?

И тут за пуговицу моего плаща ухватился некий тощий гражданин в интеллигентских очках с оправой под золото.

— Послушайте... Случайно документов не потеряли? Сегодня? После обеда?

Я машинально полез за пазуху доставать паспорт. И вдруг мне показалось, будто очкарик разыгрывает меня. Отпихнул я руку очкарика возмущенно, а сам вспомнить пытаюсь судорожно: о чем это я с Мартой беседовал?... И почему это мне приятно так с ней разговаривать было?

А дикий очкарик опять пуговицу на мне крутит. Ну я и пошел на него, как на привидение.

— Развлекаетесь! Да? Скучно-грустно? Хотите, в домино сыграем? Вот здесь, прямо на полу? Оставьте в покое пуговицу. Я с вами не играю.

— Не обижайтесь... Умоляю. Видите ли, целый день бегаю... Как угорелый. И хоть бы кто признался. Все шарахаются. Как будто я не документы нашел, а что-то неприличное...

— Да о каких документах речь? Что у вас там?

— Бумажник. Портмоне. А в нем, понимаете ли, документы и деньги. А я скоро уезжаю. В тридцать три минуты первого. Ночи. Моя фамилия Усыскин. Учитель географии. Вот, можете удостовериться... — вытаскивает Усыскин удостоверение. — Я ведь и плюнуть могу.

Не признаётся — не надо. Одно и заставляет бегать: жалко потерявшего. Рассеянных людей жалко. Народ бесшабашный. Это ж — разгильдяи! Такой солидный бумажник. И фамилия серьезная — Непомилуев! Представляете?

— И что же, так вот под ногами и нашли? — оттащила от моей пуговицы Усыскина Марго.

— Нет, не под ногами. Другое вовсе. Я на диване задремал. А когда проснулся, под головой у меня бумажник подушечкой. Чужой и незнакомый. Скорей всего, польской выделки. Растерялся я...

— А милиция на что? Обязательно весь вокзал на ноги поднимать? Отнесли, сдали дежурному. Там по радио объявят: «Гражданин Непомилуев! К дежурному по вокзалу!» Вот, закуривайте лучше... — протянул я Усыскину сигареты.

Очкарик задумчиво выудил сигаретку, вставил в рот не тем концом. Начал поджигать фильтр. Я нарочно ему не мешал: пусть горелой бумаги понюхает. Может, очухается.

— А вы знаете... Объявляли! По радио. Трижды. А в ответ — не поверите! Гробовое молчание в ответ... Нет, каков народец! Вы только представьте себе! Скажем, человек роняет золотую челюсть. Вы ее поднимаете. Протягиваете владельцу, а владелец ноль внимания... Я понимаю. Сравнение несколько неуклюжее, и все же...

— И все же спали бы дальше. Снесли бумажник и спали бы...

— Господи! Да как можно? Теперь я... отныне... в какой-то мере причастен. К чужому горю. Я взял чужое и отнес в милицию. А человек вернется за своим — и не обнаружит. Что ж это получается? Человек без документов. Без средств к существованию... А я, подлец, лег и сплю? Так, что ли?! Человек в несчастье... в дороге... В пути следования. Нет, разве теперь уснешь? А главное — почему именно у меня под головой? Да я от догадок разных вообще сон потеряю.

— Да пока вы тут суетитесь... может, владелец нашелся?

— Ни в коем случае! Это теперь надолго...

— Ну тогда я не понимаю. Ничего не понимаю! — разозлился я чуть ли не всерьез.

— А тут и понимать нечего. В милиции меня тоже не понимают. Принесли, говорят, и спасибо. А также до свидания. И навещать нас теперь излишне. А разве я теперь успокоюсь? Я теперь кровно заинтересован. Я уезжаю сразу после двенадцати. В тридцать три минуты первого. И моя теперь задача — передать эстафету в надежные руки. Вот вы лично, — и тут Усыскин вновь берет меня за пуговицу, как за ухо. — Когда вы уезжаете?

— Утром... А что, собственно?..

— Не могли бы проследить? Лично? С полной ответственностью. После моего отбытия? Чтобы со спокойной душой... Не беря грех на душу...

— Не могу.

— Не волнуйтесь, миленький... — и тут Марта сама взяла Усыскина за пуговицу. Я так и знал: ввяжется. — Мы все уладим. Уладим и обязательно вам напишем. Сообщим результат. Красивую вам открыточку опустим. С видами на Кавказский хребет. Договорились?

— Буду иметь вас в виду. Проследите... и с полной ответственностью. И не затеряйтесь в толпе. Учтите, в полночь, вернее в тридцать три минуты первого, меня здесь не станет! — и сумасшедший человек побежал прочь. А мы дружно переглянулись и, наконец, вышли курить на перрон.

Правда, возле выхода на перрон мы вновь наткнулись на Усыскина. Его остановила какая-то угрюмая женщина в белом пуховом платке с кистями.

— Слышь-ко, гражданин хороший, — подступила она к нему вплотную, — куда, значит, мне обращаться? О продлении билета?

— К дежурному по вокзалу, миленькая. Что же вы в голк не возьмете? Объяснял вам...

— Не русские мы.

— Это какие ж такие нерусские?

— Белорусы.

— И не понимаете?

— Не сразу.

Уже на перроне Усыскина чуть не сбил с ног мятущийся дедушка. В колотящейся руке старика болтался целлофановый мешочек с лимонами. Усыскин о чем-то спросил старичка. Затем развернул его вместе с лимо-

нами на сто восемьдесят градусов, и старичок бегом побежал в обратном направлении.

— Ну, с этим Усыскиным все ясно, — покосился я на Марго. — Люди к нему в официальном порядке уже обращаются.

— А мне нравится... Мне здесь все нравится!

Мы вышли из вокзала к железнодорожным путям. Я с удовольствием начал вдыхать сырой воздух. После вокзальных ароматов это было приятно. Незаметно расслабив петлю галстука и отвернувшись от Марты, резким движением снял я занудный предмет с шеи. Мерзлячка Марта наоборот — застегнула на все пуговицы замшу. Взяла меня под руку, зябко, я бы сказал основательно, прижалась ко мне.

И тут мы увидели нечто необыкновенное. Во всяком случае трогательное. По одной из платформ в направлении вокзала медленно шли двое. Низкорослый юный милиционер, румяный и застенчивый, бережно вел за руку крошечную девчушку лет четырех. В свою очередь малышка держала за руку старенькую неопрятную куклу, волочившуюся ногами по асфальту.

Милиционер ничего не спрашивал у девочки. Девочка ничего не говорила милиционеру. Скорее всего, разговор между ними уже состоялся и теперь наступила пора действий.

Девочка была худенькая. Серенькая. Личико имела удлиненное. Южное. Давно немытое. Одета в старенькие тряпочки, из которых заметно выросла. Рваный чулок на левой ножке непрерывно сползал, и девочка на ходу поддерживала его правым ботиночком, не выпуская из рук ни милиционера, ни куклы.

Марта как взглянула на них — так вся и зашаталась, побледнела начисто. Вначале я решил: от смеха корчится. Однако же смотрю: ничего подобного. Уставилась на девочку жадно. Запричитала, как бабушка:

— Господи... Неужели потерялась? Капелька такая?!

Белокурый милиционер вежливо остановился возле нас. Прикрыл свои румянцы ладошкой. Пальцы по лицу — веером. Глядя Марте на обувь, прошептал:

— В-вы знакомы... с девочкой? Не ваша случай? Мама ее за арбузом пошла... А ребенку погулять велела. На вокзале...

— Потерялась... Так я и знала!

Милиционер почему-то опять шепотом сказал:

— Извините... Мы еще походим, поищем... — и повлек девочку за собой. А та вдруг великодушным жестом протянула Марте свою куклу. Грязную. Как говорится — чем богаты, тем и рады.

И вдруг Марта заплакала. Вот тебе и актриса! Вот тебе и Марго! В толстой замшевой коже... Натурально заплакала. И в курительную комнату убежала. Бросила меня одного.

А девочка с милиционером пошли по новому кругу, как бы гуляя в огромном пространстве зала.

Вернулась Марта с отшлифованным сухим лицом, но беспокойство в ее глазах так и переливалось.

— Что это с вами? — перепугался я. — Уж не ваша ли девочка? Прошу прощения, что вторгаюсь... Может, что-то предпринять, если ваша?

— Моя! А чья же, Гришенька? Наша... Человеческая. Добрая. Куклу... Единственную! Не пожалела. Легко так протянула. Это ведь — женщина, Гришенька... Маленькая. Завтрашняя, но — женщина. Которых не только любят, но и бросают! Вот и ее бросили... Так рано. В самом начале.

— Так уж и бросили. Потерялась небось.

— Не все ли равно? Одна теперь...

— Не одна, а с милиционером.

— Не нужно притворяться. Тебе ее тоже жалко, Гришенька.

Мы стояли у ларька, где продавались сувениры. Лавочка уже закрывалась. Продавец опустила стеклянную заслонку окошка.

— Погодите! Постойте! — Марта постучала в прозрачную стенку магазинчика. — Мне бы вон то платьице... Расшитое. С орнаментом.

И купила платьице. Льняное. Совсем с ума сошла.

Вытаращил я глаза, естественно. Смотрю на происходящее испуганно. Хотя и с восторгом. А про себя улыбаюсь: что дальше? Какие номера?

Похоже, завелась дамочка. На меня едва смотрит уже.

— Ну, я пойду... — пустил я пробный шар. — Мне к другу на Арбат позарез нужно. А вы тут с девочкой и одна справитесь.

— Иди, Гришенька, иди... Тем более если позарез. Тогда ступай.

Вот тебе и актриса, вот тебе и королева Марго! Такие сантименты натуральные... С девочкой. А я-то пыжился... Вот тебе и поиграли в железнодорожную любовь!

Обидно. При первой встречной улыбке, пусть детской, от вас моментально отворачиваются.

Ладно. Плевать. Обыкновенная психопатка. Комедию ломала целый вечер. «Гришенька! Гришенька!» А встретила очередную забаву, и на сто восемьдесят градусов! Не мозги у человека, а калейдоскоп какой-то... Чуть встряхнули — и совершенно другая картина. Пускай потешится... Мне что? Я — своей дорогой. Она — своей. У нас и поезда разные. Мне лично на восток. Ей — гораздо южнее. И так небось всю жизнь встречных людей с толку сбивает. А все — вокзал... Здесь ты ни от кого не защищен. Любой на шею может кинуться: «Гришенька!» Дома ты закрылся на французский замок — и попробуй тебя достать. А на вокзале человек беззащитнее. Вот он и сжимается. Как ежик — клубком. На вокзале все аккуратные, тихие, скованные. Потому что любой на виду у всех остальных. Как на арене цирка. А кому охота быть клоуном добровольно?

Мне, конечно, и обидеться не грех. Но я не так, я по-другому решил: почертыхался негромко и пошел курить. На воздух. Благо Марта и впрямь догнала милиционера, направлявшегося в пикет вместе с девочкой. А мне в пикет не хотелось. Мне хотелось курить. И злиться. На себя. За то, что я такой беспомощный... в определенных обстоятельствах.

На перроне я встретил девушку. Она была гораздо моложе Марты и находилась под прозрачным, как мыльный пузырь, зонтиком. Ту самую девушку из ресторана. Которую провожал на юг артист Скородумов. Девушка циркулировала вокруг фонарного столба прямо напротив дверей вагона. На белой эмалированной дощечке печатными буквами было написано «Москва — Адлер».

Девушка жадно курила. Длинные, как распрямленная медная проволока, волосы, казалось, сшивали ее голову с землей, с бетоном платформы, и она, кружась и дымя сигаретой, как бы все время пыталась оторваться от места, на котором вращалась.

Не знаю, откуда во мне взялось такое (скорее всего, Марта раззадорила), но я вдруг почувствовал себя сильным и смелым. И мне захотелось если не приподнять эту красотку от примагнитившей ее земли, то хотя бы помочь ей добрым словом. Я вдруг ощутил себя этаким Микулой Селяниновичем. Славным мужчиной, способным на подвиг ради посторонних женщин. Хотелось, черт возьми, принести себя в жертву. Незнакомке.

И еще меня осенила гениальная по своей простоте догадка: если я мог привлечь внимание Марго, женщины яркой, редкой, не похожей ни на кого, то уж эту мечущуюся бабочку обработаю в два счета. Плевать, что все это не по моей специальности, что я не жуир. Что практики маловато. Действовать по наитию, как бог на душу положит, — в этом есть своя прелесть. По крайней мере — естественно. Хотя и коряво.

Я прикидывал, с чего начать разговор, как вдруг девушка, хотя и смотрела в землю, узнала меня.

— Шпионите?

— Нет... Покурить вышел. Как вас зовут?

— Убирайтесь. Нет... Постойте! Вы хорошо знаете эту... ну, старуху Скородумову? Жену? Какая она?

— Добрая. И даже веселая. Так что бойтесь прежде всего себя.

— Вы с ней давно знакомы?

— Несколько часов.

— Что?! Сочиняете...

— Я сочиняю за столом. В кабинете. Григорий Улетов! Журналист. Прозанк. Хотите, поеду с вами в Сочи? У меня командировка. На все четыре стороны. И до пенсии далеко... Ладно, не обижайтесь. Просто у вас лицо грустное. Такое пригожее... и на тебе — грустное.

— А записку ее читали? Старушкину? Меня Катей зовут...

— Читал. Это у меня врожденное. Один взгляд положил и как сфотографировал. Люблю по писанному читать.

Катя подняла голову, распрямилась. Прекратила вращение. Появилось ее ребеночье, непуганое лицо, перемазанное косметикой. Оказывается, глаза ее не были наглыми. Теплые глаза. И скорее — отчаянные.словно у загнанной в угол собачонки.

— Ну так спрашивайте... Чего же вы? Журналист...

Обожаю хищников! Ну, откройте зубки. Какие они у вас? Волчьи? Или шакальи?

— И все-таки, можно один вопрос? Ведь сейчас и расстанемся. Навеки. Ответьте... Только безо всяких. Как маме!

— Спрашивайте, песик.

— Это как понимать? Ругательство, что ли, модное?

— Спрашивайте.

— Скажите... А почему непременно Скородумов? Я понимаю: красиво... Но ведь и ненадежно. Почему — Скородумов?

— Есть такое старинное слово: чары. Слыхали небось? Не из вашего лексикона журналистского, и все же прекрасное слово...

— Понимаю... Имя, талант, густой голос, аплодисменты... Ну, а мужчина? Он же старенький для вас. Решили потерпеть? Во имя искусства? Ну, была бы дурнушка, а то ведь симпатичная...

— Да нет же... — и она, раздвинув шторы волос, посмотрела на меня так откровенно, и чисто, и безбоязненно, что я опешил. Синичка — птичка любопытная. Одна радость на лице. Радость жизни. И ничего больше.

— Да тебе лет-то сколько? Небось — пятнадцать?

— Было и пятнадцать. В свое время. А сегодня девятнадцать.

— Первый раз на юга?

— Первый.

— Хочешь, я с тобой поеду?

— Нет. Не хочу.

— Почему?

— Вы прозаянк... И вообще — трепло.

— Чары отсутствуют?

— Вот именно. И чары, и многое еще...

— Обижаете?

— Развлекаюсь. Чтобы не заплакать...

— Зайди-ка в вагон, девочка. Одна минута осталась. И старушку там, на море, смотри не обижай. Она славная.

— Она славная... — повторила Катя. И вошла в вагон.

Я намеревался помахать ей ручкой, как вдруг эта самая Катя, растолкав в тамбуре прощавшихся пассажиров, выскочила опять на платформу. В руке тощий,

с ввалившимися боками кожаный чемоданчик. Дорогостоящий. Наверняка Скородумова подарок.

И тут состав трогается. Проводница что-то кричит. Катя в свою очередь машет ей: успокойся, мол... И, ни слова не говоря, еще ниже прежнего опустив голову, почти касаясь волосами дороги, тащится к вокзалу. На что-то решившаяся бесповоротно.

Все получилось так неожиданно, что я даже не пошел за ней следом. А Катя через мгновение затерялась в толпе.

И я, вместо того чтобы развести руками, глупо и широко улыбнулся. На моем лице появилось что-то такое этакое: пробегавший мимо носильщик с тележкой почему-то развернулся и послушно поехал следом за мной. Видимо, решил, что я вот-вот свалюсь и он отвезет меня к стоянке такси.

В зале ожидания возле буфетного прилавка Салтыков покупал порцию сосисок, стакан кофе и пачку дорогих сигарет. Я оглянулся по сторонам, ища Марту. Тщательно обследовал одно лицо за другим, но поблизости моей бывшей соученицы не было. Ладно. Поищем в другом месте. А пока последуем примеру «графа». Со своими сосисками и кофе я нахально присоединился к Салтыкову, ударив стаканом по его стакану.

— За искусство, гражданин художник! Будем здоровы! А мне нравится здесь, в вашем доме... Идея пришла! А не пожить ли и мне тут? Как вы считаете? Не стесню?

— Что, никак не уехать?

— А зачем непременно куда-то ехать на колесах? Вы тут сами недавно о чем говорили? Сажусь, мол, на диван — еду! Ваши слова? Мне тоже на вокзале нравится. Не желаете на пару существовать?

— У вас пенсии нету.

— Будет. Рано или поздно...

— Вот когда будет, тогда и приходите. Лично я переезжаю отсюда. Уже и билет куплен. За десять суток. Заранее. Потому что я все продумал. Не с бухты-баряхты.

— В Харьков?

— Догадливый...

— Я подслушал. Когда вы с женой разговаривали. За моей спиной. Так получилось, не взыщите. Все ведь в одной комнате находимся...

— А вот подслушивать плохо... Не ожидал от вас. Дать бы вам по ушам за это...

— Да говорю вам: нечаянно! Что с женой? Не договорились о возобновлении?..

— А вот это не надо. Туда вас не просили... Выпил, что ли? Прешь, как на тракторе. Ешь какаву свою...

Маленький полулысый Салтыков едва доставал ртом до мраморного края стола, предназначенного для приема пищи в стоячем положении.

— А вы не обижайтесь. Я к вам по-братски... Без лукавого. У нас, журналистов, манера такая... На скорую руку все. Напор, темп! Ритм вырабатывается, почерк в поведении. Ну и боевитость, естественно. Со стороны такое наглостью отдает. Знаю.

— Журналист, говоришь? Наверняка стихи писал, да не состоялось... не вышло поэта. Небось ко дню Первого мая или Восьмого марта хореем лудил? Знаем мы вас, журналистов... Бывшие рифмоплеты. А ну, зачти мне свою стихенцию. Жми, жми, говорю. Не стесняйся. Потом я тебе почитаю. Ну, шпарь, чего уставился?

Смотрите-ка... Оскорбляет, лилипут. Вот шелкну тебя по курносине. Шпендрик какой... Добро бы я и впрямь стихами баловался, а то ведь напраслину возводит. Вот ей-богу шелкну! Занозистый какой мужичонка...

— «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана», — начал было я, но Салтыков оборвал:

— Ха! Пушкин! Думаешь, ханыга, на вокзале ошибается... так и Пушкина не читал?! А вот послушай мое:

Темный бор, за ним бугор.
На бугре крестьянский двор.
В синих окнах темнота
и подперты ворота...

Эй вы, сонные тетери,
отворяйте настезь двери!
Я вернулся из похода,
веселиться мне охота.

Тишина вокруг. Покой.
Ни собачки никакой.
Хоть бы жареный петух
потревожил криком слух.

Обойду сторонкой двор,
Сяду я да на бугор,
да открою лимонад —
буду весел, буду рад!

Стихи мне понравились. Чем? Неизвестно.

— Симпатичные стихи. Неужели собственного изготовления? Просто не верится.

— Мое.

— Малость частушками отдает...

— Чем-чем?

— Я говорю — частушками. Есть такой жанр. А сделано у вас крепко. Учились? Или самостоятельно?

— Я летать учился. Понял? А стихи — вроде лекарства... Заносит душа, стишок напишешь — и легче. Боль уйдет. На бумагу. Графоман я. Мне объясняли уже. Один грамотный дядя. Есть, значит, меломаны. Эти музыку любят. Смертельно. Есть, которые воровать обожают. Клеptomаны. А я графоман. Стихи пишу. Однако не ради стихов пишу. Ради себя самого. Понял?

— А с летным делом как же? Не получился из вас авиаман?

— Нет. Летать я не любил. Хотя и летал. Вначале меня страх туда притягивал. Затем, когда страх перешагнул, любопытство взяло. У человека ведь нету этих самых... крылышек. А чего нет, всегда иметь хочется. А любопытство накормил — скучно сделалось. Летал — работал. Терпел. Напряженка постоянная. Это ваш брат журналист как заладит: «Крылатая профессия! Соколы! Пятый океан!» А я тебе скажу: напряженка! Всю дорогу. Врач обнюхает. Измерит в тебе что надо. Ага! Еще не гремишь болтами. Глаза, уши не отвалились. Ну, фонарь задрайшь и — пошел свечой! Аж мозги плавятся. В итоге — дедушка. На нервной почве. А мне, дядя, на любой почве в таком состоянии жить не хочется! Понял?

— Зря вы это... Утрясется как-нибудь.

— Что утрясется?! Не мешок с крупой... Баба-то у меня молодая. Видел? Зачем ей печаль такая?

— Должна понять... если добрая.

— Да понимает она меня! Мозгами... И зовет. А я — нет! Я лучше под поездом умру. Не по мне такое унижение: возле жены дедушкой жить.

— Вот вы хорошие стихи пишете. Способности у вас. Вот и занимайтесь этим.

— А про то, значит, забыть советуете? Про жену?

— Ну зачем же... Жена от вас никуда не денется. Это вы от нее ушли. На вокзал. Меня ваши стихи заинтересовали...

— Балуюсь с издательства... Даже печатали. Один раз. Только чаще возвращали. Учитесь у классиков, так далее. А чему мне у них учиться? У них своя жизнь, у меня своя. Меня Юрой зовут...

— Знаете, Юра... А вы, если можно, еще мне прочтите. Только давайте лучше присядем.

Салтыков хитренько заулыбался. Глазки едва заметно вспыхнули. Несколько мгновений он как бы решался: связываться со мной или расстаться? Затем он резко потянул себя за бороду вниз. Голова подпрыгнула, спружинив на шее. Посмотрел на меня весело, даже шаловливо. Длинные прямые волосы, бледная лысина на остроконечном (яйцо на попу) черепе... Весь он был не солидный, нелепый. И если уж честно говорить — незаурядный. Из ряда вон. Интересный. По крайней мере для меня. Второго такого на вокзале не было.

— Юра, давайте с вами чего-нибудь выпьем. За встречу. Я лично соку томатного. А вы коньяку...

— После. Да я и не шибко по этому самому... Туда только занырни. Меня и милиция терпит, потому что знает: не очень я заливаюсь. Да и опасно в моем-то положении. Вокзал тебе не кооперативная квартира, а натуральная коммуналка. Здесь тебе все казенное. Любой «подвинься» может сказать. А выпивши — как ты подвинешься? Выпивши ты нехорошими словами можешь выругаться. Или еще чего...

Уселись мы у одного спящего в ногах.

— Юра, скажите мне... Вот у вас в стихах озорство, лихость... А Родину вы любите?

— Это как же... Смеетесь? Или на пушку берете?

— Нет, не смеюсь. Я ведь не рехнулся еще...

— А зачем тогда вопросы такие? Крайности зачем? Ну — опустил. Ну — прикидываюсь. Мне так приятно. Я на заслуженной пенсии. Мне многое теперь можно. А Родина тут при чем? Она меня терпит, и спасибо. Понял?!

— Вопрос как вопрос... И чего мы стесняемся таких вопросов?

— Такие вопросы ты самому себе задавай. Взрослый мужик, а болтает неизвестно что. Разве про это говорят? Про это думают. Понял?

— Нет.

— Вот — земля... То есть камень. — Юра нагнулся к вокзальному полу, похлопал по нему ладошкой, не стесняясь. — Это вот Москва. Усек? И она меня держит на себе... Москва — жизнь. Камни, провода, рельсы — это детали. А вон там вон... по шпалам отойди от нее — поля, березы начнутся. Больше всего на свете люблю жить. Проявление жизни люблю. Сплю. Какая-нибудь тоска приснится... Глаза откроешь, а на полу, возле твоего носа, муха сидит! Живая... Вот — радость. Вот где любовь! Понял? Вот слушай:

Ночь на каменной дороге.
Горы. Ниже их — вода
Бьется сердце. Ходят ноги.
Двигут тело.
А куда?
Тянут за душу цикады.
Зреют груши. Я их ем.
Жить на белом свете надо.
Понимаю.
А зачем?
Ночь. Попутка. Интересно:
остановится авто?
Тормозят. Сажают в кресло.
Пожалели.
А за что?

Дочитав стихотворение, Салтыков почему-то замер, как парализованный. Я проследил за его взглядом: «граф» внимательно смотрел через меня на спящего мужика, который лежал на диване, протянув ноги во всю длину. Блестящими лакированными ботинками лежащий почти касался моего бедра. Оказывается, с его головы каким-то образом соскользнула шляпа, еще недавно прикрывавшая физиономию.

Я продолжал смотреть на Салтыкова в ожидании стихов, когда заметил, что глаза Юры ненормально расширились.

— Мужик-то мертвый... — шепнул «граф», словно боялся разбудить спящего.

— Сразу и мертвый... Скажешь тоже. Нездоровится человеку, плохо выглядит. Больной. Может, «скорую» вызвать ему?

— Да нет же... Не больной. Труп. Пошли отсюда.

Пересилив страх и отвращение, я еще раз внимательно осмотрел лежащего. Синие губы не смыкались. Нос худой, острый. Кожа на лице без крови. Неподвижные глаза так же неплотно закрыты веками, как и губы на зубах. Похоже, что — да... мертвец.

Салтыков резко наклонился, поднял шляпу с пола, положил ее на неживое лицо.

Старушка, жевавшая на противоположном диване баранку, сморщилась в улыбке, общительно качая головой.

— Сморило голубя. Не иначе лишка принял, сердешный. Гляико, баретки лакированы! Не стянул бы хто... Богатый мушшына! В шляпке. А не соблюдает себя...

— Тут милиционер ходил. С девочкой... Не видел, где он теперь? Заявить надо... — начал было я, когда мы с «графом» поднялись и пошли прочь от жуткого места.

— Заявляй валяй. Только меня в это дело — ни-ни! Мне в Харьков ехать. А здесь следствием пахнет. Мне такая халтура без надобности.

Однако события дальше развивались совершенно самостоятельно.

Маленький постовой, розовый и непрерывно как бы смущенный, как бы стесняющийся своей должности, тот самый, что водил за руку ничью девочку, неожиданно вплотную придвинулся к нам, оказавшись абсолютно одного роста с «графом».

— Вы бы, товарищ Салтыков, вместе с кроватью сюда переехали. Со всей обстановкой семейной. Со всем коллективом домашним.

— Нельзя. Не пропишут.

— То-то и оно-то... Сколько вас можно предупредить? Пришли на вокзал, стало быть, куда-либо уехать должны.

— Не маленький. Незачем меня просвещать... У меня все тип-топ. И прописка, и пенсия. В смысле доходов...

— А почему тогда на вокзале постоянно?

— Скоро уеду.

— А вы... гражданин... — застенчиво улыбнулся мне страж порядка.

Тут я не сдержался и выложил постовому про покойника.

— Видите ли... — зашептал я трусливо. — Если я не ошибаюсь... Там, на скамейке, мертвый человек.

— Ну, я пошел... — повернулся идти Салтыков.

— Чего, чего? Куда же вы? — постовой попридержал Юру за рукав. — Где мертвый? Договаривайте. Если не шутите.

— На лавке мертвый, — махнул я рукой в пространство зала. — Во-он там. Спит. По крайней мере так нам показалось.

— Что спит, показалось?

— Нет. Что — мертвый. Шляпа у него с головы упала. А лицо голубое. Я думал, от дневного искусственного света. А пригляделся: ничего подобного — умер гражданин.

— О чем это он? — обратился милиционер к Салтыкову. — Вы тоже видели... мертвого?

— Не знаю. Лично я только с живыми общаюсь. Он видел — он пусть и покажет.

— Прошу. Показывайте оба. Если не шутите...

Я пошел впереди. Два коротыша (постовой взял «графа» за руку) двинулись следом за мной. Я мерзко заискивал перед милиционером, без конца оглядывался, размахивал руками.

— Сейчас увидите... Я сам вначале не поверил! Вот сюда, товарищ... Лежит, понимаете ли... В общественном месте. А кругом дети, старики. Запросто напугать может. Я здесь проездом. Поезда жду. И вдруг — такое дело! Сели вот с ним отдохнуть... Возле этого самого, который лежит. Да вот и бабуся подтвердить может. Минут пять и посидели около... Пока у него шляпа с головы не слетела. Смотрим, а он — того...

— Сейчас «того», — стыдливо усмехнулся милиционер, топчась возле прикрытого шляпой мужчины, — сейчас «того», а через пять минут встанет и закурит. Где не положено. Или мимо урны пол перепачкает. Встречали мы таких. Наберутся в городе и лягут на вокзале. Нет чтобы выпил и уехал. В свою Сибирь. А здесь и так яблоку негде упасть, — и тут постовой, приподняв на мужике шляпу, приставил свое горячее ухо к чужому холодному носу.

— Непонятно. Ничего непонятно. Не дышит вроде... гражданин.

— А чего ему теперь дышать, если он умер! — улыбнулся Салтыков.

— Кто видел, как он... того... умер?

Старушка перестала жевать. С куском недожеванной баранки за щекой онемело хваталась за свои вещички. Начала что-то судорожно увязывать. Потом так же судорожно целую минуту крестилась.

Постепенно собиралась толпа.

— Граждане! Прошу руками ничего не трогать! — Молоденький постовой галопом ускакал, чтобы затем вернуться с дежурным по вокзалу и капитаном милиции.

Толпа росла. Теперь отсюда можно было незаметно исчезнуть. Но что тогда подумает маленький постовой? К тому же я вовсе не хотел уходить, не предупредив Марго. Да и куда уходить? К другу на Арбат? Мешать ему воспитывать детей? Отрывать его от букинистической книги? Нет. Каждому — свое! А потом смерть эта вокзальная, небывалая, никем не объявленная, не зафиксированная, одинокая смерть подействовала на меня оглушающе! Я не то чтобы растерялся или струсил, я сам наполовину омертвел в тот момент.

Человек лежал среди живых, и то, что его уже не было, этот страшный, холодный факт скрывала от людей какая-то там шляпа! И стоило только убрать шляпу, как смерть понеслась, завизжала на людей, как бомба! Через считанные минуты о ней уже говорил весь вокзал. По крайней мере все, кто ожидал поезда, за исключением спящих.

Конечно, я человек современный: пуганый, послевоенный. О смерти наслышан, не единожды рассуждал о ней с товарищами и сам с собой. Фильмов и книг про это хоть отбавляй. И все ж таки нехорошо. Тревожно и обидно. За живое обидно. Ходил, ездил... Ботинки блестящие обул. И вдруг умер. На вокзале. На жестком диване. Вот, мол, вам, товарищи пассажиры! Вы тут за чемоданы хватаетесь, за кошельки да кошелки... А вот вы теперь за сердце хватаетесь. Потому что это не только я умер, а и все мы — каждый в отдельности — в любой момент таким макаром загреметь можем.

Поискав глазами Салтыкова и не найдя его рядом, я вдруг увидел Усыскина, того самого учителя, который

у всех про документы спрашивал. Такой длинный и на редкость тощий. Костяной. Теперь ведь как: пожилые люди, кого ни возьми, все с жирком. С животиками. Сытно едят. От души. И если уж ты встретил доходягу, то непременно подумаешь: язвенник. Или того хуже — неврастеник. Короче говоря — большой.

А Усыскин-то, Усыскин! Растолкал любопытных — и к покойнику. Сейчас документы потребует, не разобравшись. Шизик неуравновешенный. Отец у меня тоже худой был. То есть худощавый. Геолог, всегда на ногах, в странствиях. Он и теперь, наверное, без этих самых, без отложений. А впрочем, и геологи жиреют. Я это почему отца вспомнил? Потому что — о себе подумал. Каким я после сорока сделаюсь? По теории наследственности. А отец... И где только человек шляется? С сыном, с сестрой родной — в переписке не состоит. Понятно. Нелюдим. И сестра, и сын люди взрослые. Самостоятельные. Но ведь и ничего они от пропавшего не требуют, кроме одного: дай знать — жив ты или нет? В каком времени о тебе разговаривать: в настоящем или прошедшем? Наверняка без семьи... Старый, неуживчивый. Неухоженный. Вот так, как этот на диване... Ляжет и — до свидания.

А Усыскин шумит! Вот беспокойная голова... Общественник жуткий!

— Заявляю! — кричит. — Во всеуслышанье! Именно этот человек, — показывает на мертвяка, — потерял документы! А я, идиот, бегаю, спрашиваю всех. На неприятности нарываюсь. Его документы! Узнаю по фотографии. И деньги его! То-то я кричу, спрашиваю: чей бумажник, чьи документы? Да разве такой откликнется? Я сразу неладное почувствовал. Кому бы это от своих документов отказываться? Отмалчиваться? Тем пуще — от денег? Хоть и небольшие, но — денежки. Сумма. Обладающая покупной способностью.

— Да помолчите, тихо! — еще краше заалел молодецкий постовой. — Не нужно шуметь... если можно. Вы мешаете.

Пришли санитары с носилками. Сунули под нос телу (для страховки) вату с нашатырным спиртом. И неожиданно для всех «мертвяк» чихнул, придя в себя. Что тут было! Многие развеселились. А были и такие, что как бы обиделись. Словно в чем-то их безжалостно надули.

Я искал Марту. Мне хотелось поделиться с ней комизмом увиденного. Но в зале ожидания теперь ее не было. На улице не унимался дождь. Мокрый ветер выметал с платформы курильщиков. Из отверстия подземного перехода выбегали пассажиры пригородных электричек и резво, а то и вовсе бегом направлялись к вагонам.

Когда позднее я вновь столкнулся с маленьким милиционером, пришлось познакомиться с ним короче.

— Улетов! — протянул я ему ладонь.

— Конопелькин! — не протянул он мне ничего.

Скороговоркой, как старого знакомого, спросил я его:

— Беспризорную девочку, ничью, куда отвели?

— Куда надо — туда и отвели. А вас вот, к примеру, тоже разыскивали. В протокол на пьяного занести хотели. Кто первый тело обнаружил? Куда ж вы подевались?

— Можете заносить. Я не отказываюсь. Только не я первый увидел, а Салтыков Юрий. Бывший летчик. Он и обнаружил.

— Без надобности уже. Оформил с бабушкой. А Салтыков скорей всего никакой не летчик. Инвалид он. В летчики таких маленьких не берут, — сказал постовой, привставая с каблучков на носки.

— Интересно, отчего смерть... то есть такое сильное опьянение наступило?

— Не знаю. Без признаков жизни лежал. Его уже как труп оформлять начали...

— А документы, что же, действительно его? Которые Усыскин откопал?

— Его, «покойника» документы. Видать, он ранее на одном диване лежал, а потом на другой перебрался. Может, когда ворочался, вот и выронил. Не до бумаг было. А ваша женщина, которая к ребенку привязывается... в пикете они. Платье девочке подарила.

Что ж... Мне эту ничью малышку и самому жалко. Но чтобы до такой степени... Родился я вскоре после войны. Вокруг меня и в школе, и во дворе полно было сирот, безотцовщины. Да и сам я рано без матери остался. С символическим отцом.

Что бы там ни рассказывали профессиональные пессимисты, сама жизнь в стране за эти тридцать лет моего

повзреления постоянно изменялась в сторону материального благополучия. Из коммуналок жильцы перебирались в отдельные квартиры. Хлеб в стране сделался настолько дешевым, что им стали кормить свиней и коров. Люди все реже ходили пешком и все чаще ездили, плыли или летали. Работая в газете, я прочел массу писем. В том числе и страшных. Но письма оставались письмами: буквами, знаками на бумаге. А жизнь по всем приметам улучшалась. Летом было много цветов на улице. Зимой много чистого снега и детских румянцев. Мы служили, проводили собрания, встречи с героями, артистами. Обедали сытно. Иногда в буфете нам продавали бананы. Затем коллективно просматривали дефицитные фильмы. И я не то чтобы забылся в текучке — просто изжил в себе представление о том, что люди на земле все еще обманывают друг друга, предают, бросают маленьких детей, подкидывая их государству. В любви изменяют. Наконец — умирают на вокзальных лавочках. Умом-то я знал про все это. А вот содрогнуться от конкретного ощущения такой правды — не содрогнулся ни разу. А ведь все это происходило и теперь. Только ушло подальше от сцены, от глаз жизни.

И получается, что я, Гриша Улетов, жил все это время, как спутник над поверхностью земли, над правдой. . . А может, и — над смыслом бытия. Витал.

В последнее время, однако, я все чаще оглядывался, озирался. Во мне уже не было прежнего покоя. Я уже не верил своим глазам, рукам, мозгу. Себе не верил. Какая-то сила неумолимо поднимала меня над собой. И вот — вокзал. В итоге. Порог. Жажда иной жизни. Жизни — живой, зримой, явственной. И уже на пороге сколько всего подступило, ударило по глазам и сердцу!

Почти бегом направился я в пикет. Искать Марту.

Они сидели на казенном диване и ели мороженое. Марго и девочка. И разговаривали. Малышка отвечала отрывисто. Словно огрызалась. Но огрызалась, если так можно выразиться, ласково. Иногда в разговоре хлопала ручонкой по красивой ноге актрисы. Но тут же и отдергивала ладошку, словно боялась обжечься. Затем осторожно выглядывала из-под черных, больших для такого крошечного лица бровей. Задрипанную куколку поместила между Мартой и собой. Льяное, серой белизны,

платице делало девочку некстати нарядной, непохожей на себя.

— Товарищ капитан! — воскликнул я неожиданно, да так, что в какой-то мере даже напугал капитана. У него даже карандаш из пальцев выпал. На стол. И по стеклу покатился.

— А вы кто такой, извиняюсь? Супруг? Папа, что ли? Кто вы-то будете?

— Я друг! Я все понимаю...

— Ах, друг... Друг семьи? Понимаете? И я понимаю. Вы что же — удочерить ее хотите? Мы девочку в специальное учреждение передаем. Где о ней заботиться будут. Люди со специальным образованием. Покуда мать не объявится.

И вдруг малышка, тронув Марту за руку, спокойно так и даже строго спросила:

— Ты мама?

— Мама...

— А где моя мама?

Девочка неожиданно протянула ко мне ручонку, потрогала мои волосы.

— Кра-ашеные?

Марта чуть со стула не скатилась. Так ей понравился вопрос девочки.

— Что ты, Галя! Это у него свои такие. Белые да кудрявые. Его в школе знаешь как звали? Пуделем! Это собака такая кудрявая.

— Зла-ая?

— Нет. Наоборот совсем. Пудель — добрая собака.

— Ты собака? — уже не стесняясь, спросила меня маленькая пересмешница.

— Да как сказать...

— Ну, разве не прелесть! — хлопала в ладоши Марго. — Человеку всего четыре года. Слушай, Гришенька. Наклонись-ка, дружок...

— А я зна-аю, про что вы говори-ите!

— Знаешь?! Скажи, скажи нам, про что?

— Про любо-о-овы!

В вокзал со стороны улицы вошел какой-то взъерошенный — рубашка до пупа расстегнута, — красный, «парной» дядька. Бархатные рыжие брюки падали вол-

нами на летние босоножки. Пиджак из старенького разношенного твида разлегся на широченных плечах, как бабий платок. Из-под расстегнутой рубахи клубились серебряные седые волосы. Лицо было довольное. Словно человек пришел к хорошо знакомым людям в гости, где его всегда принимали с распростертыми объятиями.

Он прошел к буфетному прилавку, где буфетчица почему-то прекратила торговлю. Потребовал стакан кофе. Продавщица почему-то не заругалась, как обычно. Молча нацедила напиток, внимательно рассматривая покупателя. Человек бросил монету на стойку и, отойдя к мраморному столу, весело поднял стакан, словно собирался произнести тост. И действительно заговорил. Напористо, увлеченно. И главное — без предисловий.

— Граждане пассажиры! — разбитым, потрескавшимся тенором объявил он. — Поздравляю вас с величайшим праздником — Днем зайцев! А также с наступлением замечательного времени года — дождливой, промозглой осени! Ура, граждане! Давайте-ка выпьем. Не все ли вам равно, за что пить?

Несколько человек проснулись. Одни приподнимались на руках, дико озираясь. Другие деликатно, даже как-то исподтишка, неназойливо рассматривали ненормального выскочку. Третьи, более ровно, плавно вышедшие из состояния сна, успев сориентироваться, смотрели на дядьку, потирая руки и улыбаясь благодушной улыбкой зрителя, купившего билет: такому что теперь ни покажи, он все примет с должным достоинством.

Женщины заботливо укрывали детей. Кое-кто посмотрел-посмотрел и отвернулся. Но вот что интересно: все, абсолютно все молчали. Как рыбы.

Дед, еще недавно снимавший со своей гимнастерки медали, сделал возле уха ладонь раструбом и жадно прислушался.

Сам же оратор, хлебнув кофе, удовлетворенно крикнул. И вновь поднял руку. Но уже без стакана.

— Граждане пассажиры! Сегодня я прочту вам лекцию: «Есть на земле бог или его нету».

Среди людей и котомок, ловко лавируя и смущенно улыбаясь, пробирался к выступавшему верзиле рядовой милиции Конопелькин.

Дядя в рыжих штанах, увидав Конопелькина, не то чтобы заторопился, правильнее будет сказать — собрал-

ся. Руки его мощно облепили мраморный диск столика. Плечи развернулись, как перед бурей. Голос окреп.

— Почему бога нет? Потому что его никто не видел. Ну, а если его нету, тогда почему об этом самом лекции читают? Очкарики разные? Раз нету его — и не трави! Не колышь душу. Читай лекцию о вреде алкоголя. Да здравствует международный День алкашей! Урра!

— Кто это, не знаете? — спросил я у Конопелькина, с которым рука об руку приближался к говорившему.

— А... да так. Ненормальный один. Фалалеев. В общем-то, прикидывается. И штрафовали, и задерживали. А в месяц раз — обязательно выступает. С полочки. Одним словом, с тараканами в голове дядя. Веселится.

— А я так вам скажу, дорогие граждане пассажиры! — надрывался из последних сил Фалалеев. — Если бога нет, тогда никто меня здесь не тронет. А если он есть, тогда придет милиция и заберет Фалалеева к себе в дежурку.

— Хватит, Фалалеев, кричать. Людей приподняли...

— Вот! Прошу убедиться! Бог есть, граждане пассажиры. Теперь вам понятно, как высшая сила выглядит? Вполне симпатичный боженька. Ну, хватай... Возноси!

— Никто вас не забирает. Сами уйдете. Нажгу на пятерку. За нарушение тишины...

— На! Вот тебе пятерка! Цапай, лапай! Десятка вот! Угощаю. Навались! Боги гунявые!

— Слышь-ко, паря... — к Фалалееву подобрался дед в гимнастерке. — Ты чаво ломаисси? Вон — грудя седые, а туда же... Постыдобился б деток...

— Ах, тебе не нравится, моховик?! — развернулся, как танк, в его сторону Фалалеев.

— Не нравится?! — взвыл дедок не своим голосом. — Погано глядеть на тя! Да я б тя на помойку! Своими руками снес... Выпихнул. Кабы помоложе годами...

— Вот то-то и оно — «помоложе». Бодливой корове боженька рога отпилил. «Кабы помоложе!» Ты меня, подосинович, сейчас отнеси. Ну, ать, два — взяли! Кишка тонка, хрен вяленный. Ну, бери, оформляй! Только смотри галифе не порви. От натуги.

— Ды ты ж это кому советуешь такое, кому баишь, рожа наетая! Ветерану! Солдату Красной Армии! Да я сюда... на вечный огонь посмотреть приехал. А ты меня

чем обливаешь, пачкун? Да я тебе глаза поклюю! — кинулся дед на Фалалеева.

И, как ни странно, Фалалеев сник. Он даже не оттолкнул старика. Умиrotворенно сдюжил, стерпел несколько петушинных его наскоков. Поправил на плечах хулиганский свой пиджак. Оставив недопитым полстакана кофе, Фалалеев выхватил из пластмассовой баночки грубую, почти картонной крепости, салфеточку, провел ею у себя под носом. Рыжая щетина усов весело затрещала под бумажкой.

Неожиданно присмирив, Фалалеев направился к выходу из зала, бормоча в кулак:

— Ничего себе... Если ветераны так кидаются... Тогда никакого бога в помине нет, граждане пассажиры... Тогда мы, как говорится, уходим... В мир иной.

И ушел. Даже не хлопнув дверью.

После пикета мы как бы почувствовали себя виноватыми. Марта невесело улыбалась. Было такое ощущение, что нам немного стыдно друг друга.

Задержавшись у газетного киоска, Марта купила польский журнальчик «Кобета», нашла себе местечко, уселась, как бы решив отдохнуть от происходящего. И от меня в том числе.

А я двинулся к курилке и там, за дымовой завесой, встречаю высокого парня с кривым поломанным носом и двумя мелкими шрамчиками на некогда зашитых губах. Залихватское такое лицо. А глаза добрые. Стоит он, значит, в дыму, как вершина горы, и смотрит, улыбаясь, на меня. Именно на меня. Бывает такое: человек к тебе безо всякого повода пристаёт с добрыми намерениями. Пообщаться хочет. Ну, я не стал противиться. Отчего же не пообщаться?

Сели мы на скрепленные друг с другом стулья с откидными сиденьями. Курим. Он улыбается мне. Я — ему.

— Женился вот... я.

— Поздравляю.

— Я не пьяный. Не подумай...

— Не подумаю.

— Лютоболотский!

— Улетов!

Тут он сделал пугающе строгое лицо. Собрал губы в трубочку. Кривой нос его как будто даже выпрямился

на мгновение. И вдруг малый разом отпустил хмурь с лица. Черты его расплылись в неподдельном веселье, вспыхнули зубы, шрамы. Лютоболотский доверительно тронул меня за край плаща. Протянул сигареты.

— Расписались мы... с Людмилой. И теперь ко мне — на Камчатку! Свадьбу играть.

— А чего ж это в такую даль поездом? На Камчатку — самолетом летают.

— Свадебное путешествие! Читал небось, за границей, после как поженятся, в путешествие сразу? А мы чем хуже? Они куда-нибудь в Африку, слонов фотографировать... А у нас своей земли — ехать не объехать. Разве что слонов нету — вот и вся разница...

Сидели мы возле самых дверей. И тут в щель между створок женская рука в красном пальто просовывается. Берет Лютоболотского за локоть и выводит из туалета. А я к Марте вернулся.

Близилась полночь. Нужно было подыскать место для отдыха. Но если днем люди на вокзале в основном сидели или стояли, то теперь большинство из них легло, и отыскать несколько сантиметров незанятой диванной площади не представлялось возможности.

Проходя мимо сидевшего на корточках Конопелькина, мы невольно остановились. И прислушались. Рядовой милиции внимательно заглядывал под диван, нагруженный телами. Заглядывал, как под машину. И еще он — разговаривал. Сам с собой.

— А я предупреждал... Да, да. Я тебе каждый день о том толкую. Нельзя на вокзале собакам. Без хозяина нельзя. Непорядок. Меня за это начальство драит. А ты, Жулик, несознательная собака. Опять пришел. На глаза попадаешься... Вставай давай... Нечего глухим притворяться.

Из-под дивана нехотя вышла собака. Средних размеров дворняжка. И абсолютно черная. Без единого пятнышка постороннего. Выделялись одни только желтые глаза. Они смотрели виновато и с явной надеждой, что Конопелькин вдруг отменит свой приказ.

— Иди, Жулик, иди. Нельзя тебе. На дворе еще тепло. Так что не прикидывайся.

И собака ушла. Она двигалась впереди Конопелькина. Примерно в метре от него. У выхода на перрон со-

бака подождала, пока ей открыли дверь на улицу. Потом вышла.

— А зимой как же, в мороз? Вышвыриваете, и не жалко? — Марта атаковала Конопелькина, а тот вежливо и смущенно уворачивался от ее наскоков.

— А я ему валенки зимой куплю.

— Нет, вы не юлите! Разве не жалко? Собачка такая доверчивая. Понятливая.

— Грамотная. Это уж точно. Газеты читает и даже улыбается. И фамилия — Жулик.

— Эх вы... А еще молодой, светлый...

— А чего мне юлить?! Не положено. Я на службе. Собачка укусить может. Наступите-ка ей на хвост! Что тогда? Кто виноват будет? Конопелькин? Да вы так не волнуйтесь... Зимой для нее мы подольше интервалы делаем. Отогреется — иди проветрись. Да она, если замерзнет, куда хочешь проникнет! Очень сообразительная собачка. Жулик, одним словом. Это ей Салтыков такое название дал. Прямо в точку. Он и прикармливает. А вообще-то, не положено. Вокзал для людей. Это вам не Ноев ковчег. Здесь пассажиры. А то если, скажем, корова или еще какая тварь прорвется? Что тогда? Жалеть? Здесь не Индия.

Гул голосов в огромном зале постепенно редел, оседал, растворялся. Реже лязгали двери. Все меньше шагов шуршало по кафелю пола. И только дикторша, не убавляя громкости, объявляла об уходящих и прибывающих поездах.

Незаметно мы подружились с ясноглазым Конопелькиным, и все трое прогуливались теперь по обширной территории вокзала.

Ближе к выходу в город, в вестибюле, на второй этаж к ресторану вела широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой. Дорожка эта не могла сровнять плавных углублений в мраморе ступенек. За добрую сотню лет сколько по ним поднялось и опустилось господ, граждан, товарищей...

И сейчас лестница не пустовала. Вверх и вниз, в обоих направлениях, по ней двигались люди.

Внезапно один из спускавшихся, перейдя с шага на пробежку, не удержал равновесия, запнувшись не то о свою, не то о чужую ногу. Из рук его с глухаринным

шумом выпорхнул шикарный кожаный портфель. Этакий галантерейный красавец.

Одновременно с падением портфеля откуда-то свыше раздался нервный милицейский посвист. Держа свисток, как расшатанный во рту зуб, и расталкивая клиентов, вниз по лестнице бежал, а правильнее сказать — падал, пожилой швейцар в профессиональных золотых нашивках. Домчавшись до портфеля, швейцар лег на него, как на подушку, намертво прижав мягкую вещь к твердому полу.

Молодой человек, столь стремительно расставшийся с портфелем, заложив руки в карманы латаных джинсов, спокойно направился к выходу из вокзала. Его пузырящаяся нейлоновая курточка, разбитые кеды на ногах, а также недавно стриженная под ноль разудалая головушка резко не соответствовали внешнему облику портфеля, который вылетел из молодых рук, как сказочная жар-птица.

Вслед за швейцаром по лестнице кубарем скатился однорукый инвалид-гардеробщик в черном сатиновом халате.

— Дер-рж-жии! — трубным басом изрыгнул он. — Вон того, стри-иженого! Хватай!

Малый в кедах надал к дверям изо всей мочи. Еще мгновение, и он растворится в ночном воздухе, как дым от папироски.

И тут рядовой Конопелькин делает отличный бросок в сторону дверей. А через минуту вводит за руку улыбающегося беглеца.

— Ваш портфель? — строго спрашивает малого Конопелькин. Лицо рядового приобрело скульптурную неподвижность, окаменело. Каждый мускул внимательно делал свое дело. — Портфель, спрашиваю, ваш?

— Да какое там его! — гремит гардеробщик. — Он таких портфелей отродясь не держал! Гаденыш... Чужой номерок предъявил... И нате вам — давай бог ноги!

Швейцар, тяжело поднявшийся с полу, прижимает портфель к груди и так стоит на цыпочках, как пингвин, ошеломленно глядя на Конопелькина.

— Вы что же, не знаете, чей этот портфель будет? — все еще интересуется Конопелькин у беглеца.

— Понятия не имею, — ухмыляется малый.

— А зачем тогда брал?

— И не думал брать. Мне его в руки сунули. Я и понес. . . Машинально. Я в тот момент совсем о другом думал. На меня в тот момент шкаф навали — я и шкаф унес бы. От меня девушка отвернулась. Я переживаю. А тут еще всякие личности портфели суют. . . А что?! Разве не так? — закричал стриженный на гардеробщика, который, воинственно выпятив небритый подбородок, бесстрашно придвинулся к типу в кедах. — Выдали портфель, а теперь шумите.

— Выдал, потому как номерок предъявлен! Ты мне голову не крути — юморист, понимаешь! Лыбится, гад. . . Весело ему!

— Вяжите. . . — прошептал наконец пришедший в себя швейцар. — Скрутить его надобно. . . Опечатать!

— Напрасно беспокоитесь, папаша. У вас давление повышенное. С таким красным носом нельзя излишне волноваться. Сосуд лопнет.

— Скрутить. . . гастролера. Не отпускать! Мигом снимает. . . — продолжал наставительно нашептывать швейцар, еще истовой прижимая портфель к телу.

Из ресторана примчались владельцы портфеля. Ими оказались Скородумовы. Портфель принадлежал артисту. Клавдия Петровна хлопотала ножками впереди своего солидного супруга, стучавшего остроконечным японским зонтиком за спиной Клавдии Петровны.

Народу в вестибюле получилось мало. Человек пять. В смысле зрителей. И обязательной в таких случаях толпы не собралось. Люди по причине позднего времени пытались кто где мог отдохнуть, прийти в себя, устав за день.

— Аркадий! — захлопала от радости в ладоши Клавдия Петровна. — Посмотри-ка, это ведь твой портфель? Тот, который у швейцара? Вот вам, уважаемый, двадцать копеек. Держите, держите! — старушка упрямо сует швейцару белую монетку, пытаясь выкупить у ошалевшего человека принадлежавшую мужу вещь.

— Ваш портфель. . . это-сь. . . украденный, — шепчет швейцар, не отпуская баул с груди. — Преступник — вот он. . . Налицо. Схваченный. . .

— То есть как же так? — начал было Скородумов. — Почему, по какому праву. . . У меня там билеты на поезд и документов полно. Килограмма два. То есть чушь какая-то, откровенно говоря. У меня там принадлежно-

сти, и вообще... А главное, почему у меня? Мой — почему? Слаешь портфель, а получаешь черт знает что!

— Bravo, Аркадий! Ты давно не ругался матом. Вспомни, умоляю, хоть одно соленое словечко. Будь мужчиной! Тебе так полезно встряхнуться... Ты многое перебыл. А главное: какого ты пола?.. О, если можно, напади на этого дурацкого дядьку и отними свое имущество. Если ты мужского пола... А грабителю дай по физиономии. Это делают руками, Аркадий! Довольно слов. Где, черт побери, твои жесты, трагик?

Оказывается, Клавдия Петровна не переставая веселилась. Вот женщина! Просто зауважал я ее еще больше. После истории с портфелем. Другая бы скальп с этого стриженного сняла. Или мешком на пол осела. А Клавдия Петровна — молодцом! Над артистом подтрунивает. А тот грудь арбузом сделал и зонтиком размахивает. Перед моим носом.

— Гражданин! — предупреждает Конопелькин Скородумова. — Успокойтесь! Прошу посторонних разойтись. А пострадавших со мной прошу. И вы, дядя Степа, — дергает он швейцара за фирменный пиджачок. — И вы... товарищ, — приглашает он гардеробщика.

— Нет! — Клавдия Петровна решительно отбирает у швейцара кожаного поросенка. — Какие, к черту, формальности! У нас поезд через двадцать минут отправляется. Эй, милый! — кричит она одинокому носильщику, что курит возле туалетной комнаты. — Носильщик!

Носильщик, торопливо поплевав на окурочок, хватается за тележку и устремляется к Скородумовой.

А красивый артист, солидный представительный мужчина, все еще стоит в позе, отведя в правой руке зонтисточку.

— Завершается двадцатый век! Люди по Луне ходят. Машины за людей мыслят. А на вокзалах по-прежнему воруют портфели! Как в двадцатые годы. Скажите, молодой человек, почему вы позаимствовали мой портфель? Скажите правду, всю правду... и я вас отпущу!

— Я не заимствовал. Мне его гардеробщик выдал.

— А почему именно мой выдал? Почему?! Скородумова почему наказали? Медом, что ли, намазано у Скородумова?

— Чары потому что! — отчетливо произнесла все это время молчавшая Марго.

— Какие чары, голубушка? Смеетесь, а меня раздевают.

— Потому как — чары... У Скородумова все же, не у какого-нибудь Пшикина. Может, в портфеле у Скородумова талант? В целлофане?

Клавдия Петровна отрывисто погладила Марту по плечу и бешено ей заплодировала.

— Вы меня... знаете? — встрепенулся Скородумов.

— А вы разве не помните? — веселилась Марта.

— Я... артист. Скородумов.

— Это-то я знаю. Нагляделась в кино.

— Вы тоже меня... знаете? — обратился артист к молодому человеку, чуть было не похитившему портфель.

— Вот что, господа! Достаточно! Больно важные все. Неприкосновенные. У меня своя дорога, у вас своя. А вы, папаша, — повернулся парнишка к гардеробщику, — принесли бы все-таки мой, личный портфель. Он хоть и барахло, из заменителя, но для меня дороже любого. Пузатого. Потому что он память. О моих студенческих годах.

— Значит, что же... перепутали? — осведомился Конопелькин, несколько ослабив мертвую хватку на рукаве бывшего студента. — А на вокзале чего? Отбываете куда? Студент...

— Домой еду. Из экспедиции. Вот справка.

Конопелькин совсем отпускает нейлоновый рукав. Синяя сия курточка местами прожжена насквозь, до красной рубашки, а кое-где и до тела.

Принесли черный перекошенный портфелишко. Похоже — вовсе пустой... Малый взял его бережно, демонстративно погладил. А затем резко прижал к груди, передразнивая швейцара.

— Осудить... — шептал швейцар. — Уголовник, рецезист... В конверт его опечатать...

— Напрасно, папаша, волнуетесь. На общественной должности состоите, а такой злой характер проявляете. Берите пример со спокойных людей, — покосился малый на Конопелькина. — Вот смотрите — начальник молодой, а поумнее вашего будет. У вас, папаша, не только форма устарела, но и содержание. Ни к чему нынче людям такие... лампасы.

— Запереть его... — не сдается швейцар. — Изолировать... Под конвой. Стреножить молодца...

Скородумов на всякий случай заглянул в портфель. Видимо, остался доволен: все было на месте.

От багажного отделения подъехала с носильщиком Клавдия Петровна.

— Идем, Аркадий! Хватит представлений.

— Клавочка, все о'кей! Я только скажу. . . От чистого сердца. Человек перепутал портфели. Ни при чем человек. . . К тому же — в суровом положении. — Скородумов воззрился на прожженную курточку. — И вот что я скажу, граждане. . . Отпустим его с богом! Лично я желаю вам всяческих благ, молодой человек. Мы ведь люди. Не животные. Не звери. Так давайте же ласковой жить! Всласть, но тактично. Тактично, но всласть! Братъ от жизни все. Но только — свое. . . Не обижая, не оскорбляя друг друга, не унижая. Без нажима. Хотя и не ограничивая себя в удовольствиях. . .

Я вспомнил, как Скородумов кормил с ложечки мороженым любовницу, и пожалел, что артисту так скоро вернули портфель. Пусть бы потыркался без документов, без денег. Без билетов до синего моря, сладкоежка. . .

Скородумов торжественно улыбнулся публике и старческой, но легкой, отработанной походкой направился к выходу на перрон, как за кулисы.

Клавдия Петровна попридержала носильщика. Оказывается, ей захотелось попрощаться с нами. Хитренько потирая свои костлявые ручки, она вдруг клюнула-чмокнула Марту в щеку.

— Видите, я нисколько не унываю! Нет ничего интереснее вокзала. . . то есть — «временной станции», как сказал великий сатирик. А моего артиста прошу простить. Он не умеет думать. Не научился еще. Зато играет — превосходно! Призвание. . .

Клавдия Петровна вслед за носильщиком почти бегом устремилась на выход, к поезду.

Марта увела меня в дальний, поменьше основного, зал ожидания, где, кстати, и народу было поменьше, и место мы себе отыскали уютное за газетным киоском.

Мы сидели до опасного близко друг к другу. Кусок дивана достался нам незначительный. Но если прежде, в другом зале, Марго, сидя со мной, можно сказать, прижималась ко мне, теперь я ничего подобного не ощутил. Отстраненно сидела. Как большинство граждан сидят.

Незнакомых друг с другом. Полный штиль. Ни единого импульса. Интересно, что это она? Выжидает, когда я сам в атаку пойду? Собственно, так и следует поступить. Моя это обязанность. Мужская. Только вот не рано ли? Хотя — почему?

Размышляю, стало быть, я подобным образом, а сам неловко, будто дубинку негнушуюся, руку Марте на плечо закидываю... Иными словами — обнять пытаюсь. Хотя и неуклюже, но весьма искренне. И тут Марта вежливо отодвигается. Не дергается, нет. Мягко так словно отплывает — высвобождается. Но неуклонно.

— Гри-ишенька... В своем ли ты уме, пуделек?

— А что? Разве что-то не так? Да вы же сами...

— Ты, Гришенька, хочешь сказать, что я первая к тебе ласкалась? Не верь женщинам. Даже на вокзале. Я ведь к тебе от радости прижималась. Не от желаний посторонних. Как будто к детству своему притиснулась. А... что же получается? От твоей-то руки токи... совсем другого свойства. К тому же я сейчас очень грустная. Ну, посмотри в мои глаза: разве там это? Там другое...

Марта, тихо улыбаясь, развернулась ко мне лицом, лукаво склонила голову.

— Я, Гришенька, хочу плакать. Не забывай, дружок, где мы с тобой находимся. На вокзале... Проездом. И наша любовь мгновенная, вокзальная... Хочешь, Гришенька, «караул!» закричу? На весь мир?

Тут уж я и сам несколько завелся от Марты. Дает певичка! Может, нервная, с отклонениями? Ударится в припадок — и разжимай тогда зубы шариковой ручкой...

— Философствуете, а мне вас... поцеловать хочется.

— Спасибо, Гришенька. Льстишь или радуешь? Но ведь ты не только поцеловать меня хочешь. А для этого я не приспособлена. Не потому, что ты мне не нравишься... Нет, честное слово — нет. У меня, Гришенька, работа в смысле... если по Фрейду, — очень вредная. Разъезды, гостиницы, новые люди, попрыгунчики разные с бакенбардами... Суточные романы. Откровенная и припудренная пошлятина. Вот я и воспитала в себе противоядие. Ко всем этим штучкам... Улыбаюсь, никто на меня не обижается — свой парень, и все же извини подвинься! И так иногда перестараться, что самой холод-

но сделается. Все вокруг твою игру приняли. Флиртуют, но до определенного шага. И вроде бы уже для них — никакая ты не женщина, а так... телепередача. На тему о женщине. Иной раз до того обозлишься на себя — ну хоть бы кто насильно полюбил, что ли! Вот ты заговорил, а я в себя заглянула... А там тихо так... Как в церкви пустой.

— И совсем, значит, не возвращаться мне к этому вопросу?

— Хочешь, чтобы я тебе соврала? Эх, Гришенька! Да ты знаешь ли, как я рада тебе! Встрече с тобой... Вот завтра разъедемся. А я тебя вспоминать буду...

— Не будешь.

— Буду. И письмо от тебя ждать начну.

— А куда писать? Адрес дашь?

— Найдешь, Гришенька. Отыщешь... Если захочешь.

— Вот чудачка, ей-богу...

Я не знал, как мне себя дальше вести. Опять переходить на «вы»? Одно я знал твердо: Марта не играла.

И решил я отделаться. Не от Марты. От дурацких мыслей о ней.

Поостыв, заставил я себя прислушаться к разговору напротив. Там сидели какие-то совсем молодые люди. Девушка и паренек. И они между собой то ли не ладили, то ли притворялись чужими.

Юнец беспрерывно оглядывался по сторонам, словно украсть чего собирался. Делал серьезное лицо, хмыкал, голову в плечи вжимал. И вдруг что-то отрывисто излагал девчонке.

А девушка сидела надменная. Как будто по лотерейному билету прилично выиграла. Голова ее маленькая в полумужской спортивной кепочке то и дело поворачивалась от паренька в сторону вокзальных окон. Время от времени девушка произносила короткую фразу: «Все равно уеду!»

Тогда мальчик начинал хмыкать, дергаться, вжимать голову в плечи и наконец выстреливал очередной порцией слов.

— Мне комнату весной дадут! А в Иркутске ты по рукам пойдешь! Хочешь, на такси тебя к бабушке отвезу? Ну, чего ты на меня заелась, Зойка?!

Зойка с минуту смотрела на окна и, как только где-то у платформ начинали повизгивать электрички, скороговоркой напоминала мальцу:

— Все равно уеду!

Парень тер шею, причесывал взбудораженные волосы, высекал искры из незаправленной зажигалки, делал несколько физкультурных упражнений, надел даже солнцезащитные очки на несколько минут. И вдруг опять:

— Ты мне жена, Зойка! Под поезд брошусь! Если уедешь. Кольцо обручальное пропью! С Валькой из сборочного пересплю!

— Все равно уеду!

Потом, когда объявили посадку на пассажирский до Хабаровска, парень с девушкой внимательно посмотрели друг на друга. Она и он разом покраснели, на их злые глаза навернулись добрые слезы. Девушка засобиралась. Закинула себе на плечо широкую лямку от сумки с надписью «Динамо». Взялась было за чемоданишко... Но парень проворно сел на него, оседлал, будто ослика невзрачного.

— Убью кого-нибудь... Срок за хулиганство получу. Алкашом сделаюсь. Бабушку твою задушу. В Верховный Совет пожалуюсь. Письмо в Иркутск напишу. Прокурору. Чтобы выслали тебя оттуда! На Курильские острова!

— Все равно уеду...

Девушка поправила кепочку на русой головке. Стройная, распрямилась. Парень вскочил с дивана. И сделался ниже ее ростом. Девушка уверенно пошла к выходу на перрон. Ее ноги привлекли даже мое внимание. Парень, оторвав чемодан от пола, бегом погнался, вернее, поплелся за девушкой. И я посочувствовал ему. Так как и слепому было ясно, что девушка «все равно уедет». Все равно исчезнет. Уже исчезла. И ничего тут не поделаешь, даже если внезапно подрастешь сантиметров на пятьдесят.

Убийственно, так же как паренек на свою Зойку, посмотрел я на Марту и буквально опешил! Марта спала.

Тогда я принялся разглядывать ее. Никто не мешал мне этим заниматься. Привалясь к диванной спинке, Марта чуть склонила голову к своему правому плечу. Темно-русая подвитая прядь волос скрадывала часть

ее лица. Глаза были зашторены слегка подведенными ресницами. Веки чуть подсинены. Нос, если смотреть только на него, — короткий, прямой и очень нежный. Кожа лица еще сильная, неизношенная, здоровая. Губы рельефные, заметные, рот не маленький, «сердечком», но и не до ушей, — нормальный. И шея нормальная: не длинная, как у гусыни, но и не короткая, не кражистым пеньком. И совсем еще не морщинистая шея. Молодая. Цветущая. Запоминались на лице глаза. Вернее — расположение глаз. Удлиненные, крылатые глазницы. Такие глаза как бы увеличивают лицо, из которого они лучатся. Глаза-существо. Когда с таким человеком долго разговариваешь, создается впечатление, что разговариваешь с глазами. Марта проснулась и... не застеснялась. Хотя и догадалась, что я рассматривал ее. В ее отсутствие. Потому как я не успел отпрянуть.

— Марта... Я тебя поцеловал. Во сне.

— Вот и хорошо... Что ты еще сделал со мной? Я ведь отключилась... Гришенька, одолжи плечико. Подставь, я еще посплю.

Я покорно придвинулся. Марта почти легла на меня сбоку. Было и сладко, и страшно, и обидно ощущать себя подпоркой, приспособлением...

Место, где еще недавно сидели и пререкались молоденькие муж и жена, заняли двое мужчин. И то ли место такое беспокойное, то ли характеры схожие, но почему-то один из вновь пришедших вел себя так же суматошно, как и Зойкин муж. Говорил громко, взмахивал руками, дергался. Правда, голос теперешнего был гораздо звонче, явственнее, чем у мальчишки, намеревавшегося пропить обручальное кольцо. Худое, изможденное лицо, черная финская шапочка с козырьком. Под правым ухом шумного человека блестел, как будто пуля под кожей застряла, огромный жировик.

Мужчина этот сумбурный, как и до него Зойка, угрожал, что непременно уедет — куда-то... В его напарнике я не сразу узнал — кого бы вы думали — «графа» Салтыкова!

— Да понял я тебя, Федя, понял! Не надрывайся... Диктором тебе на радио... Вместо Левитана.

— Я, Юрик, не могу, когда на меня в семье внимания не обращают! Любишь, за человека считаешь — будь любезен: обращай внимание! Для чего я тогда родился

под Весаами — это созвездие такое, — если жена ко мне через год привыкает, как к ночным тапочкам? Будешь смотреть на меня, как на комод, — уеду! Уеду, и все! Куда глаза глядят! И уехал... Я те привыкну, индюшка нерусская! Она у меня мордовка... Скучно тебе со мной — так и скажи! Мигом развеселю! Ты, говорит, Федя, все о мировых «проблемах»! А мне ласки хочется. «Ласки» ей хочется! А меня, может, от этой ласки, как карман, выворачивает! Тьфу! Я человек, Юра. Для меня многое интерес в жизни представляет. И космос, и йоги, и вообще — смысл жизни хочу выяснить. Что зло, что добро? А для нее всегда два бога: аванс да получка, грызи она ногти!

Марта на моем плече давно уже проснулась, разбуженная неумным Федей. Меня подмывало вступить с ним в дискуссию, но я понимал, чем рискую. Таких, как Федя, ораторов только тронь: до Сахалина будут преследовать, пока не догонят и свою правоту не докажут... «Вот уеду!» И почему это среди нас, русских, чуть что — сразу: уеду! Жена осточертела — уеду; в должности понизили — уеду; погода испортилась — туда же: уехать грозит человек...

В зале вдруг сделалось тихо. Замолчал, заткнулся Федя. И тут стало слышно, как кто-то тоненько, жалобно поскуливал... От перрона в нашу сторону зала вертявый Усыскин с портфелем, этот добровольный общественник, и рядовой Конопелькин вели под руки дряхлую бабушку, то ли тихонько поющую, то ли плачущую.

Старая женщина одета была в черную плюшевую жакетку, такое деревенское полупальто. На голове, как листьев на капусте, наверхено множество платков. На ногах — валенки с галошами. Бабушка шла, высоко подняв голову, как слепая. Лицо ее, морщинистое и темное, почти деревянное, чему-то непрерывно улыбалось.

Старуху посадили рядом с Федей, так как Салтыков при приближении Конопелькина со скачающим видом подался прочь...

Усыскин, не выпуская из рук портфеля, вращался вокруг бабушки. Потом, когда она все так же — с высоко поднятой головой и улыбкой — села, начал предлагать ей какие-то пирожки и тут же задавать бесконечные вопросы, на которые старая женщина не отвечала вовсе, хотя пирожок машинально взяла и принялась со-

сать, видимо не надеясь разжевать его за полным отсутствием зубов.

— Послушайте, мамаша! — кричал Усыскин старухе в платок, надеясь попасть в ухо. — По какому адресу приехали?! Есть у вас адрес, бумажка? Есть или нет?

Женщина молчала, улыбаясь. Она, похоже, не слышала ничего. Или же не понимала. Тоненько скулила, глядя ввысь. И только.

— Откуда приехали?! Откуда?! — вплотную приблизил к ней свое лицо Усыскин. Из правого глаза бабушки выпала бусинкой мутная слеза и, не оставив на рифленной щеке следа, исчезла.

— Чего ж вы на нее кричите! — загремел вдруг на Усыскина Федя голосистый. — Не в себе бабушка, или вам непонятно, товарищ? Работник милиции молчит, — кивнул Федя на смущенного Конопелькина, — а гражданское лицо разоряется!

Конопелькин виновато поскоблил себе пальцем лоб. Повернулся к нам с Мартой. И как старым знакомым поведал:

— С поезда ссадили... Проводница не помнит, на какой станции в Сибири вошла бабушка. Тогда дежурила напарница, которая теперь уже домой убежала. Сменилась. Поезд на уборку подали. В тупик. А бабушка сидит. На вопросы не отвечает. Больная бабушка... Документов и вещей никаких. Пойду к начальству. Отвезут ее в дом престарелых.

— Вот видите, как просто: в дом престарелых... — подсел к нам Усыскин. — Женщина, мать человеческая! Никому больше не нужна. Кроме милиции... Расстрелять ее сыновей! И дочерей! За такое к матери отношение...

— И чего шумит, портфель?! — возмутился опять громогласный Федя. — Может, ее детки уже расстрелянные. На войне фашистами! Может, она в единственном числе! И никаких у нее деток в помине нет!

— А внуки?! — не сдавался Усыскин. — А родные-близкие?! Соседи, знакомые?! Да это что же такое получается? Да у нас в свое время уголовники и те пуще всего старуху мать уважали... А мы где с вами живем?..

— На вокзале мы живем, дядя! — заглушил Усыскина Федя.

— Вот и именно, что на вокзале! Каждый в свою сторону, своим маршрутом.

— А каким прикажешь? Твоим, что ли, маршрутом? Да я твоим маршрутом не только жить — помирать не поеду!

Бабушка по-прежнему сосала пирожок. От нее дурно пахло. Она не помнила, откуда и куда ехала. И только улыбалась, улыбалась. А может, и не улыбалась вовсе, а таким странным образом плакала.

— Пойдемте, Конопелькин. Вызовем врача, «скорую», — заторопил я милиционера.

А если откровенно говорить — страшно мне сделалось. Боязно. Кругом люди: молодые, старые, но пока еще самостоятельные, мобильные. А посреди них беспомощная, конченная женщина. И никто не знает, как с ней поступить. Что предпринять? И стыдно... Стыдно за себя, крепкого, смышленного, перспективного...

И вдруг Марта вскочила, приблизилась к старушке. Протянула к ней руки. Сперва я подумал, что Марта опять чудит. Потом понял, что ничего подобного. Просто бабушка перестала смотреть в пространство. Взгляд ее, мучительный, осмысленный, был устремлен на Королеву.

— Дыд-ды... Дын-ды... — старушка силилась произнести что-то.

И Марта поняла. Она взяла старушку под руку, затем полуобняла, приподняла с дивана. И они медленно поплелись к туалету. Темная, полумертвая и светлая, гибкая — две женщины, два дивных существа.

И тут дикторша объявила, что через пять минут отправляется поезд «Москва—Андижан» и она просит провожающих выйти из вагона.

Усыскин вздрогнул, побледнел. Окончательно защелкнул портфель и, сорвавшись с места, помчался в камеру хранения, прошептав мне на прощание: «Помогите...»

— Держи его! — крикнул Федя оглушительно и рассмеялся так зло и неприятно, что все от него отвернулись.

Усыскина я настиг у багажных автоматов. Он мрачно стоял перед ячейкой и, как двоечник у доски, мучительно вспоминал нужную ему цифру. Потом он вспомнил. Через полторы минуты. Я взвалил его увесистый чемодан себе на плечо, и мы понеслись к поезду. Впихнул я Усыскина в дверь последнего вагона. Чемодан из моих рук он брал уже во время движения поезда.

Марго возвратилась грустная, уставшая. Словно тащила ничью бабушку на плечах.

— Отправили куда-то... Я почему вызвалась-то. Однажды, Гришенька, прихожу я в поликлинику, в нашу участковую. Вечером. Зима. Темно. И вот два мужичка приводят под руки подобную же старушку. С улицы. В снегу валялась. Едва разглядели, вытащили. Из сугроба. На большой современной улице. В новостройках пространства — сам знаешь — сибирские... Бабка, как привели ее в чувство, сразу ко мне кинулась: «Доченька! Доченька!» — кричит. Потом выяснилось: дочка ее из дома выгнала. Старухе за девяносто. Надоела. Не умирает. Так-то.

Глубокой ночью в вокзал ввалилась шумная компания с громоздким багажом. Везли какие-то ящики с аппаратурой, футляры от контрабасов и гитар. Круглые коробки из-под барабанов... Какой-то ансамбль. На всех его вещах было черной краской написано «Печенеги». Десять парней и две девицы. Одеты ярко, современно. В глазах бесстрашие. На устах словечки неясного происхождения, типа «чувак», «лабух», «бирлять». «Печенеги» курили в неположенных местах, багажа в камеру не сдавали, играли в азартные игры на коленях у солистки и даже распивали спиртные напитки, закусывая чем попало.

В их репертуар входило постоянное желание острить, разыгрывать друг друга и окружающих, ни при каких обстоятельствах не унывать, не падать духом.

Глубокой ночью «печенеги» поменяли на дверях общественной уборной таблички с буквами «М» и «Ж». Получилось забавно. Люди, с вечера по укоренившейся привычке ходившие в одну дверь, теперь попадали в неловкое положение. Трех спящих «печенеги» привязали к диванам, а в обувь одного пассажира капнули чего-то такого, после чего ботинки этого дяденьки сделались на несколько номеров меньше.

Один малый из ансамбля, высоченный солист-брюнет, говоривший шепотом, дабы как можно дольше сохранить свой угрюмый баритон, прицепился с разговорами к Марте. Позже выяснилось, что они знали друг друга по предыдущим гастролям.

Он подвел нас с Королевой к своему табору. Представил. И сразу же налил по полстакана какой-то дря-

ни — «со свиданьем!»). А когда я отказался пить, посмотрел на меня как на злейшего врага человечества.

— Слушай, Марго, и этот чувак ездит с тобой по стране? Сбрось его с поезда, пока он не сделал из тебя мумий! — нашептывал он ей на ухо. Да так громко, что и я полностью воспринимал текст.

Мысленно я обругал его. Но хотелось и вслух прореагировать. Малый, конечно, повыше меня. Но ненамного. Сантиметров на восемь. От силы на десять. А я ведь и гири двухпудовые поднимал...

И тут выручила Марта.

— Гришенька журналист-международник... Отлично владеет приемами карате. Мастер спорта по самбо.

— Жених, муж? — тише прежнего прошептал высокий «печенег».

— Любовник.

— Ишь ты! А с виду нипочем не подумаешь! На, лмай! — прошипел он в мою сторону, резко выбросив руку и едва не смазав меня по носу. — Будем знакомы, что ли... Какой молчаливый любовник.

Я взял его руку и грубо пожал. Не тут-то было... Ладонь у певца широкая и крепкая, словно искусственная.

— Меня зовут Боря. Я культурный человек. — С этими словами наглый брюнет взял себя спереди за волосы и... одним махом сорвал их с головы! Все ясно... Парик! Вот артисты... Что вытворяют! — А теперь, Гриша, уходи, — сказал вдруг Боря не шепотом, а во весь голос. — Водки не пьешь, руки не жмешь... Подумаешь — любовник! Ступай себе мимо.

— Как так? Прогоняете, что ли?

— Вот именно. Иди, международник, не заслоняй жизни. И без тебя ничего в волнах не видно...

— Ну разве так можно, Боренька... — заворковала Марго. А мне от ее воркования не легче. И тут взорвалось во мне что-то. Гнев меня такой обуял, что я повернулся и пошел прочь. Тунеядцы! Гастролеры! Я чуть ли не выкрикивал эти страшные слова вслух. Я решил забыть Марго. И она еще путается с этими подонками! Все! Пойду забьюсь куда-нибудь в угол и не вылезу оттуда, пока посадку не объявят на хабаровский. И это женщина! Едва поманили — сразу и отступилась. А я-то к ней с переживаниями...

Отсиделся в тихом углу, опамятовался, и опять меня к людям потянуло, в зал ожидания. А если честно, хотелось на Марго взглянуть. Хотя бы одним глазком, со стороны, хотя бы из укрытия... Да и какие могут быть претензии к ней? Знакомого встретила... Ну и что с того? Знакомому ты не понравился, а не ей. А финал и во все позорный: сбежал... Бросил женщину на растерзание!

«Печенег» спали на своих барабанах и контрабасах. Я пересчитал их по пальцам. Девять парней и две девицы. Одного не хватало. Того самого... Брюнета. Рост метр девяносто. Что ж... Будем искать.

Застегнув на все пуговицы плащ и подняв для устрашения воротник, сунул я кулаки в карманы и начал обход.

В одном из залов набрел на газетный полукиоск: такой полукруглый открытый лоток, в середине которого днем помещалась на табуретке женщина в синем халате, продававшая газеты, журналы, открытки. Я заглянул в пространство, предназначенное для киоскерши, и увидел на полу, на самом дне углубления, спящего Салтыкова... Машинально улыбнулся ему и продолжал поиск.

Я обшарил вокзал сверху донизу. Заглядывал в отгороженные углы и другие геометрические фигуры и пространства. Под одним из диванов гонимую собаку Жулика обнаружил, но никому об этом не сказал, а лишь еще раз, как прежде Салтыкову, машинально улыбнулся. Попутно столкнулся нос к носу с десятком кошек и даже с каким-то непонятным зверьком.

И тогда я вышел на перрон и стал прочесывать платформы, укромные местечки и закутки. И вот за одним из ларьков померещился мне ее голос!

Я не стал их подслушивать. Это было нехорошо. Я рванулся на голос, предварительно вынув кулаки из карманов и надев на всякий случай перчатки.

До последнего момента я все-таки верил, что увижу ее там одну... Или, по крайней мере, не с брюнетом.

За пластиковым ларечком стояла реечная скамья. Такая типичная, уличная. Свет едва обволакивал сидевших на ней. Она была у него на коленях! И, когда я бросился на него, ему было не встать сразу: мешала Марта.

— Господи... Гриша! Что же это?.. — простонала Марго.

Я отодвинулся за ларек. Через минуту ко мне вышел брюнет с разбитым лицом и ударил меня по губам. В свою очередь.

Самое печальное было то, что я испортил себе плащ. Разорванный в трех местах и вымазанный помимо мазута в какой-то мерзости, теперь он был совершенно непригоден к употреблению. А ведь мне предстояло ехать в Сибирь. А в Сибири, по сообщениям метеослужбы, уже изрядно подмораживало.

Обтерся я, как мог, носовым платочком. Для начала. Решил: поостыну малость и в туалет буду пробираться. Чтобы там окончательно подремонтироваться.

Подали какой-то состав. Смотрю, народ на платформу двинул. Куда-то посадку объявили, значит. Дед ко мне подошел, спрашивает, не знаю ли я, где до Красноярска садиться? Хотя посадка идет исключительно в один поезд. Других поездов просто еще не изобрели. Так нет же, обязательно спросить, потревожить человека нужно! То ли для страховки, то ли по недержанию словесному...

Указал я деду пальцем на вагоны, а дед и вовсе осмелел: котомку на асфальт ставит, закурить предлагает. Вонючую папироску третьего сорта в губы мне сует. В разбитые. И тут я узнал в нем военного старичка, который с медалями манипулировал и горячего Фалалеева, оратора, пристыдить хотел.

— Слышь-ка, паря, да ты никак порезанный? Давай тебе помощь каку-нибудь окажу...

— Да нет, что вы! Какая еще помощь... Спасибо, дедушка. Это я сам. С платформы свалился. На арбузную корку наступил. И на рельсы!

— Смотри, тебе видней... откуда ты свалился. Меня самого при нэпе на этом вокзале чуть не порешиди. Опять же — галоши стянули, за милую душу... Ну, прощевай, Москва. Погуляли, понюхали. И честь надо знать. Всего тебе, паря. Не шибко бери, не то не доедешь... до назначения. Ну, бывай...

— Прощайте.

Дед перебрался поближе к вагонам, однако не утерпел, кого-то остановил, стал о чем-то расспрашивать. Прощай, дед. Свети дальше. Вот и ты прошел сквозь вокзал, пронес возле меня свою жизнь славную, нехитрую.

Человеческую. Спасибо за свет, за отблеск, за отражение твое...

О Марте думать не хотелось. Но — думалось.

Надули, конечно... Облапошили. Как несмышлениша. Артисты... А и правильно! Не распускай сопли. Ты где живешь, дружок, в каком веке? В двадцатом, железном! Любовь, чувства... Разве на вокзале бывают чувства? Прав, тысячу раз прав дед: нельзя на вокзале спать, расслабляться... Мигом оберут!

В шесть утра на своих диванах проснулись «печенег». Они пригласили к себе в компанию Салтыкова. Налили ему «со свиданьем», сунули в руки гитару. «Граф» пытался улизнуть, как собака Жулик, но его выловили и заставили петь.

Как ни странно, на лице Бори-баритона я так и не обнаружил на одной ссадины, ни одной царапинки малой. Боря даже подмигнул мне пронзительным взглядом, и у меня появилось сомнение: да с ним ли я дрался часа два назад?

А где Марго? Может, и не она вовсе торчала на коленях долгового «печенега», да и «печенега» ли?

А в Салтыкова, как говорится, вступило. Он читал ребятам свои стихи. Пел что-то неслыханное, вероятно тоже свое.

Я в суете вокзальной
найду диванчик спальный.
Потом закрою очи —
друзья, спокойной ночи...
А на свою рубашку
я приколю бумажку:
«Без повода, ребята,
будить меня — не надо».

Песенка, довольно занудная, непонятно чем, но трогала даже бывалых «печенегов». У некоторых из них поплыли, замаслились взгляды. А вокзальный маэстро, не на шутку загрустив, все тянул и тянул из себя какую-то забубенную, каторжную мелодию...

Приснится мне, я верю,
совсем не южный берег,
совсем не куши рая,
а сторона родная!
Приснится мне местечко,
где вьет колючки речка...
А если помолиться,
любовь-краса приснится...

Неожиданно маленький Салтыков взмахнул гитарой, как теннисной ракеткой. Что-то подкатило, видать, под это утро.

— Но-но, маэстро. Сдайте инструмент, — предложил Салтыкову внимательный Боря. Юра положил гитару на колени то ли девушке, то ли старушке (так она была здорово зашифрована косметикой), коротко сплясал четку, оттрепетав ладонями по некоторым местам своего щедушного тела, не улыбаясь поклонился «печенегам», вернее, той самой даме, на которую положил гитару, и отошел прочь.

Я взял Салтыкова под руку, но Юра даже не вздрогнул: сказывалась профессиональная вокзальная настроенность.

— Что, Юра, не узнаете? А кто мне стихи читал про бугорок? На котором — хуторок?

— У вас некоторые перемены. . . на лице.

— Я подрался. А что, действительно большие перемены? — После того как я увидел совершенно невредимого Борю, я даже в своих, весьма осязаемых, потерях несколько засомневался.

— Плащик измяли. И северное сияние. . . под глазом.

— Чего ж вы не спросите, по какому поводу драка вышла?

— А вы дрались разве? Я думал, вас побили.

— Я подрался. . . Из-за женщины.

— Нашли из-за чего. . .

— Она мне изменила.

— Это с которой в ресторане? Она в том зале сидит. Спрашивала, не видал ли я Гришу. Это вы — Гриша?

— Я. . . Когда спрашивала?

— Да вот с полчаса. Она вам жена будет?

— Жена, говоришь?. . . Ну, что вы, Юра!

— Тогда не связывайтесь. Иначе так и будете всю жизнь с побитой мордой ходить.

— Так ведь и вы, Юра, женатый человек.

— Женатый? А что в этом хорошего? Какая мне с этого польза, кроме неудобств? А будь я холостой — я бы сейчас на диване лежал. . . В ямочке. У себя дома.

— Так вы что же, Юра, против брака мужчины с женщиной?

— Некоторым людям брак противопоказан. Которым он в самый раз, так те и лежат сейчас обнявшись. А я по натуре беспокойный. Таким брак — кандалы сущие. . .

— Послушайте, Юра. . . Поехали со мной!

— А куда вы едете?

— В Сибирь, на Восток. Там железную дорогу строят. . . Неужели вам не надоело. . . унижать себя? Спать где придется, вечно огрызаться, настоroje вечно. Поехали! Вдвоем веселей. Не все ли вам равно, где пенсию получать? А там вы душой отдохнете. . . И вообще — поехали!

— А я и так еду. В дороге я все время. . .

— Слова, Юра, фразы. Защитная оболочка. Куда вы тут едете на вокзале? Иллюзия. . . Едут другие, а вы, Юра, всякий раз остаетесь на месте.

— Туда, куда я еду, вам тоже никогда не приехать. В другом измерении моя станция находится. А вы грубый человек. Вмешиваетесь. . . С какой стати приглашаете меня в Сибирь? Там люди — работают. И не нужно их раздражать моим присутствием. . . Шли бы лучше к своей мадаме. Пока она вас не забыла. . . Окончательно.

Смотри-ка, все, решительно все знают, чего они от жизни хотят, куда едут и зачем. И Скородумов, и «печенеги», и Салтыков. . . И Марта наверняка знает. Иначе бы к Боре не залезла на колени, за меня бы ухватилась. Все на что-то надеются, всех что-то греет в жизни. . .

И все же не попрощаться с Мартой было нельзя. К ней тянуло. Сквозь всю мнимость нашей с ней встречи — влекло.

Но встреча с Мартой неожиданно отделилась на неопределенное время. Не успел я расстаться с уверенным в себе «графом» Салтыковым, как тут же в зале, неподалеку от ансамбля «Печенеги», был остановлен за рукав плаща не кем иным как Лютоболотским, на скуле и бровях которого имелись приклеенные небольшие кусочки светло-зеленого лейкопластыря.

Я не сразу сообразил, с кем имею дело. То, что это был не Боря-баритон, сомневаться не приходилось. Словно из векового прошлого, из мрака миновавшей ночи постепенно всплывали очертания чужой головы. Но — Марта! Почему она все-таки забралась на колени к незнакомому человеку? Дело принимало непредвиденный обо-

рот. И я решил слишком-то не заноситься, на рожон не лезть, а действовать дипломатично, терпеливо выжидая последствий.

— Извините. — Парень с грустной улыбкой смотрел мне в подбитые глаза и вроде бы драться не собирался. По крайней мере сию минуту не собирался. А там — кто ж его знает. . .

— Я вас что-то не. . .

— Хорошо. Напомню сейчас.

Я довольно технично отступил на шаг. И приготовился слушать.

— Ночью. . . За ларьком. Мы сидели с Людмилой. И тут вы появились. Припоминаете? А еще раньше, с вечера, мы в туалете курили. . .

— Я решил, что вы сидели не с. . . Людмилой, а с Мартой. Прошу прощения. Погорячился. А главное: почему ваша Людмила знает, как меня зовут?

— Она вас впервые видела. Она вас даже не разглядела толком.

— А почему тогда Гришей меня назвала?

— Это она меня назвала, потому что я Гришей являюсь. А вы что же, выходит, тезка?

— Гриша Улетов. . . — протянул я руку, надеясь не столько познакомиться со своим тезкой, сколько сгладить впечатление, произведенное на него при нашей те-перешней встрече.

— Григорий Лютоболотский, — представился молодой человек, не принимая пока что моей руки. — Вы напугали мою жену.

— Надеюсь, я не зацепил ее кулаком. . . Там было очень темно.

— Нет, нет. . . Интересно, почему вы озверели? Вином от вас не пахнет. Мускатным орехом зажевывали? Или действительно обознались?

— Обознался. Честное пионерское. . . Приревновал. Мне показалось, что меня обманывают. Я с женщиной познакомился. Здесь, на вокзале. Ну и. . . полюбил. Как бы.

— Полюбили? — переспросил Лютоболотский, саркастически улыбаясь одновременно веселыми глазами, кривым, боксерским носом и большими штопаными губами с тремя белыми швами-шрамчиками. При этом во рту его сверкнуло несколько золотых зубов.

— Да, встретил. . . и, казалось, полюбил. А что здесь такого? У всех это по-разному протекает. Не нравится — любите по-своему.

— Ладно, тезка. Не будем к словам придирааться. Вообще-то ты очень даже искренне на меня полез. Но ведь так и на неприятность нарваться недолго. Пошли, покурим на воздухе.

Над проводами железной дороги, над всей беспокойной станционной территорией занималось едва различимое, робкое осеннее утро. Мы с Лютоболотским уселись на холодную, влажную скамью, тщательно подстелив под себя куцые полы плащей. Как это часто бывает, недавно повздорившие люди были не прочь сойтись поближе, а то и вовсе подружить. Я ждал, что Лютоболотский расскажет мне свою историю. И не ошибся.

— Ты вот на что обрати внимание. Перво-наперво. Ну, побил ты мне морду. Предположим. Думаешь, я страдаю от этого? Да ни в малейшем количестве! И не потому, что сам тебе оборотку дал, а потому, что я есть счастливый. Расписались мы вот. . . с Людмилой. Людмила сама здешняя. Московская! — отчеканил он с гордостью последнее слово.

— А чего же тогда не в Москве свадьба?

— Родители у Людмилы. . . не в порядке. Да мы что. . . Мы к Неизвестному солдату сходили. Все, как положено, исполнили. . . Теща у меня с характером оказалась. Десять лет штурмовал. Не сломил. С дочкой рассталась. А меня все равно не признает! Людмиле десять лет было, когда я ее полюбил.

— Десять? Я не ослышался?

— Ей десять, мне восемнадцать. Сперва как ребенка любил. Потом как девушку. А теперь как женщину буду любить!

— Оригинально задумано. . .

— Не задумано, а так получилось. Не оттого, что однюлюб, а справедливости ради. Людмила, еще девчонкой, в реке однажды тонула. В половодье. А я ее спас. Сам воспаление легких поимел, а ее выловил. Откачали. Домой доставили. Ну, благодарили. . . А мне девочка дорогая сделалась. Ходить я туда стал. Тянет. А родители нос воротят: ну, спас, подвезло доброе дело совершить, и прощевай, мол! А потом я в ПТУ завхоза горбатым сделал. Он воровал. Наше, государственное. Ну, засек-

ли, проследили. Там же, возле склада петеушного, я и загнул ему салазки... Ну, в колонию меня снарядили. На пять лет. Потому как следователи не за воровство взялись, а за телесные повреждения... Людмила, когда ей тринадцать лет исполнилось, в колонию ко мне приехала. Виделись, правда, издалека. Ближе не подпустили. Не сестра, не племянница. Никто. А то, что мы любим друг друга, в расчет не берут. Родители Людмилы во всесоюзный розыск подали: дочка пропала. А всего-то пять дней отсутствовала...

— В тринадцать лет?

— Ну и что! Если любишь, то хоть тринадцать, хоть сто тринадцать — в любом возрасте человек бесстрашным делается и горы может свернуть!

— Чего не знаю, того не знаю...

— Освободили меня досрочно. Потом в армию взяли. Первый год стерпел. А второй — с одним сержантом заелся. Стал он меня, гнида, на губу сажать. Регулярно. Хорошо еще, Людмила приехала. Виделись. То издали, то вблизи. Ей тогда пятнадцать набежало. И родители в розыск не подавали уже.

После армии завербовался я на Север. В Якутию. С геологами сдружился. Людмила ко мне в такую даль ездить не могла: письма писала. Через день. А я ей каждый день. И появилась у меня идея. Дурацкая, как потом выяснилось. Задумал я камушек ценный отыскать. Для Людмилы. Такой, чтобы все ахнули. Чтобы сердце у тещи от его сияния расплавилось!

На драгу промывальщиком перешел. Два года искал. А когда нашел, оказалось — нельзя. Собственность государства. Пришлось следователю камешек подарить. И еще пару лет подумать... О житье-бытье. И опять ко мне Людмила стала ездить. Потому что я поближе к Москве переместился.

Примчался я через несколько лет к Людмиле. А родители ее со мной не то что не разговаривают — видеть меня не хотят. За что? За то, что я жить без их дочки не могу? Другие бы радовались от гордости: человек восемь лет ухаживает. Не хухры-мухры! Так нет же: козни разные строят. Дочку в другой город перевозят, к родственникам. Там ее в институт какой-то первый попавшийся устраивают... А ей не институт, ей Гриша нужен! Ну, отыскал я ее, поднял на руки и несу... В свою сто-

рону. А родители на другой день примчались. С нарядом милиции. И Людмилу из моего номера в гостинице изыали. Потом... А потом что? Заболела девочка... Таять начала. В больницу ее законопатили. Не столько лечить, сколько от меня изолировать.

Лютоболотский перестал рассказывать. Предложил мне еще сигарету. Я ждал, что он вопросительно вскинет голову, проверяя, какое на меня впечатление его рассказ произвел. Ждал и не дождался. Григорий с минуты сидел молча, глядя на голубеющий рассветный асфальт под ногами. Потом встрепенулся неподдельно, весело посмотрел.

— А здорово ты меня оглушил! Что же это, думаю, такое происходит? Людмила замерзла. Отпихнуть ее совесть не позволяет. Да и поправилась она за последнее время. Килограммчиков на двадцать. Ах, думаю, крести козыри! Было б за что, сразу догадался... А тут ни за понюх табака. Физиономию портят. При законной жене. Ну и догнал тебя, тезка... Не взыщи. Как умел, так и вышло... .

— Значит, все благополучно устроилось? В итоге?

— Тесть — тот смирился. Да и выхода у них другого нету. А теща — та ни в какую! «Зря я тебе, каторжник, говорит, в свое время нос не откусила! А ведь хотела... Может, Людочка тогда бы отвернулась от твоей образины разбойничьей!» Вот какая у меня тещенька самостоятельная да настойчивая. А я техникум за это время окончил. На Камчатку распределился. Людмила на заочное в Педагогический перевелась. Да чего там теперь... Теперь, тезка, жить можно! Вдвоем-то... Пойдем, я тебя с ней познакомлю, с Людмилой. Пойдем, пойдем. Поезд у тебя когда?

— Через пару часов. Хабаровский.

— Так и мы ж на нем! Вот комедия. Ты вот что, тезка: не обращай на меня внимания! Я теперь дурной, веселый... .

— Видишь ли, Григорий... Ты вот десять лет сражался. За свою Людмилу. И победил. И, знаешь, я тебя поздравляю. Искренне. Как мужчина мужчине. А со мной, понимаешь ли, совершенно все не так. Хотя, если во времени оглянуться, то мы с Мартой и вовсе давно знакомы... . Лет двадцать.

— И воюете до сих пор? Вот это я понимаю... За двадцать-то лет и успокоиться можно.

— В том-то и дело, что не виделись мы все эти годы. И вдруг — бац! Она меня узнает... И где? На вокзале. И мне она... понравилась. Очень! Разве такое исключено?

— Да сколько угодно! Подфартило, одним словом. Тут радоваться нужно, а не кулаками махать. Извини, конечно, что вмешиваюсь, тетка...

— Сам знаешь, на вокзале времени мало. Необходимо успеть и в себе разобраться, и человека разглядеть. Одним словом, растерялся я... А тут актеры проезжие. Знакомые ее. «Печенег». Парень с тебя ростом за руку ее берет. В стакан ей наливает. Мне бы опомниться. А я наоборот — очумел совсем. Побежал их разыскивать по углам. Ну и... на вас с Людмилой и наскочил.

Людмила сидела на диване светлая, спокойная. По всему было видно, что она уже поверила в свое счастье. У Людмилы была яркая золотистая коса. Не длинная, а так, в меру. Кожа на лице и руках белая, нежная. Вся она — мягкая, овальная, невысокая — победно выделялась из массы ожидающих.

— Вот, познакомься, Людмила, это Гриша Улетов. Мой тезка. Он нашим поездом едет. И мы с ним... Чисто случайно... И вообще... он — хороший парень!

Людмила ласково посмотрела на меня. Губы ее торжественно раскрылись.

— Извините, но я думала, что вы сошли с ума. У вас были такие беспорядочные движения. А мой Гриша ничего вам не сломал? Он у моей мамы в кухне кран с резьбы сорвал. Двумя пальцами.

Поулыбавшись Людмиле и ее супругу, я вежливо заторопился по своим делам.

Марту я отыскал в лабиринтах багажного полуподвала, где она, иронически улыбаясь, вспоминала забытый номер ячейки с чемоданчиком.

Мне она обрадовалась как-то сдержанно. Так мне во всяком случае показалось.

— А-а-а... Гришенька... Ты меня уже разлюбил? Все правильно. Спектакль подходит к концу. Скоро все разъедутся. Останется рядовой Конопелькин. И мой чемоданчик.

— В каком хоть ряду оставляли — не помните?

— Да вроде бы в этом...

— Год смерти Шаляпина. Девятьсот тридцать девять. Так, если не ошибаюсь?

— Разлюбил. И глаза виноватые. Чем же я тебе не угодила, пуделек? И кто тебя так разукрасил?

— Сам я себе не угодил, сам себя разукрасил. Своими руками.

— Девочкина мать нашлась. Галина мама. Она в Москве заблудилась... Хорошая женщина. Я с ней разговаривала. Она растерялась в суматохе... Ну, как вот птичка, бывает, в форточку залетит — и давай бросаться на что попало.

— Вот что, Марта, давайте подряд проверять... В этом ряду. Все ячейки. — Я набрал номер девятьсот тридцать девять. — А буква? Букву какую выбрали — не помните?

— Букву «д», Гришенька. Потому что я дура. Такое мое имя.

Когда к нам подошел рядовой Конопелькин с дежурной по камере хранения, мы с Мартой заканчивали левую сторону багажной улицы. Ни одна из опробованных нами дверей не открылась.

Конопелькин хоть и узнал нас, однако с подозрением следил за моими манипуляциями.

— Что случилось?

— Марта номер ячейки забыла, понимаешь? «Д» — девятьсот тридцать девять. Такой у нее код. А куда с ним тыркаться... неизвестно.

Вокруг нас немедленно образовалась небольшая толпа, человек пять. Мы с Конопелькиным продолжали поиск, и тут одна из камер неожиданно открылась.

— Ваш? — строго спросил Марту Конопелькин, извлекая чемоданчик.

— Мой.

— А чем докажете? — неловко улыбнулся служивый.

— Вот именно! Чтобы все по закону, как следоват быть, — поддержала Конопелькина дежурная по камере хранения.

— А номер? Шифр — это что, не доказательство? — вспыхнул я.

— Да тьфу номер! — разорялась дежурная. — Да начни подряд проверять, непременно где-нибудь сойдется!

— Ладно. Во-первых, в чемоданчике есть бутылка коньяка. Армянский. Три звездочки. А во-вторых, кроме грязпок, две фотографии мальчика. Четырех лет. По имени Коля. Он умер от воспаления мозга. Именно в этом возрасте. И, как говорили, был очень похож на меня. Можете убедиться.

Марта резким движением откинула крышку чемодана, достала бутылку коньяка, сунула ее Конопелькину, да так решительно, что тот послушно схватил ее, прижав к шинели. Из кармашка, что прикреплен к внутренней стороне крышки чемодана, извлекла черный пакетик со снимками.

— Вот... — протянула мне дрожащей рукой. — Посмотри, Гришенька, какой он был... необыкновенный!

С фотографической карточки на меня смотрело пучеглазое кудрявое существо, робко улыбающееся в объектив. Видимо, дядя фотограф в этот момент делал пальцами «козу». Нормальный, приятный ребенок. И действительно, чем-то похожий на Марту.

— Вот. И он умер. — опять, ни к кому не обращаясь, прошептала Марта. Глаза ее налились слезами. Лицо неровно, пятнами покраснело. Конопелькин поспешно запихнул в чемодан бутылку коньяка. Дежурная, поправив на голове берет, с независимым видом отошла к своей конторке. Я еще долго лязгал замками чемодана, пока не закрыл его и не взял в руку. Другой рукой бережно подтолкнул Марту к выходу.

— Когда у вас поезд отходит, Марта?

— Не знаю. Все равно.

Проходя мимо расписания, я быстренько определил, что нам с Мартой вместе осталось побыть каких-то полчаса.

— Вы тут посидите, подождите меня, а я за своим чемоданчиком сбегаю. Ладно?

Когда я вернулся, Марты на прежнем месте не оказалось. Соседи по дивану сказали мне, что молодая женщина с кожаным чемоданчиком будто бы внезапно вскочила и куда-то побежала. Скорее всего, к выходу из вокзала. А куда — на перрон или же в город побежала — никто определенно не помнил.

К платформе подали тот самый экспресс «Южный Урал», на который у Марты имелся билет. Я занырнул в первый от вокзала вагон и стал быстро и тщательно осматривать одно купе за другим. Дойдя до головы состава, я посмотрел на часы и с досадой обнаружил, что до отхода поезда осталось пять минут. Прозаический, скучный голос по радиотрансляции подтвердил этот факт. Я не знал, для чего ищущую Марту. Я шарил. Как слепой. Я просто хотел увидеть ее. Один прощальный раз.

Последний вагон проверял я со зверским выражением лица, и многие, вероятно, подумали, что меня обокрали или, по крайней мере, от меня втихомолку сбежала законная жена.

Поезд тронулся, как только я вышел на платформу.

В последнем вагоне, прижатое к стеклу, мимо меня проплывало лицо Марты!

Что на нем отражалось? Какое движение мысли или чувства затрепетало в ресницах и на губах ее? Улыбка? И да, и нет. . . Страх, ужас? Отнюдь. Лицо было светлое, хотя и усталое. Как перед долгожданным сном. Во всяком случае так мне в последний момент показалось. А может, вокзальная эта история неразгоревшейся любви — всего лишь плод моего воображения? . . . Как знать?

Наконец-то рассвело. Утро явилось широкое, яркое, освобожденное от дождливых туч. Оно даже брызнуло по крышам и стеклам домов настоящим солнцем! Проведя ночь, словно в пещере каменной, вышел я на площадь.

До отправления моего хабаровского имелось в запасе минут сорок. Из вокзального чрева вслед за мной вышел погреться на солнышке заспанный Салтыков. Он купил в киоске пачку сигарет, прислонился к облитому солнцем каменному цоколю и так замер, осторожно выпуская из себя дымок.

Вышел наружу и милиционер Конопелькин. Сейчас он сменялся с дежурства и, поймав на себе мой взгляд, смущенно осклабился в пространство. Но вот Конопелькина принял подземный переход. Там он и исчез в направлении Ярославского вокзала. Жил этот симпатичный малый где-то в пригороде. И ему еще предстояло вздремнуть в электричке.

Долго и жадно смотрел я по сторонам, боясь потерять себя в этом мире раньше времени. Красные трам-

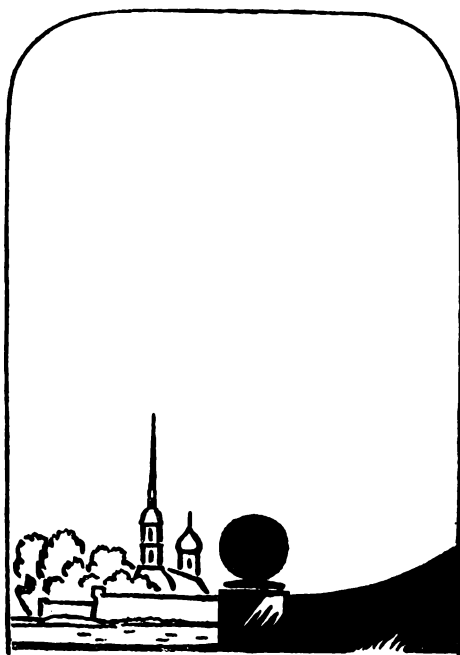
ваи заученно пробирались по рельсам; бессистемно падали листья с близрастущих деревьев; дома улыбались, сверкая солнечными окнами, как золотыми зубами. И всюду — над, внутри и под городом — шли, сидели, спали, а главное — думали люди. Я хотел им что-то сказать, произнести какие-то незаурядные добрые слова, может даже стихи, пусть не такие совершенные, как стихи Салтыкова. . .

И тут я вспомнил о поезде, о вокзале. Об отъезде. Я посмотрел на часы. Оставалось минут десять. До разлуки с великим городом, с каменной, рукотворной его площадью, с временем, которое как бы и не вытекает из этой площади, словно из прекрасной мраморной вазы. . .

С интересом наблюдал я, как люди подходили к черной дыре вокзального входа и пропадали в этом отверстии навсегда. По крайней мере, для моего взгляда — навсегда.

И, чтобы не слишком от всех отличаться, я и сам вошел в эти двери довольно бодрой походкой, не забыв на прощание вежливо кивнуть маленькому Салтыкову.

МИРАЖ
НА ВАСИЛЬЕВСКОМ
ОСТРОВЕ



Я их встретил на Кировском. Возле безлюдной стоянки такси Василиса нервно и в то же время брезгливо трясла загорелой ручкой, требуя, чтобы я остановил машину. Ну, я и остановил. Для маскировки кепочку велосипедную с козырьком по уши натянул. Очки со светофильтрами нахлобучил. И воротник кожаного пиджака у меня приподнялся. словно бы случайно. От неосторожного движения. Бирку, где моя фамилия обозначена, вынул из рамочки и в карман положил.

Напугать бы их теперь до смерти. До расстройства желудков. С моста в Малую Невку вильнуть. Или мимо столба в сантиметре проскочить. . .

Ага! За город попросились. По Приморскому шоссе. Скорее всего, на пляж задумано. На золотой песочек. Что ж. . . Сами пожелали. Отвезу подальше. Пересчитаю кавалеру зубы. А там и оставляю. Наедине с природой.

Похоже, я очень злой сегодня. Не переборщить бы. Конечно, расстаться с женщиной можно и по-мирному, без уголовщины. Тем более что так называемая любовь давно иссякла. Чего ж тебя крутит тогда, Одинцов? Уймись незамедлительно. Поздоровайся с людьми. Покажи им улыбку. Ты добрый, Одинцов.

А может, Одинцов, не иссякла в тебе «так называемая»? И ты теперь словно порожний флакон из-под духов? Жидкости давно уже нет, сухой сосудик, а понюхаешь — пахнет! Прошлым. . . Да так, что дух захватывает.

Шофер такси Николай Одинцов свернул с Кировского проспекта на Приморское шоссе и поехал в сторону залива. Оставим его ненадолго и вернемся назад. Во времени. В прошлогоднее лето. Вернемся, чтобы рассказать о нем и о его пассажирах — подробнее.

Ее звали Вася. Василиса. Манера такая у родителей: время от времени нарекать детей архаическими именами.

Третью сторону (или — угол?) в нашем треугольнике представлял Марат Базиликин, великовозрастный студент-художник, днем в Академии рисовавший теплые живые фигурки натурщиц, а по ночам у себя в мастерской на Васильевском острове поливавший из распылителя вонючими нитрокрасками абстрактный холст.

Где-то на окраине города, в новостройках, у Базиликина была трехкомнатная квартира и полузабытая, заброшенная жена с ребенком. Последнее время Базиликин предпочитал жить в мастерской, где у него помимо холстов и подрамников имелась помятая тахта, кухонный закуток с газовой плитой на две конфорки и нерегулярная женская забота в лице той или иной ценительницы его тонкого античного профиля и не менее тонкого, почти прозрачного таланта.

Двойная, абстрактно-реальная жизнь Базиликина наложила определенный отпечаток на его поведение, а также — физиономию. Вот он вроде бы и весь налицо: мягкий, даже робкий, почти жертва с бархатными мушкетерскими усиками, с широким пробором-залысиной в плоских черных волосах... Но вдруг улыбнется — и нет его: гримаса улыбки враз начисто преобразит Базиликина. И проступит второе лицо: настороженное, хищное, лицо охотника.

Именно такое лицо, такую острозубую улыбку поймал однажды шофер Одинцов в зеркальце заднего обзора. Произошло это в прошлом году весной.

Тогда он посадил парочку на Невском. Возле лавки художников. Василиса и Базиликин (а речь о них) продолжали какой-то судорожный, дерганый разговор, из которого Одинцов понял, что его пассажиры художники или нечто в этом роде.

— А Кукушкина покупают! — хохотнула в лицо Базиликину Василиса и тут же нервно закурила.

— А Кукушкина, затрапезного Кукушкина покупают! — подтвердил, согласился вкрадчивый Базиликин и

вдруг улыбнулся. И Одинцов, поймав эту улыбку в зеркальце, даже испугался малость за того Кукушкина. Настолько страшенькое, беспощадное выраженье соскользнуло с лица Базиликина. — Кукушкин пишет допотопные церквушки, вымирающие деревеньки, травушку-муравушку заунывную... А поди ж ты, имеет спрос! Тогда как Кукушкину двести лет! Он — передвижник! Мастодонт. Хотя и ровесник мне... Рутиня, дряхлятина. И берут. А здесь ты каждым мазком мыслишь, каждым оттенком скандалишь, ищешь... Да, да, именно — скандалишь! Со старичками. Не боишься. А в результате — висишь и граждане от тебя глаза отворачивают.

Одинцову тогда Василиса моментально понравилась. «Такие девушки, — подумал он грустно, — могут встретиться только в журналах. Да и то в импортных».

Золоторусая, стриженная коротко и как-то залихватски, будто венчик ее волос все время вращался. Черты лица нежные, хотя и крупные, броские. На загорелом теле белая футболка с изображением собаки.

Одинцову захотелось оглянуться и что-нибудь сказать. Оригинальное. Умное. Захотелось обратить на себя внимание девушки. Но вклиниться запросто в чужой разговор Одинцов не посмел. Тем более в такой неприятный разговор... Василиса и Базиликин, можно сказать, бранились, а не разговаривали. Он не знал, что для некоторых людей подобный разговор — норма. Что, издеваясь друг над другом, они якобы утверждают себя на земле.

Одинцов не стал бы прислушиваться. Но его взволновала Василиса. Что поделать... Жадна молодость на красоту. Из разговора Одинцов понял, что где-то, скорей всего в лавке художников, продавались работы Базиликина. Но их почему-то не покупали. Зато покупали картины какого-то Кукушкина.

— Я не хочу тебя обидеть, Базиликин. Ты не бездарен. Как бы мне помягче выразиться... Ты не бездарен. Ты мертв. Ни одна твоя картинка не греет, не волнует. Они, твои работки... все кричат, а я их не слышу. Рот разевают, а звука нет.

Одинцова потянуло к зеркальцу. Ему было интересно узнать: после такой критики все еще улыбается Базиликин или сник? Однако — улыбается! Только чуть бледнее сделался. И глаза веками прикрыл. Глаза прикрыл,

а рот щелочкой зияет. . . Губы не сходятся, словно кожи ему не хватает. Ну и улыбочка. . .

«Если он ее ударит, — решил про себя Одинцов, — остановлю машину и выброшу кавалера на панель».

Но Базиликин сам попросился из машины. Он вдруг, как заяц в мультфильме, быстро-быстро забарабанил ладонью по креслу Одинцова. Стоп, значит!

Остановились возле Кунсткамеры, не доезжая Университета. Базиликин, сидевший у правой дверцы, дернулся из машины, но Василиса ухватила его за рукав вельветовой блузы.

— Постой, Базиликин! От себя не убежишь. . . Мы ведь с тобой одинаковые.

— Змея. . .

— А ты червяк, Базиликин. И мы оба ползем с тобой к заветной цели.

Тогда Базиликин довольно сильно ударил ее по руке, высвобождая свой рукав. Потом, захлопнув дверцу машины, скачками, опять же как заяц, побежал переломом в сторону от Невы.

— Догнать художника? — поинтересовался Одинцов.

— Еще чего! Догонять такое. . . Сам прибежит.

— Какие будут указания?

— А вы поезжайте. . . знаете куда? — Василиса посмотрела на матовое стекло плафончика под потолком. — К Сереже Копейкину! Здесь недалеко. . .

— А точнее?

— Поезжайте на Пятнадцатую линию. К Малому проспекту.

Возле старинного, давно созревшего для капремонта строения девушка прикоснулась к плечу Одинцова. Остановились. Николаю хотелось подуть на свое плечо: так его ожгло прикосновение Василисы.

— Одинцов. . . Николай. . . Андреевич, — глядя на бирочку с фамилией шофера, произнесла Василиса. — А сейчас пойдете, Николай Андреевич. Я познакомлю вас с настоящим художником.

— С Сережей Копейкиным? — медленно развернулся на сиденье Одинцов, задержав прищуренный от смущения взгляд на прекрасном лице пассажирки. — Вот что. Если вы кошелек забыли или еще что-нибудь в этом роде. . . не переживайте! Да тут и нащелкало-то пустяки сущие.

— Базиликин, мерзавец, сбежал. . . А деньги у него.
— Откуда у Базиликина деньги, если его не покупают? Деньги у Кукушкина.

— Вот как. . . У вас, Николай Андреевич, хороший слух.

— Нормальный слух. Просто вы оба кричали. А если откровенно, лицо ваше виновато. Увидел в зеркальце. . . и наострил уши.

— И что же это за лицо такое у меня?

— Сами знаете. . . Красивое лицо. Редкое.

— Ах вон оно что. Ну, так как же? Познакомить вас с Сережей Копейкиным? Этот наверняка расплатится. Не сбежит. . .

— А что?! Была не была. . . Знакомьте!

Прошли в каменный дворик, залитый бугристым асфальтом, под которым, как под тонким одеялом, угадывался петровских времен булыжник. В подвале здания размещался овощной магазинчик, и все этажи сооружения пропахли кислой капустой.

Поднялись по затхлой прохладной лестнице на пятый, предпоследний этаж. Остановились перед дверью, увешанной звонками с множеством фамилий на табличках.

Василиса позвонила в общий звонок. Долго не открывали. Наконец дверь вздохнула и разверзлась. В прихожей толпились перепуганные жильцы. В основном пожилые люди. С молчаливым криком в глазах осмотрели они собаку, изображенную на груди Василисы. И так же молча рассосались по закоулкам необъятной квартиры.

Девушка уверенно пересекла прихожую. Выбрала из множества дверей самую невзрачную, одностворчатую. Такая задрипанная дверца. . . То ли от чулана, то ли еще от какого места пользования. Постучала. Не дожидаясь приглашения, вошла в щель.

Одинцов пригнулся и нырнул следом. И чуть не сломал себе ногу. В полумраке он не заметил три ступеньки, ведущие от порога к полу. Чтобы удержать равновесие, пришлось ненадолго обнять Василису, проехав правой рукой по изображению собаки.

— Извините. . .

Василиса молча освободилась от объятий Одинцова, затем склонилась к серой куче какого-то тряпья.

— Копейкин! Хватит валяться... Встречай гостей, Копейкин!

Тем временем Одинцов пытался сориентироваться. Свет в помещении падал из окна-бойницы, расположенного на высоте протянутой руки. Потолка в тесной комнатенке и вовсе как бы не было... «Оригинальная берлога, — подумалось шоферу. — И куда это она меня зачихала?»

Из тряпья кто-то выскочил. Какое-то существо живое. И вдруг высоко-высоко, будто звезда в небе, зажглась электролампочка!

И тут оказалось, что в берлоге есть мебель: небольшая кушетка дореволюционного образца, канцелярский стул и даже фанерный стол, правда полностью забрызганный красками и напоминавший своею поверхностью работы художников-беспредметников.

На канцелярском стуле внушительная стопка книг, вернее, альбомов по искусству. В углу, под самым окном, мольберт. На нем в подрамнике картина, завешенная зеленым махровым полотенцем. И вообще, комнатка довольно опрятная: пол подметен, окурки лежали в пепельнице, порожних бутылок из-под «вчерашнего» не наблюдалось.

Изнутри жилище Копейкина напоминало квадратную полую башню. Видимо, при очередной перестройке комнату над Копейкиным, то есть на шестом этаже, от остальной жилплощади отсекали, дверь в нее замуровали, а потолок, отделяющий ее от вместилища Копейкина, разобрали. И получился занятный уродец. Площадь на дне образовавшейся шахты по-прежнему не превышала восьми квадратных метров, тогда как кубатура жилого столбца уводила ваш взгляд поистине в дали космические...

— Копейкин! Уплати товарищу два рубля. И заодно познакомься: Николай Андреевич Одинцов — шофер такси.

Копейкин, встав на цыпочки, дотянулся до подоконника, снял оттуда какой-то продолговатый предмет. Оказалось: протез руки. Резким движением подбросил порожний левый рукав ковбойки. Материя опустилась, обнажив культю. Правой рукой ловко пристегнул протез.

— Два, стало быть, рубля, Васенька? Вот ентому? Ну и сухарь ты, шоферюга! Нету в тебе, тискажать, востор-

гу, духу романтичного нема! С такой феи денежки требуешь... — Копейкин откровенно паясничал, прикидываясь неграмотным скобарем, противно комкал слова. Он вплотную подошел к Одинцову и оказался чуть ниже его. Чтобы сровняться, привстал на носках, выпятил вверх рыжую с проседью бородку.

«А парень-то в годах, — отметил про себя Одинцов, — лет под сорок. Инвалид... И скорее всего — обыкновенный, не инвалид войны. Для военного инвалида молод».

— А ведь я к вам и не за деньгами вовсе... Меня познакомиться пригласили. С Сережей Копейкиным. Вы серьезно — художником работаете?

— А вы серьезно — шофером?

— Шофером, шофером... Разве не ясно?

— А вам разве не ясно? Что Копейкин — художник?!

— Видите ли... Это еще надо посмотреть. Взглянуть хорошо бы...

— Василиса! — повернулся к девушке однурукий. — Кого ты мне привела? Я протестую! На кой мне такие недоверчивые гости? Ты ведь знаешь, как я трудно схожусь с людьми. Я болеть три дня буду. Для тебя — забава, а для меня — муки ачки! Бяда-гореваньце! Так что, сталопись, прощевай, шоферюга. Бяри рубли и газуй!

Копейкин нашарил в штанах две жалкие бумажки. Стал их совать чуть ли не в рот Одинцову.

Николай знал, что пора ему уходить отсюда. Драться с инвалидом грех. Унижаться перед ним еще более нестерпимая пакость. Он сам не понимал, что его удерживало, не отпускало.

Внезапно Одинцов ощутил на себе взгляд — азартный, беспокойный, в меру капризный. Женский взгляд. Этот взгляд ничего не обещал Одинцову. Но он возник. Он расцвел. И теперь, как диковинный цветок, тянулся в мир из глубины зеленых глаз Василисы. Он-то и не отпускал, взгляд этот... Уйти? Оторвать его от себя? Навсегда утратить? А что если...

— Ребята... Не торопитесь с выводами. Советую приглядеться. Может, я интересный человек? Думаю много... Читаю, вижу. Я живой, ребята! Не хороните меня раньше времени. Без экспертизы...

— Ишь ты... Оказывается, он думает много... Смекает, сталопись! И чем же? Каким инструментом, если не

секрет? А главное — о чем? О каких проблемах думать изволите?

— А вот, скажем, почему люди злятся друг на друга? Почему недоверие куда ни ткнись? Я, может, очень дружить хочу... Друзья мне очень необходимы. Конечно, школа, армия... Были друзья. Но — до последнего звонка. А разъехались — и где они? В институт поступил. Думал: уж там-то, в студенческой среде, найдутся. Год поучился — плюнул. Не то что друга — приятеля не нашлось. Каждый в себе, в своих соображениях. Такой деловой народ пошел — беда! Не только о любви или там о дружбе — о стишках не с кем поговорить: засмеют! Ничего на свете не боятся, ничего не стесняются, кроме... нежности, милосердия. Сентиментальными боятся прослыть. Зато уж по пьянке о чем угодно болтают... Только ведь это не разговор, а бред какой-то. Я, может, полюбить хочу! И не стесняюсь об этом сказать. Как-никак — один раз живем. Не успеешь оглянуться, а вместо любви тебе пенсия вышла.

— Присели бы, Николай Андреевич, — поежилась легко одетая Василиса: в башне Копейкина было холодней, чем на улице. — Такие странные речи, Николай Андреевич... Обвиняете всех огулом в черствости. А к людям подход нужно иметь. Себя-то небось к добрым причисляете? — Василиса убрала со стула альбомы, усадила Одинцова.

— Чудной какой-то шоферюга попался, — пробубнил себе под нос Копейкин и, вынув из-под стола блестящий, как елочная игрушка, чайник, пошел на кухню.

— Это я так... — заулыбался Василисе Одинцов. — Чтобы внимание привлечь... Ваше.

— Мое? Вы что же — и со мной хотите дружбу завести?

— Вы мне понравились...

— Вот те на! Ну, предположим — понравилась... А для чего? Вот вы много думаете, читаете. Стало быть, знаете, для чего люди друг другу нравятся?

— Знаю. Чтобы... цветы дарить, свидания назначать. Чтобы радоваться. Давайте встретимся еще! Хотя бы разок. Ну, не пойдет дальше... не завяжутся отношения... прощаемся.

Василиса смотрела на Одинцова во все глаза. Смотрела весело, без напряжения. Как детский фильм.

— А вдруг я не одна? Вдруг да у меня муж хороший, тихий? Вы, что же, хотите его несчастным сделать? — шутила Василиса.

— Ничего плохого я не предлагаю... Да и нет у вас мужа. И не потому, что кольцо обручальное отсутствует... У вас глаза еще свободные, безоблачные.

— Какие-какие?

— Неомраченные. Так что — нету мужа... А Базиликин не в счет. У него картины не покупают. Сами сказали, что он мертвый. А я живой! Денег получаю много. В этом году на своих «Жигулях» буду ездить. Что еще? Плохого во мне в меру...

Вернулся Копейкин с кипятком. Принялся заваривать чай.

— Не отчалил еще? Мотри, извозчик, если так будешь работать, попрут тебя с должности, отымут кобылу. Чаю хочешь?

— Покажите картину, — шагнул Одинцов к мольберту. — Впервые настоящего художника вижу... не считая Базиликина.

— Ах вон оно что! — грохнул Копейкин протезом по столу. — Базиликин объявился! Сталопись, с Базиликиным катались? С гением?! А чай пить к Копейкину приехали? Где логика, водитель? Базиликин шпана! Тискажать... А Копейкин...

— Мечтатель. И подвижник! — И тут Василиса широким жестом откинула с мольберта полотенце. Закрепленный в подрамнике, предстал перед Одинцовым портрет...

В глубине картины, фоном — затворенное окно, синева небесная за стеклами. Крестовина рамы. В центре этой крестовины художник расположил спокойное лицо Василисы. Наклон головы чуть вниз и влево. Типичная для изображений мадонны постановка. Только в руках не младенец, а веточка с шипами и алой розой. Лицо написано тщательно и очень гладко, в академической манере. Протяжным, утопленным мазком.

— Это он... вас?

— Как видишь. Нравится?

— Нравится. Правда, прическа другая...

На картине Василиса была с длинными распущенными волосами.

— Копейкин четыре года меня рисует. За это время я постриглась. До меня он дерево рисовал. Пять лет. Одно и то же дерево. Во дворе росло. Пока не засохло. Спилили недавно. Копейкин рисует, как молится. Он язычник. И редко меняет богов.

— Ничего себе... Пять лет одну картину рисовать! Этак с голоду можно умереть. С такой производительностью. — Одинцов вежливо кашлянул в свою широкую ладонь и озабоченно покачал головой.

— Не бойсь, водитель... Писчу мы другим способом добываем. Афишки, плакаты, лозунги — все можем! А вот это, сталопись, для души, — вновь аккуратно повесил портрет Копейкин. — Это для умысла жизни. Чтобы кровь под кожей не протухла. Не зацвела чтобы. Пей чай, не ломайси!

— Спасибо, Сергей... Не знаю вашего отчества. Мне пора. Сменщик в парке дожидается. — Одинцов задрал голову, посмотрел на лампочку, как на далекую планету, и, словно бы решившись на отчаянный шаг, произнес: — Вот вы, Сергей, не доверяете мне... Подсмеиваетесь надо мной. Иронизируете. А мне хорошо. И я вас не осуждаю... за то, что вы такой невеселый, такой нервный. Ведь у вас такой талант! Может, чем помочь? Я с радостью! Ну, там краски, кисточки... Достать-привезти. На машине-то проще. Это ж... любить надо, чтобы так нарисовать! — кивнул Одинцов в сторону мольберта.

— А я и люблю, — серьезно произнес Копейкин.

— Рисовать?

Копейкин хмыкнул в ответ. Отвернулся от Одинцова и яростно дунул в кружку с крепким черным чаем.

— Пожалуй, я тоже пойду, — засобиралась Василиса. Подошла под льющийся с высоты окна свет. Достала из сумочки зеркальце, поколдовала над лицом.

— А для чего были-то? — оторвался от чая Копейкин. — Знакомиться приезжали? Друзей заводить? Не за двумя же рублями...

— К художнику приезжали! — не растерялся Одинцов.

В дверях он незаметно отшвырнул от себя назад в комнату жалкие рублишки.

Вышли наружу. Василиса торопливо принялась рассказывать о том, какой он хороший, несчастный и талантливый, этот Копейкин. Какой бессребреник и оригинал.

— Любит вас, — определил Одинцов. — Четыре года одно и то же... лицо рисует. В плену лица находится. А что это у него с рукой? Такая травма тяжелая... Когда это он?

— В послевоенные годы. Снаряд какой-то разряжал. Или мину. В Поповке. Где в войну линия фронта проходила. У него и лицо под бородой все исклевано. И в синих точечках... Его женщины не любят.

— А вы?

— А я люблю, — засмеялась она вдруг беззвучно, словно кошка зевнула.

— Куда вас теперь? — открыл дверцу такси Одинцов.

— Нет-нет. Я пройду. Мне тут недолго.

— Давайте все-таки встретимся. Когда-нибудь. — Одинцов смело посмотрел ей в глаза, в чистую весеннюю зелень взгляда. — Ну, так где... встретимся?

— На кладбище.

— Нет, я кроме шуток.

— И я серьезно... Предлагаю завтра. Не откладывая. Завтра у вас выходной? — Одинцов кивнул. — Тогда на Волковом кладбище. В полдень. Я там работаю. Сотрудником музея. И мне скучно бывает. Одной среди могил.

Одинцова подмывало спросить телефончик или адресок, но сообразив, что для начала и кладбища достаточно, развернулся и поехал на Конюшенную в парк.

Когда миновали ресторан «Околица», я прибавил скорость. На выезде из города, там, где на грубом постаменте танцует маленькая статуэтка девушки, решил я начать свой эксперимент: малость попугать влюбленных...

На вираже, где шоссе вплотную к железной дороге выходит, слегка приподнял «Волгу» слева направо.

— Ты что, дорогой, уронить нас хочешь? — порозовел и тоненько, предупреждая улынулся Базиликин. — Нам такой цирк ни к чему!

А Василиса за шею кавалера обхватила и тоже улыбается. Беззвучно. Только глаза потемнели, как травка после дождя.

Потом я на обгоне схулиганил. Встречным «Жигулям» ни миллиметра не уступил, не посторонился. Частник едва на залив не выехал. А я скорость прибавляю. Ми-

мо контрольного пункта ГАИ как из пушки промчался! Смотрю в зеркальце, а инспектор из своей будки по лесенке вниз сыпанул. Должно быть, сейчас мотоцикл оседлает. Только я уже далеко...

— Послушай, парень... Что случилось? Почему такие гонки?

— Оставь его, Маратик, не раздражай. Не видишь, что ли, презирает он нас. Мы для него — господа, баре...

— Послушай-ка, шеф... — близорукий Базиликин потянулся к щитку в поисках таблички с фамилией шофера, и тут я им выдал первую порцию.

— Заткнись, хищник! — Это я у Копейкина таких словечек нахватался. — Я вам не «парень», я вам не «шеф»! А душа человеческая. Секёшь, Ван-Гог вельветовый?!

— Ой! А я сразу подумала — Коля! Коля Одинцов... Заслонился: очки, кепочка... Воротник поднял. Зачем такой маскарад? Уж мы ли не знакомы?

— Они знакомы! А я-то думаю, почему такие выкрутасы? — Базиликин откинулся на спинку сиденья. Начал вытаскивать откуда-то из-под себя сигареты.

— У нас не курят! — строго объявил я художнику и в это время увидел в зеркальце желтую коляску инспектора, выскочившего из-за поворота в полукилометре от моей «Волги».

В тот день после визита к Копейкину, когда Одинцов познакомился и расстался с Василисой, приключения его романтические на этом не закончились.

Сдав сменщику «тачку», Николай почувствовал себя счастливым. И не потому, что доездил смену. Василиса ошастливила. Ведь с какой королевой познакомиться удалось!

А быть счастливым в одиночестве — у нормальных, здоровых людей такое не принято. По дороге к себе домой — а жил Одинцов тоже на Васильевском — проскочил он мимо зазевавшегося швейцара в пивной бар на Невском. Проскочил, хотя малый он был заметный: чуть выше среднего роста, чуть больше, чем нужно, вились его светлые волосы, чуть сильнее, нежели у остальных, успела загореть его кожа (возле Петропавловки, урывками), чуть шире, чем у других, были распахнуты в мир его серые глаза, так и не ставшие взрослыми. Польские

джинсы, тенниска, тряпочные полуботинки... Сейчас он выпьет кружку светлого пива. Улыбнется хмурому питуху, молчащему в соленый горошек.

Рассказать бы кому о Василисе! Да вроде бы и нечего рассказывать. Ну, симпатичная пассажирка попалась... Ну, необычная: на кладбище свидание назначила. Кому сказать — не поверят. А он поверил, не усомнился.

— Слышь, мужик, — обратился Одинцов к хмурому, — раков хочешь? Под пиво?

Мужик долго с недоверием смотрел в озорные глаза Николая, не решаясь на разговор. Затем медленно и как-то виновато пододвинул свой горошек поближе к кружке Одинцова.

— У меня, парень, мама... старуха умерла. В больничке. Автобусом толкнуло... И дух вон. Старуха, парень, а все равно жалко. Теперь я один. Откуда у тебя раки? Давай, парень, лучше на бутылку сообразим...

Сообразили. Жалко мужика. Пробовал Одинцов в процессе «соображения» вклиниться в разговор с мыслями о Василисе. Однако не пошло. Мужик гнул свою линию, подробно рассказывал о матери. Тогда Одинцов смирился, замолчал и уже только слушал, не перебивая. Целый час. Потом они разошлись.

Теплая светлая ночь наплывала на город исподволь, тактично. Не то что мужик со своей болячкой... Ночь уже напитала сумраком светящийся воздух, но это не мешало молодой, необъезженной натуре Одинцова настроить душу на певучий, гремучий, восторженный лад! К тому же Василисино лицо так и стояло перед глазами, и вся она, резкая, сильная, умная, как бы впитала, проглотила несопротивлявшегося Одинцова!

И все-таки мужик с горошком малость подпортил вечер. Хмури тревожной подпустил. И теперь хоть и обволакивала сиянием Василиса, но и грустная физиономия сорокалетнего сиротки тоже время от времени вспыхивала в памяти Одинцова. И ведь не знал он до сегодня мужика того угрюмого, тем более старухи его несчастной, а вот потревожили, и не прогнать из воображения.

По Дворцовому мосту перешел Одинцов за Неву. Приблизился к скверику на Пушкинской площади. Пошел по дуге рядом с парапетом, похлопывая по нагретому за день граниту, как по спине лошади. И где-то по-

середине дуги, на самом мысу Стрелки, увидел в белом воздухе парящую обнаженную фигурку девушки. Не застывшую, как на постаменте при выезде из города, а живую, медленно извивающуюся, поднимающую вверх то одну, то другую ногу, а руки — раскинуты крыльями...

Замер Одинцов, глазам не верит. Решил, что все одно к одному, что после Василисы в мозгах повреждение вышло... Да и выпил как-никак. Вот и пригрезилось.

Стал поближе подбираться, чтобы уяснить: видение это ему, мираж или еще какое явление? Крадетесь вдоль парапета. Пригнулся, чтобы не спугнуть чудо... И вдруг натыкается на двух здоровенных парней. Грудь в грудь! Оказалось: спортсмены. Гимнасты. С тренировки возвращаются. Тут их на лавочке в сквере целая команда расселась. И на выступление своей примы смотрят. Романтика. Хорошее настроение. Необычная аудитория. А внизу, со скамьи, и впрямь, должно быть, красиво: девушка в трико, вся как бы в воздухе, в небе. А тут наверняка кто-то еще влюблен в нее... И теплый ветерок. И бензиновой гарью не пахнет, потому как ночь подступила. Белая, ленинградская.

Извинился Одинцов. Объяснил ребятам, что поближе хотел подобраться из-за плохой видимости, а не для того, чтобы девушку за ногу хватать. Единственно чего хотелось — удостовериться. Живая она? Или это все блажь, потому как он, Одинцов, сегодня немного не в себе?

— Понимаете... Иду. И вдруг в небе — девушка. Ну, мне и показалось, что это Василиса...

— Прекрасная? — уточнил один из гимнастов.

— Да нет же... Обыкновенная. С Васильевского острова. Познакомился недавно.

Улыбнулись парни беззлобно и отвернулись. А девушка встала на руки и уже танцевала в дальнейшем на руках.

Дома дедушка Славик, тощий безбородый Вячеслав Прокофьевич Одинцов, сгорбленный где-то вверху, в области шеи, участник гражданской войны, ходил по скрипучему паркету в валенках, поджидая внука на пельмени, которые сам время от времени лепил, обучившись этому действу в Сибири, еще во время очищения ее от колчаковцев.

Родители Николая переехали на жительство в другой, более теплый город, поближе к морю (у отца пошалива-

ли легкие). А Николай остался в Ленинграде с дедом. Как с нянькой. И одновременно — как с другом.

Дедушка Славик был внимательным человеком. Он следил за тем, чтобы внуку жилось уютно, сытно. Называл себя «пережитком» и пуще всего боялся разладить с внуком товарищеские отношения, стать молодому человеку в тягость. И потому даже кашлять выходил в туалет, позволяя внуку курить в комнате.

Дед постепенно забывал о себе. Подвижническая, жертвенная способность брала верх в его характере. Отшумевшая жизнь, в которой дедушке Славiku приходилось стрелять, ловить, служить, призывать к борьбе, страдать и наслаждаться, лежала теперь, как большое, закатное солнце, там, за холмом, и лучи ее постепенно тускнели, уже не освещая, а только окрашивая вечернее небо памяти. . .

Вышел срок его нужности обществу, и все, что сберег, не разметал в залихватских буднях старик, теперь переходило по наследству к внуку.

Сегодня, когда Николай вернулся домой так поздно и вдобавок распространял по комнате запах спиртного, дедушка Славик, всегда разговорчивый, оживленный, молча достал из-под подушки в углу дивана кастрюлю с пельменями, навывинчивал мелких, drobных пельмешек из нее в особую, внукову глубокую мисочку, залил их сметаной.

— Потребляй. . .

— Ты чего это мрачный такой, дедушка Славик?

— А чего принял-то? Или праздник какой? Может, в религию перешел? Ниловна, соседка, баила — троица завтра. Так не по тому ли случаю?

— Праздник, дедушка! У меня лично. Понимаешь, встретил хорошую девушку. . .

— И где ж ты ее встретил, редкость такую? Небось на шасе подобрал? У меня таких праздников замаисся отмечать было. . .

— Единственную встретил! Веришь ли, дедушка, наповал сразила! Глазами зелеными повела, взглядом фантастическим. . . И — как шашкой! Выражаясь твоим языком. . . Короче говоря — снесла голову. Напрочь.

— Страсти какие. . . — Дедушка крякнул, досадливо взбрыкнул головой, забегал, зашуршал валенками по воценому паркету, одновременно натирая его до блеска.

Расстроившись, обыкновенно дедушка Славик не уходил в себя, а начинал говорить о международном положении. Такое своеобразное хобби у дедушки Славика было.

— Слыхал, Колька, а ефиопцы-то своего императора тоже по шапке хвистнули, греховодника? А и то, почитай, во всем если мире-то императоров этих всего штук пять осталось. На пальцах пересчитать можно. . .

Комната у Одинцовых отличалась большими размерами. Высокий потолок, зал метров сорок квадратных. Короче — старый фонд.

Дедушка Славик спал за ширмой, доставшейся ему от жены, Колькиной бабушки. Внук отгородил себе закуток двумя шкафами: книжным, в котором на полках кроме десятка книг лежали и стояли красивые камни, бутылки, кассетный магнитофон и даже старинный кинжал, а также шкафом платяным с мужскими немногочисленными «тряпками», как величали оба — и дед, и внук — носильные вещи.

Стоял возле окон еще и диван для общего пользования — мягкий, добрый, с различными углублениями и выпуклостями, на котором чаще всего «отдыхали» пельмени или же щи. Готовить щи дедушка Славик умел так же лихо, как и пельмени.

Уснул Одинцов после пельменей стремительно, на полной скорости ворвавшись в просторы сна.

Дедушка Славик еще долго «натирал» паркет, размышляя о поведении внука. Он воскрешал в деталях разговор, стараясь понять, насколько серьезно пострадал его подопечный, наскочив на бездымный дуплет зеленых глаз какой-то проходимки. . .

Спал Николай мощно, глубоко, с легким, невязким храпом. Поднялся свежим и радостным. И сразу же вспомнил о Василисе. О свидании, которое она ему назначила.

Долго отмывал от затхлости рот, чистил зубы, брился. Переменил майку, трусы, тенниску и носки.

Сел на сорок четвертый, поехал автобусом, не спеша, заранее в сторону Волкова кладбища.

Василису нашел внутри прохладной церкви, приспособленной под мемориальный музей. Внутри помещения вдоль грубых, неколебимых, можно сказать неприступных стен установлены были аляповатые гипсовые бюсты

великих писателей, похороненных, как выяснилось в дальнейшем, на этом вот маленьком тихом островке русской земли, сплошь усаженной огромными древними деревьями, прочно державшими в своих когтях-корнях могилы замечательных людей, живших некогда в Петербурге-Ленинграде.

Василиса повела Одинцова осматривать кладбище. Когда шли по одной из дорожек, Николай обратил внимание Василисы на могучее неохватное дерево, серебристый тополь, в ствол которого, прямо в плоть древесную, глубоко вросла металлическая оградка давно осевшей, полуйсчезнувшей могилы.

Подошли к одной из оград. Василиса белыми пальцами схватила, оплела в черный цвет окрашенное железо, оперлась о него подбородком. В ограде — светлого мрамора плиты. Над крайней справа плитой — стела с миниатюрным портретом мужчины.

«Знакомое лицо», — подумал Николай. И тут же прочитал вслух:

— Блок! Александр Александрович! Неужели... тот самый? Который великий поэт? — заволновался, закрутил, как дедушка Славик, головой Одинцов.

— Тот самый...

— В мозгах не укладывается... Поэт! Стихи в школе разучивали. И вдруг... Как все. Лежит в земле. А цветов-то сколько нанесли! Неужели посторонние люди с цветами приходят? Небось ваши работники?

— Ну, что ты, Коля. У Блока всегда много цветов.

Продвинулись в глубь кладбища. По глазам Одинцова, как ветки в лесу, стегали неожиданно знакомые фамилии... Гаршин, Куприн, Белинский, Тургенев, Гончаров, Лесков...

У писателя Лескова могилка бедная. Даже какая-то убогая. Крест на камне покосился. Оградки нет.

Подвернулась как-то Одинцову изданная для старшеклассников повесть этого писателя «Очарованный странник». Вот где приключения! Вот где человек испытал всякого... А потом телефильм по этой повести показывали. И дедушке Славiku он понравился весьма. Даже на другой день вспоминал о фильме, а про щетину, которую главному герою в пятки зашили, чтобы он из плена не убежал, говорил с каким-то особенным, сугубо солдатским, мужским восхищением.

Одинцов улыбнулся виновато Василисе, несмело попенял ей по поводу бедной могилы.

— Такой хороший писатель. А вот без мрамора.

— Денег у нашего музея маловато. К тому же письмо какое-то нашлось. Где Лесков якобы завещал ничего, кроме креста простого, на его могиле не ставить.

— Так пусть хотя бы крест выпрямят. А цветов я ему сам как-нибудь привезу. До Кузнечного рынка отсюда рукой подать. . .

Василиса меня за ухо взяла. Не больно. Наоборот — нежно так. И по щеке гладит. . . Значит, недоброе почуяла. Тревога и в нее вошла. Базиликин — тот гораздо раньше ее струхнул. На первом выраже. Так что Василиса покрепче его будет. В смысле нервочек. И вот теперь тоже заюлила. В голосе ласка:

— *Николаша, послушай. . . Ну, попугал Базиликина — и довольно. Меня-то зачем пугать? В аварию попадешь сгоряча. Базиликин следствию показания даст. . . Да тише ты, ненормальный! Себя и нас угробишь!*

Машину вынесло на обочину. Слышу: гравий по днищу забарабанил. Чую: колеса едва удержались над кюветом, но все же постепенно выбрались на асфальт и дальше покатались. . .

А инспектор поотстал. Наверное, в ближайший населенный пункт уже сообщили. В Лисьем Носу встречать меня будут. С музыкой. . . Надо, чтобы они теперь прощения попросили. И не Базиликин, а Василиса чтобы. . . Ну, девка, проси прощения!

И я специально на всем ходу поддел бампером доски, огораживающие какую-то колдобину. Удачно поддел. Всю ограду как языком слизало вправо от машины, если по ходу движения смотреть. . . Машину подкинуло. Потом ударило. Парочка моя в салоне до потолка подлетела. Руками за мою шею ухватиться норовят. А я дальше на газ жму. Жму, а уши мои ловят: когда Василиса прощения будет просить, когда на колени мысленно встанет?

С того дня, как посетил Одинцов Волково кладбище, произошло в нем оживление. Внутри, в сознании. Словно росло во дворе каменном дерево в вечном безветрии, стояло, молчало. Листочком самым малым шевельнуть

было лень... Тишь, благодать, спокойствие. И вдруг снесли старый дом, и налетел ветерок-ветер! Потянул откуда-то со стороны прохладой, северной. И зашевелилась, зашебаршила листва... Ветви в движение пришли. Соки под корой-кожей потекли стремительней! Ожило дерево...

С той поры повлекло Одинцова к книге. Писателя Лескова в библиотеке районной всего, что было там, прочел. За два месяца так наелся литературой, что план перестал выполнять. На стоянке уткнется в книжищу, таксисты ему из очереди сигналият — продвигайся, мол, давай, а Николай их не слышит. Ну и обскачут незамедлительно.

Единственно, где он теперь не читал, — это на свиданиях с Василисой. А встречались они чуть ли не каждый день. Василиса звала его Николашей, сама целовала в губы. Заходила даже к Одинцову домой. И только к себе не приглашала никогда.

— У меня, Николаша, нет дома. Мать с отчимом есть, квартира двухкомнатная есть, книги, бронза, картины из комиссионки... Телек цветной, бутылки иностранные в баре... Все это стоит, висит, пылится, мерцает и светится. А жизни там для меня нет. Для них это жизнь. А для меня, сам понимаешь, мещанское болото. Единственное спасение: свой, автономный угол. Короче говоря — однокомнатный кооператив.

И не хватало для этого, как выяснилось позже, каких-то полутора тысяч...

Собирали деньги всем миром. Даже одорукий Копейкин пару сотен пожертвовал. Не говоря о Базиликине, с которым у Василисы, по ее словам, все было конечно, хотя и «ничего не было».

— Базиликин на двух стульях сидит. Двум богам молится. Такие гении как правило в преступников перерождаются: в бандитов от пера или кисти... — Василиса искренне обливала грязью бывшего кавалера. — Но деньги я от него приму. Подумаешь, триста рублей! Отдам. Отдадим, Николаша?... — улыбалась она Одинцову, озеленяя окружающий мир своим весенним взглядом.

Зря он, конечно, на заре знакомства сморозил про собственные «Жигули», которые якобы скоро должен

приобрести. Как теперь доставать Василисе деньги на кооператив? Где взять недостающие восемьсот рублей? А выручать Василису необходимо. Она там задыхается... в «болоте». Задыхается, зная, что у него как минимум несколько тысяч на книжке. А тысяч-то и не было никаких. Хвастовство было. И еще — у дедушки Славика в книжном шкафу энная сумма имелась. И лежала она в книге воспоминаний маршала Жукова. Август вошел в город — солнечный, такой же, как июль, теплый, благостный. Лето не иссякало. В одно из воскресений увлекла Василиса Одинцова на пляж к Петропавловской крепости.

Нашли возле крепостной стены местечко шириной в полторы спины. Василиса разделась. Одинцов раздеваться медлил. Что-то не позволяло. Не то чтобы он стеснялся девушки, нет... Правильнее сказать: боялся напугать ее грубой, неизвестной наготой своей. А то, что она не побоялась, истолковал по-своему: с художниками водится... Небось рисуют они ее. Вон Копейкин четыре года мусолит.

Решил спросить у Василисы негромко, на ухо:

— Послушай, Вася-Василиса... Тебя художники голую рисовали?

— Рисовали. В купальнике. Вот как сейчас я... А что? Разве нельзя? Или некрасиво?

— Красиво...

Она оттолкнулась от стены, затем пошла, побежала к воде. Успевшее за лето посмуглеть, тело ее отливало металлом. Одинцов упал на песок, продолжая смотреть на Василису, которая золотой статуэткой вспыхнула на синем сукне безоблачного неба.

Они поплавали немного. Вода в Неве хотя и не родниковой свежести, но мягкая удивительно и не перегретая, как на юге, освежает мгновенно.

Там же, в воде, Василиса дала понять Николаю, что деньги ей нужны срочно. Иначе затея с кооперативом потеряет смысл.

Они уже бьют меня по голове... Правда, чем-то мягким. Это Василиса, должно быть. Сумочкой. Знают, что по рукам меня бить опасно: могу потерять управление.

Василиса кричит, но еще не плачет. Базиликин ут-

кнулся лицом в ладони и голова его мотается по салону, как маятник.

— Плачь, плачь, Василиса! — кричу я весело. — Сейчас разобьемся вдребезги!

— Возьми, возьми свои деньги, подонок!

Смотрю: сует какие-то бумажки. . . Ах, дура, ах, ненормальная! Она решила, что я из-за денег расстроился. . .

Светало. В гулком дворе уже давно трещали воробьи, стонали самцы-голуби, а в вышине каменного колодца плескалась синева небесная, пронизанная солнцем.

Одинцов лежал на тахте за шкафами. Валялся после бессонной ночи. Лежал и видел сквозь доски большую, тяжелую книгу. Книгу, которую очень любил перечитывать дедушка Славик. В этой книге, как в сберегательной кассе, хранил дед свои капиталы из пенсионных остатков. Хотел в итоге на эти деньги — внуку шикарный гардероб справить ко дню свадьбы.

Дедушка Славик не раз выручал Николая то десяткой, то пятеркой. Но затем вновь пополнял «копилку», и с некоторых пор там отслоилась определенная нерушимая сумма. Принадлежала она как бы обоим Одинцовым, но все же руководил книгой дед, и братъ из нее без разрешения «директора» было нехорошо, неприятно. А братъ нужно было именно сейчас. Сегодня! Сию минуту. Братъ и бегом нести Василисе.

В зашкафном закутке имелся у Одинцова маленький столик для ночного чтения. За этим столиком Николай раз в месяц писал матери письмо. После чего становилось ему как бы легче дышать. И сейчас, оторвавшись от дивана, пробрался он к спасительному столику. Открыл толстую «общую» тетрадь, не думая написал шариковой ручкой письмо. Дедушке Славилу. Который в данный момент кряхтел у себя за ширмой.

«Дед, не презирай меня. Нужны срочно деньги. Восемьсот ре. Иначе одному очень хорошему человеку будет плохо. Я взял деньги из маршала Жукова. . . Не презирай! Я сам себя презираю. Но объяснить на словах нет времени. . . И — смелости. А тут еще дорога каждая минута. Буду работать как зверь и все тебе верну до копейки. Я тебя очень люблю, но что мне делать? Твой Колька».

Одинцов рванул из тетрадки исписанный лист. С нетерпением дождался, когда дедушка Славик проскрипел по паркету на кухню. Открыл дверцы шкафа, извлек мемуары. Деньги лежали не в кучке, а по всему тому разложенные. Зеленые пятидесятки. Штук двадцать. Собрал их почти все. Вложил в книгу свое послание. Затворил дверцы. На середину обеденного стола положил купленный заранее баллончик с валидолом. И, не прощаясь с дедом, выбежал из квартиры.

В таксопарке пожилой сменщик, разминая ладонями усталое морщинистое лицо, слабенько улыбнулся Одинцову, который бегал вокруг машины, с нетерпением ожидая, когда механик даст «добро» и можно будет рвануть за ворота.

Сменщик дядя Вася в этом году должен был, как он сам выразился, «выехать» на пенсию. И потому не спешил. . . Не спешил, когда развозил по городу людей, редко шел на обгон, не рвался на заказы, ездил по городу плавно и как-то внимательно, словно прощался с дорогой и потому желал побольше запомнить, уяснить. Не спешил он и в парке. Приглядывался к людям, машинам. Помогал слесарям, делился секретами с молодняком. . . Короче говоря, заранее, еще до ухода на заслуженный отдых волновался и переживал будущее одиночество.

— Ты чего это, Николай, козлом скачешь? Или опаздываешь куда? Спешить надо медленно. Знаешь такой закон? Нельзя в бешенстве за руль садиться. . . Пошли в столовку, минералкой со льда угощу.

Первым делом отвез Николай деньги Василисе. Он давно уже знал, где она проживает. Не раз провожал ее до двери. . .

Открыла высокая заспанная женщина. В бигудях. С папироской во рту. Чем-то напоминавшая Василису. Зеленью глаз — вот чем. И всем остальным: брови четкие, нос осязаемый, не копеечный. Рот из больших и широких губ. Достоинство! Вот, вот. . . Такая осанка во всем облике внушительная. И в Василисе это же сквозит.

— Доброе утро! — петушком пропел Одинцов, восторженно улыбаясь.

Женщина стояла в дверях и курила. Невозмутимо. Она рассматривала незнакомого высокого парня сосредоточенно. Зная толк в этом матерьяле.

— А вы не ошиблись? Вам сюда? — прошумела она, как ветер осенний, прокуренным женским басом.

— Мне... Я... Мы договорились. Василиса и я. Позовите пожалуйста...

— Девочка спит. Взгляните-ка на часы, молодой человек.

— Семь...

— Без семи. Для вас это утро. А для девочки ночь.

— Тогда передайте ей конверт. Подождите, я клею. — Одинцов послюнил треугольный вырез в тяжелом, весомом конверте, обжал бумагу пальцами. — Вот, передайте. Она ждет.

— Хорошо, передам.

— До свидания!

Мадам не ответила. Она глубоко затянулась из пироски и плотно прикрыла створку. Щелкнули запоры в мягкой, обитой дерматином, двери. На площадке после женщины осталось небольшое голубенькое облако дыма.

Смену Одинцов едва отъездил. Работа не клеилась. Нагрубил одному молоденькому лейтенанту, без разрешения закурившему в салоне. Дважды запаздывал с торможением и налетал с желтого на красный свет. Потом его за нарушение рядности догнал и остановил старшина, оштрафовав на рубль. И даже днем, когда дозволился до Василисы и получил веселое «спасибо» по проводу, так и не остыл, не успокоился. Думал непрестанно о дедушке Славике. И в пот бросало при мысли о «занятии» денег, и слезы вспыхивали в глазах, застилая проезжую часть. И не мог он нормально работать, пока не примчался на обед домой, пока не ворвался бешеным аллюром в комнату, которая так и застенала паркетом.

Дед накрывал на стол как ни в чем не бывало. Себе тарелку плоскую, на дне которой лавровый листик был нарисован и который постоянно хотелось вынуть из тарелки, — внуку мисочку глубокую, особую. Разливал щи, шумел ложечкой, размешивая в банке сметану.

— Ты чего, Колька, валидол, что ли, потребляешь? Не рано ли? Шофер называется...

— Да нет... Это я вам...

— «Вам»? Кому это — «вам»? Ты что, малость перебрал с вечера? Наверде тверезый укладывался... Ишь ты, уважительный какой. На «вы» с дедом... Культура, мать честная! Али впрямь — того? Влюбился в девуку? Вляпался? Как хоть зовут кралю?

— Так я ж тебя с ней знакомил, дедушка... Василисой ее зовут.

— Это которая стриженная? С ней все еще? Как не помнить? Деловая больно. Глазами так и проверила меня всего. Так ребра и пересчитала. Крутая будет впоследствии. Ну, да не мне судить.

— Дедушка Славик... — и вдруг Одинцов на колени перед дедом становится. Глаза поднял, губы трясутся. — А я вам, дедушка, записку оставил... Потому что — преступление совершил!

— Бог с тобой, Коленька!.. Чего ты меня пугаешь? Какое такое преступление?! Убил? Сшиб кого?!

— Нет... нет! Другое вовсе. Я у тебя деньги украл. Смелости не хватило попросить.

— Фу ты, господи... Напугал до смерти. Какие у меня деньги? Наши это, твои... У себя взял. Встань, дурной, с коленей-то, встань. Джипсы, гляди, протрешь... Уф, дьявол, душонку чуть не сморил. Так и зашлась. Ну, думаю, все — наехал на кого, раздавил. — Дед обхватил обеими руками голову внука, потянул вверх, к себе. Прижал к ватной своей безрукавке, душегрейке... И так они помолчали. Долго. Пока не поняли оба, что — пронесло. Что можно жить дальше безбоязненно.

А неделю спустя Одинцов Копейкина встретил. Художника однорукого. Выскочил Николай из метро на Васильевском острове. Вокруг цветы, мороженое, пирожки продают. И вдруг ему под ноги крутобокий, поджаристый пирожок подкатился. Не рассчитал Одинцов движения, на пирожок наступил. Щелкнул тот, как пузырь рыбный, и струйка горячего повидла на асфальт из него выскочила. Беда!

Посмотрел, а перед ним Сережа Копейкин. Это у него из руки пирожок выскользнул. Купил-то, видимо, два. Ну, и не справился. На плече у Копейкина этюдник тяжелый висит. Должно быть, за город ездил. Рисовать с натуры.

— Здравствуйте, Сережа... Это я вам пирожок раздавил. Давайте я вам новый, то есть другой куплю... На

природу ездили? А говорите, что ничего, кроме Василисиного лица, не рисуете.

— Закончил я... это лицо. Достаточно. Потому как обман зрения. Не больше.

— Что — обман зрения? Василиса?

— Красота ее — обман.

— Не понимаю... Вы что — поссорились? Из-за меня? Глупо. Разве лицо виновато?

— Василиса... с Базиликиным — расписались.

— Почему расписались? То есть — как это понять? Я ее вчера видел... И она бы мне сказала про такое. Этого не может быть, Копейкин! — Одинцов потянул за лямку этюдника. — Ты чокнулся, Копейкин. Завидуешь... Ван-Гог вяленый!

Копейкин грустно улыбнулся в рыжую с серебром бородку свою, синяя татуировка вросших в лицо порошинок чуть ярче обычного высветилась на побледневшем лице.

— Дерьмо твоя Василиса, — прошептал он, мужественно глядя Одинцову куда-то в переносицу.

И до Одинцова дошло... Понял. Поверил.

— Но почему?! Почему Базиликин? Этот трус, злобный хорек смазливый...

— А вот потому. Потому что смазливый. Вкусный потому что... Профиль у него... А у тебя — так... Подсобное хозяйство.

— Пусть! Все могу понять. Одного не переварить: почему — Базиликин? Почему обязательно расписываться с ним?

— Для того чтобы в кооператив поступить. Теперь у нее своя квартира будет. Базиликин все равно в мастерской обитает. Тут расчет...

— Так ведь Базиликин женатый человек! Как же так?

— Оказывается, развелся давно... Алименты платит.

— Не верю! Ни одному слову не верю! Пока сам не увижу... Своими глазами.

— Пойдем.

Копейкин потопал, не оглядываясь. Повел молча Одинцова за собой. Как собаку.

Вышли куда-то в конец Васильевского острова. К Смоленскому кладбищу. Не дойдя до него метров сто, поднялись на лифте старого кирпичного дома под самую его крышу.

Двери мастерской были не заперты. Солнце перегревало железную кровлю, и для охлаждения были открыты окна и двери. Вернее, это были даже не окна, а стенка стеклянная. И в ней большая форточка-фрамуга откинута — для ветерка.

На диване лежала Василиса. Одинцов не сразу сообразил, что она раздета, настолько густой образовался на ней загар. Она лежала на боку, под мышкой у нее большая подушка. Она читала. А Базиликин ее рисовал. Трудился. Он бегал, тоже почти голый, в серебристых шортах, грудь в черных волосах, как в кольчуге. Он тяжело дышал, кричал, фыркал, словно телегу вез. Беря разбег и держа в одной руке лопаточку-мастихин, в другой тубик с краской, он напускался на холст, который изображал что-то бледное, какое-то облако с овальными сексуальными формами, и, выдавив куда-то в определенное место красный червяк краски, затем резко размазывал его лопаточкой, делая при этом почти танцевальные движения.

— Это правда?! — закричал с порога, как мальчишка, розовый, едва не плачущий Одинцов.

Василиса быстрым движением натянула на себя валявшийся на диване в ногах махровый халатик. Захлопнула книгу.

Базиликин сразу же улыбнулся, хищно раздвинув в улыбке усики. Но работу свою бешеную не прекратил и все чего-то мазал, скоблил, выдавливал, хотя уже не кричал картинно.

— Это правда, вы — поженились?

— А разве нельзя? Или это некрасиво? Зря ты так расписывался, Николаша. . . Деньги я тебе. . .

Одинцов зажал уши кулаками. Он мог бы их всех тут избить, искалечить, измять, истоптать. . . Но он зажал уши и побежал вниз по лестнице, пропахшей кошками, дешевым вином и древним камнем, впитавшим в себя более сотни лет со всеми их запахами, звуками, мыслями. . .

Он бродил по городу весь день. Вышел куда-то на окраину и даже очутился в лесу. Затем опять вернулся в город. Уже к ночи. И вдруг ему показалось, что город опустел. Что люди из него уехали все до одного человека. Или — вымерли.

Прочно стемнело. И на улицах действительно не стало прохожих. То ли место такое тихое, окраинное, то ли ночь всех рассовала по своим местам, только не встречал больше людей Одинцов и так шел, обеспокоенный не на шутку, напуганный безлюдьем, вертя головой по сторонам, словно спросить что-то хотел у города.

А улица выростала черными стенами, все выше поднималась молчаливыми этажами. Упал откуда-то сверху кусочек штукатурки на асфальт. Казалось, покинутый, заброшенный город на глазах разваливался, ветшал. . .

И тут за углом, в каком-то переулке, вспыхнул неясным желтым светом газетный киоск. В киоске давно уже никого не было. Но свет оставался гореть на всю ночь и выглядел сейчас таким теплым, уютным, таким родным, совсем как свет в глазах бабушки Славика. . . И, прижавшись горячим лицом к настывшему стеклу киоска, Одинцов как бы опомнился, пришел в себя. А затем без оглядки побрел домой, на Васильевский.

Они уже не кричали. И не плакали. Они как бы смирились. Впереди, по ходу шоссе, у въезда в поселок Лисий Нос я разглядел красные пожарные машины, поставленные поперек дороги. Все. Значит, меня всерьез решили остановить.

Красные машины. . . Заметили их и Василиса с Базиликиным. И тут мне их жалко стало. . . Гляжу в зеркальце, а Василиса кинулась Базиликину на грудь, так вся и зарылась в него. Наверняка поверила, что я сейчас врежусь в эти машины. . . И то, что они молча так приготовились. . . Именно это их смирение рабское меня и утешило. И сразу я скорость сбросил. И на тормоза плавно надавил. Запела резина, прижатая к асфальту. . .

Базиликин и Василиса в разные стороны из машины на шоссе выпрыгнули и на четвереньках к железнодорожной платформе побежали.

Подъехал инспектор. Я молча протянул ему водительское удостоверение.

СОДЕРЖАНИЕ

ОРЛОВ	5
СНЕГ НЕБЕСНЫЙ	111
ВОКЗАЛ	227
МИРАЖ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ	313

Глеб Яковлевич Горбовский
ВОКЗАЛ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980, 344 стр.
План выпуска 1980 г. № 18.

Редактор И. С. Кузьмичев
Худож. редактор А. Ф. Третьякова
Техн. редактор М. А. Ульянова
Корректор Ф. Н. Аврунина

ИБ № 1976

Сдано в набор 10.09.79. Подписано к печати 13.02.80. М 12809.
Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₂. Литературная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,06. Уч.-изд. л. 18,27. Тираж
30 000 экз. Заказ № 994. Цена 1 р. 50 к.

Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение.
191186, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р. 50к.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ • ВОКЗАЛ